



волшебный  
фонарь



Михаил КОЗЫРЕВ

Пятое путешествие  
Гулливера



102



4

№ 5



И,



K!

520



T V



---

Михаил КОЗЫРЕВ



Пятое путешествие  
Гулливера

и другие  
повести и рассказы

84P7-4  
55Ko



*серия*  
*«Волшебный*  
*Фонарь»*

Издание подготовлено при участии  
редакционно-издательской фирмы «РИФ»  
Всесоюзного центра кино и телевидения  
для детей и юношества

Художник Олег Эстис

К 4702010201-027 без объявл.  
91

ISBN 5-85950-026-2



# Ленинград

Сатирическая повесть



## Предисловие

Недавно в психиатрической лечебнице близ станции Удельная умер странный пациент. Доставлен он был в тринадцатом году из Выборгской тюремной больницы: как будто он попал в свалку во время первомайской демонстрации и был помят лошадью. В больнице обнаружилось, что по мере улучшения физического состояния умственное все ухудшалось и ухудшалось. Несколько лет он лежал на кровати, вставая только в случаях крайней необходимости, и на все вопросы отвечал:

— Я умер. Не будите меня.

Затем наступило значительное улучшение. Он ходил по палатам, разговаривал, как вполне нормальный человек, читал газеты и книги. В такие моменты его ненормальность обнаруживалась лишь в том, что на вопрос:

— Который теперь год?

Он отвечал:

— Тысяча девятьсот пятьдесят первый.

Эта навязчивая идея ни на минуту не оставляла его. Иногда он, в безумии, начинал разговаривать с неодушевленными предметами, называя их странными именами, долбил ни с чем не сообразные параграфы какого-то учебника, в то время как в его руках ничего не было, произносил обвинительные и защитительные речи. Иногда ему казалось, что кто-то преследует его, что его судят, что его приговаривают к смерти.

В последнее время он пользовался некоторой свободой, ему разрешалось выходить на улицу, и он в этих случаях всегда посещал одни и те же места и к назначенному времени аккуратно являлся в лечебницу. Любимыми местами его посещения были Лесной парк, Сампсониевский проспект, Троицкая площадь. Он считал своей обязанностью участвовать во всех манифестациях, присутствовать на лекциях, на спектаклях в рабочем клубе. Если с ним заговаривал кто-либо из посторонних, он давал ясные, логически правильные ответы, но не мог не перекреститься, когда проходил мимо портретов вождей революции; портреты эти он называл иконами. Он следил чрезвычайно внимательно за всеми событиями современной жизни, но судил о них чрезвычайно парадоксально.

Недели за две до смерти он потребовал себе чернил и бумаги и не отрываясь писал день и ночь, ни на минуту не выходя из палаты и ни с кем не разговаривая. Записки его оказались больничной администрации подозрительными и несомненно были бы уничтожены, если бы случайно не попали в руки автора этих строк.

Кроме некоторых моментов, записки эти не грешат против

логики и здравого смысла, и я думаю, что они будут небезынтересны современному читателю.

*Михаил Козырев*

*Москва, 3 октября 1925 г.*

## Первая глава

### Вступление. Моя биография

Через две недели меня не будет в живых. Стены моей тюрьмы крепки, законы государства строги, исполнители действуют с точностью и безжалостностью машины. У меня нет надежды ни на бегство, ни на помилование. Мне дана только двухнедельная отсрочка для того, чтобы я описал историю моего преступления. Эту историю думают они напечатать тиражом в несколько миллионов экземпляров в качестве неопровержимого свидетельства бесплодности всех попыток свержения существующего порядка.

Я уже дал подписку, что отрекаюсь от всех своих заблуждений, и думаю, что наличность ее избавит мой труд от прикосновения цензорского карандаша: в дальнейшем мною будет руководить только стремление к возможной точности в описании событий, какими закончилась моя слишком длинная и богатая впечатлениями жизнь.

Я — рабочий завода «Новый Айваз», находившегося на Выборгской стороне неподалеку от Лесного. Эти названия, может быть, ничего не скажут моему читателю, но к новым названиям я не успел привыкнуть, а сейчас не нахожу ни времени, ни возможности навести соответствующие справки; пусть сам читатель на свободе сделает это.

На завод я поступил тринадцатилетним мальчишкой. Первое время мои обязанности были весьма и весьма несложны: я должен был подметать мастерскую и бегать за водкой для мастера. Но к двадцати семи годам, когда произошла катастрофа, речь о которой впереди, я мог уже занимать должность старшего подмастерья. Моего читателя может удивить подобная карьера, но в то время переход из одного состояния в другое был значительно легче, чем теперь, и притом судьба благоприятствовала мне. Четырнадцать лет встретился я с товарищем Коршуновым, тогда студентом технологического института, и его старания, вместе с моей настойчивостью и некоторыми способностями дали мне возможность выбиться, как говорили тогда, в люди.

Но в «люди» я так и не выбился. Одно время, правда, я пытался кое-что сделать для этого: так, я хотел держать экзамен на аттестат зрелости, с тем, чтобы поступить в политехнический институт, но попытка не удалась мне. Санктпетербургский гра-



доначальник категорически отказал мне в выдаче свидетельства о политической благонадежности — это понятие, надеюсь, знакомо каждому. И градоначальник был по-своему прав.

Дело в том, что мой учитель, а впоследствии близкий друг и товарищ — Коршунов (я не называю его настоящего имени, потому что имя это является ныне одним из наиболее чтимых имен) — был видным деятелем социал-демократической партии, стремившейся к ниспровержению существовавшего тогда строя. Он вовлек меня в партийную работу, и еще мальчиком во время революции 1905 года я был арестован за участие в неразрешенной демонстрации и при аресте даже оказал сопротивление полиции; факт этот и процесс подробно описаны в истории революционного движения, и догадливый читатель сам сможет навести справки. Дело сошло для меня вполне благополучно, но политическая благонадежность потеряна была навсегда.

Неудача на легальном поприще заставила меня окончательно и целиком отдаться партийной работе. В течение четырех предшествовавших катастрофе лет я был членом партийного комитета, деятельным агитатором, активным участником партийной газеты, организатором профессиональных союзов и больничных касс. За эту деятельность я подвергался неоднократным репрессиям, сидел в участке, в знаменитых по тому времени «Крестах», был высылаем последовательно: на родину, в Архангельск и, наконец, в Сибирь.

Из Сибири мне удалось бежать, и, вернувшись в Петербург, я продолжил нелегальную работу на том же самом «Айвазе», куда был опять принят на работу в качестве слесаря. Для объяснения этого невероятного с современной точки зрения факта я должен напомнить, что административная машина в то время не была так хорошо налажена, как теперь: люди убегали из тюрьмы иногда накануне казни, а получить подложный паспорт и поступить с этим паспортом на завод не представляло ни малейшей трудности.

Прибыл я в Петербург как раз накануне первого мая. Тотчас связавшись со своей организацией, я принял деятельное участие в подготовке праздника.

Две недели, проведенные мной в Петербурге со дня возвращения из Сибири до роковой катастрофы, я до сих пор люблю вспоминать и считаю их самыми светлыми днями моей прежней жизни. Вынужденные «отсиживаться» накануне крупного выступления, я и мои товарищи собирались по вечерам в комнате легального студента, жившего где-то на проспекте Шадрина — там я в первый раз влюбился, и, к сожалению, почти безнадежно, в белокурую голубоглазую курсистку: надо сказать, что лишенный с малолетства женского общества, в роли влюбленно-

го я был до смешного робок и наивен. Я только таращил глаза на предмет моей страсти и глупо краснел, когда она обращалась ко мне с каким-либо вопросом. Да и чего было ждать от человека, для которого слово «свидание» напоминало о тюремной решетке, а никак не об условленной заранее встрече с любимым существом? Описать предмет своей страсти я не решаюсь. Звали ее Марусей, а студент (и мой счастливый соперник) называл ее Мэри.

Вечера наши проходили в оживленных беседах, темой которых была, конечно, та новая жизнь, за которую мы боролись.

В каких розовых красках представлялась нам эта новая жизнь! Мы не сомневались, что все экономические противоречия будут уничтожены; мы не сомневались, что в новом обществе не будет голода, холода и нужды — нас занимали в то время совсем другие вопросы: семья, брак, любовь — вот что интересовало нас. В этом счастливейшем общежитии будут ли урегулированы те сложные человеческие взаимоотношения, которые мы называем любовью?

«Свободная любовь» — отвечала теория. Ну, а несчастная любовь? Возможна ли она? А если возможна — где же полное счастье?

Все попытки разрешить эти вопросы, опираясь на материалистическое мировоззрение, оканчивались неудачей: был какой-то дефект в самом мировоззрении, но в этом мы не решались сознаться. Если читатель примет во внимание, что среди спорящих трое были влюблены, причем один из них явно безнадежно, то он поймет, до какой степени длинны, горячи и бестолковы были наши споры.

Только Коршунов не принимал участия в этих беседах. Он предпочитал, спрятавшись в угол, спокойно пить чай, изредка отвечая своим собственным мыслям едва заметной иронической улыбкой.

— А вы что думаете? — спросили мы его однажды.

Он усмехнулся и ответил:

— Я думаю, что все это — пустая болтовня.

Мы стали горячо возражать ему. Он заметил:

— Мы ничего не можем знать о будущем.

— Тогда за что же мы боремся?! — выкрикнул я.

— Мы не можем желать того, чего не знаем, — поддержала меня Мэри.

— Мы боремся за новые экономические взаимоотношения, — ответил Коршунов, — а там посмотрим, что вырастет на почве этих новых отношений. А наше дело — борьба.

Я, а может быть, и другие услышали в этих словах нечто вроде упрека: вы занимаетесь пустой болтовней и забыли о самом главном! Разговор перешел на другие предметы, но в душе каждого из нас остался неприятный осадок.

## Вторая глава Катастрофа

Две недели прошли незаметно. Завтра первое мая. Я рисковал больше, чем все мои товарищи, — за мною был самый длинный хвост «преступлений», мне грозила в случае неудачи или Сибирь или виселица.

Думал ли я об этом? Мало. Меня занимали два вопроса: выступление и... любовь. Ночь перед выступлением я провел в квартире того же студента. Мэри была особенно ласкова со мной, и мне стоило большого труда уйти, не сказав ей ни слова. Я бы, возможно, и сказал, если бы не присутствие Коршунова: его холодный взгляд и сухая ироническая улыбка преследовали меня и отравляли мое едва народившееся чувство. Если бы это продолжалось дольше, я возненавидел бы Коршунова...

Но — довольно. Вот и день выступления. Сборный пункт назначен в Парголовском лесу. С утра поодиночке стали собираться рабочие; клочки бумаги и разноцветные тряпочки, развешанные по деревьям, указывали дорогу. Когда почти весь народ был в сборе, я встал на пень и развернул красное знамя. Кто-то затянул «марсельезу», другие подхватили, мощные звуки революционного гимна взметались все выше и выше, возбуждая, опьяняя и сплавивая в одну бурную лавину разрозненные до того толпы рабочих.

Я начал говорить. Я говорил о будущей революции, о мощи рабочего класса. Я говорил, что час нашей победы недалек.

Я не могу передать этой речи, но по силе революционного чувства это была лучшая из моих речей. Я видел, каким огнем загорались глаза моих слушателей, я чувствовал — они встанут все, как один, и пойдут на гибель, на лишения, на смерть...

И вот — обычное для того времени явление: близкий конский топот, захрустел валежник. Кто-то крикнул:

— Спасайтесь! Казаки!

Заплясали кони, засвистали нагайки. Крики, проклятия, стоны.

Я крепко держу в руках знамя. У меня даже мелькнула тщеславная мысль — «умру со знаменем в руках». Чем смерть со знаменем в руках лучше всякой другой смерти — я не смогу объяснить читателю. Конечно, это было безрассудством, но в нашей среде безрассудство называлось героизмом.

Я помню: лошадиные копыта, бородатая физиономия казака с выпученными, налитыми кровью глазами — и... ничего больше.

Очнулся я в тюремной больнице. Открыв глаза, я первым делом бросил взгляд на висевшую над моей койкой дощечку, и каков был мой ужас, когда я увидел на ней свою настоящую фамилию! Бежавший с каторги! Мне предстояло теперь или длинное путешествие в Сибирь или очень короткое, но еще более неприятное путешествие в иной мир при помощи самой обыкновенной веревки и двух обыкновенных столбов с обыкновенной перекладиной.

Но я был молод и не умел предаваться отчаянию. Если у меня нет плана спасения, значит, мне нужно время для обдумывания этого плана — бежать из больницы все-таки легче, чем бежать из тюрьмы. Я притворился более слабым, чем был на самом деле, и постарался оттянуть время.

Случай помог мне.

Рядом со мной на соседней койке лежал длинный худощавый человек со смуглым до черноты лицом, большими черными пронизывающими глазами и черной колючей бородой. Что это за человек, за что он посажен в тюрьму, какова его профессия, его национальность? Но все мои старания были тщетны. Незнакомец заметил мое внимание к его особе и обратился ко мне с незначащим вопросом. Голос и акцент окончательно сбили меня с толку, и я прямо без обиняков спросил его: кто он, чем занимался и как попал в это неприятное место.

Незнакомец и не думал скрывать своего имени и профессии. — Я — знаменитый индийский факир, — сказал он.

Имени его я повторить не могу, но помню, что афиши с этим именем не раз попадались на улицах. Оказалось, что он произвел не совсем удачный опыт с распарыванием живота одного «желающего из публики» и одновременно поранил самого себя.

Я был рад случаю потолковать с таким интересным человеком. Пользуясь отсутствием сиделок, кстати сказать, мало обращавших внимания на больных, мы беседовали целыми днями. Факир рассказал мне о своем прошлом, знакомил с индийской мудростью и даже показал несколько опытов, подтверждающих правильность его учения. Он говорил, что современный европеец не умеет пользоваться силами, живущими внутри нас, и не хочет научиться этому, а вот индусы настолько изучили свою брэнную оболочку, что могут не обращать внимания на прихоти своего тела. Он — знаменитый факир — может три месяца не прикасаться к пище и может на любое время остановить действие своего сердца.

Я не поверил этому.

— Можно показать на примере, — возразил индус.

И вот через две-три минуты я заметил, что мой сосед умер. Он даже вытянулся, как покойник, и похолодел. Я готов был крикнуть сиделку — как вдруг покойник зашевелился, открыл глаза и произнес как ни в чем не бывало:

— Я мог бы пролежать так любое количество времени. Год, два...

После этого опыта я не спал целую ночь. Еще бы! Видеть такое зрелище не с галерки цирка, думая, что все это в конце концов шарлатанство, а рядом с собой, да еще в тюремной больнице. Но скоро, по свойственной мне практичности, я стал думать о том, как бы использовать необыкновенные знания факира в своих собственных интересах.

И, наконец, я придумал.

— А не можете ли вы, — сказал я факиру, — сделать и меня мертвым?.. Ну хотя бы на полчаса...

— На любое время, — ответил факир. — Не хотите ли попробовать?

Я выразил согласие.

— Посмотрите на солнце.

Я заметил местонахождение солнца по тени, падающей от решетки.

Не знаю, что он сделал со мной, но когда, как мне показалось — через секунду, я открыл глаза, солнце стояло значительно ниже.

— Прошло полтора часа, — сказал мне факир, — у вас очень податливая организация, вам стоило бы родиться в Индии.

Тогда я познакомил его с моим планом. План этот был прост до гениальности: факир умерщвляет меня дня на два — по моим расчетам большего не требовалось. Доктор свидетельствует мою смерть, меня выносят в мертвецкую, а оттуда — на кладбище. Я хорошо знаю тюремные обычаи: телега, запряженная клячонкой, на телеге гроб, на гробу сторож, мирно раскуривающий сигарку: мертвец — самый спокойный из арестантов. Проснувшись, я сильным ударом открываю крышку гроба, выскакиваю и убегаю на глазах перепуганного возницы.

— Но ведь могут произвести вскрытие? — вспомнил я.

— Не беспокойтесь, — ответил факир, — как только к вам прикоснется нож, вы проснетесь.

Следовательно, я ничем не рисковал. Самые мрачные предположения были ничто в сравнении с той участью, которую готовили мне судья и палач.

Десятого мая мой план был приведен в исполнение.

Я помню: сознание мое затуманилось, промелькнули смутные видения — как бы в дремоте — и все...

## Третья глава Ленинград

Проснулся я от свежего весеннего ветерка. Первое инстинктивное движение — поднять руку и протереть глаза. Но рука моя уперлась во что-то твердое. Я вспомнил все, снова толкнул крышку и потерял сознание.

Когда я открыл глаза, я увидел солнце, опускающееся к западу, распаханное поле и деревушку вдаль. С трудом поднявшись, я осмотрелся и заметил в стороне дымящиеся фабричные трубы.

Неужели меня не довезли до кладбища и бросили посреди поля? Где мой возница?

Но тут я заметил, что мой полуистлевший гроб со всех сторон засыпан землей. Значит, меня зарыли. Почему же так неглубоко? Сколько времени провел я в могиле?

Но долго раздумывать было некогда. Я чувствовал слабость, мне надо было как можно скорее найти пищу и ночлег. Город недалеко — это, конечно, Петербург, я думал только, что вижу его с незнакомой мне окраины, — и направился к городу.

Миновав безлюдное поле, я выбрался на широкое шоссе. Навстречу мне изредка попадались люди, одетые в лохмотья, подобные моим. Они исподлобья поглядывали на меня.

«Это нищие выбирают из города», — подумал я и, подойдя к одному из них спросил:

— Как мне пробраться в Лесной?

Нищий удивленно посмотрел на меня. «А что, если это не Петербург?» — промелькнула быстрая мысль, и я спросил его:

— Какой это город?

Тот недоверчиво осмотрел меня с головы до ног и ответил:

— Ленинград.

Этот ответ изумил меня. Я напряг всю свою память, но не мог вспомнить такого города ни в России, ни за границей. Но, так как нищий понимает по-русски, — это Россия, сообразил я, и все-таки название города смуцало меня. Я бы подробнее расспросил нищего, если бы он не убежал от меня с быстротой, свидетельствующей о его малом доверии к моей особе. Постояв несколько минут в раздумье, я направился к городу, — будь что будет.

У меня появилась надежда пробраться на вокзал и с первым же поездом доехать до Петербурга. Не может быть, чтобы такой большой город не был связан с Петербургом железной дорогой.

Я вышел на обширный болотный пустырь с двумя десятками покосившихся деревянных домиков, окруженных палисадниками и чахлыми болотными березками. Домики эти были расположены с удивительной правильностью, как будто бы кто-то задумал построить здесь дачный поселок, а потом бросил постройку: в этом окончательно убедила меня огромная вывеска с

полустершимися от времени буквами: «Город-сад имени Н.А.Семашко». Теперь мне стало ясно, что лежавший перед мной большой город был построен тем же самым строителем, который планировал, хотя и неудачно, город-сад. Может быть, я где-либо в окрестностях Петербурга?

Скоро достиг я и городских окраин. Серые захудалые домишки разочаровали меня: нет, этот город построен очень давно. Несмотря на сравнительно ранний час, на улицах никого не было. Редкие встречные с такой подозрительностью поглядывали на меня, что я не решался заговорить с ними и шел как бы ощупью, с завязанными глазами.

Дома стали появляться все чаще и чаще, шоссе кончилось — началась длинная широкая улица, застроенная большими каменными домами. Тут меня ждало небольшое испытание: на перекрестке я заметил фигуру в фуражке с малиновым кантом и револьвером на боку. Чутье старого революционера подсказало мне, что это полицейский. Заметил он меня или нет? По счастью, он смотрел в противоположную сторону, а я немедленно шмыгнул в один из близлежащих переулков.

Встреча с полицией не могла радовать меня по многим причинам: во-первых, я не знал, кто я и откуда явился, во-вторых, я — бывший арестант, в-третьих, у меня нет паспорта. Пошарив по карманам, я нашел нечто вроде паспорта: входной билет завода «Новый Айваз» с моей фотографической карточкой. Но, быть может, этого мало? На всякий случай я выбирал самые темные переулки.

Но скоро таких переулков стало немного. Я вышел на застроенный многоэтажными домами проспект и не замедлил узнать, что он называется: Проспект семнадцатого июля. Это название опять-таки ничего не сказало мне.

Над одним из домов я заметил большой, как мне показалось, золотой флаг с золотым гербом; сам герб я не мог рассмотреть, но это не был двуглавый орел. Я терялся в догадках, но спросить первого встречного о том, где нахожусь, боялся: хорошо одетые солидные господа, наполнявшие эту улицу, могли принять меня за нищего и позвать полицейского. И притом они так подозрительно смотрели — не только на меня, но и друг на друга.

Улица эта была, по-видимому, одной из самых главных. Мимо меня прошел трамвай, красный, испещренный надписями и рисунками, которые на ходу невозможно было разглядеть. Я пытался читать вывески — но и это занятие не помогло: странные, часто бессмысленные слова глядели на меня. Мне было тем более не по себе, что в глазах рябило, окружающее то всплывало, то исчезало — может быть, я не могу как следует прочесть эти вывески? Со мною и прежде не раз бывало так, и я знал, что это кончится ужаснейшей головной болью.

Изредка я закрывал глаза и, открыв их часто на одну секунду, чувствовал себя в Петербурге. Вот этот высокий дом, облицованный красным изразцом, — кажется, я когда-то видел его. Вот церковь — опять что-то знакомое. Вот переулок — кажется, я когда-то был здесь — но когда? Может быть, во сне? А вот название переулка, вывеска, золотой флаг на церкви вместо креста — нет, здесь я никогда не был. Знакомый магазин — кажется, только вчера я заходил сюда, — а над ним странное бессмысленное название «лепо» — то ли это владелец магазина, какой-нибудь француз, то ли название товара. Иногда вместо названия — номер, иногда — только инициалы.

Но чем дальше я шел, тем чаще и чаще мне казалось, что я в Петербурге. Почему же так изменился город? За сколько лет он мог так измениться? Может быть, все мои знакомые и друзья давно умерли, и я — только странная и смешная тень прошлого? От осознания этого у меня больно сжималось сердце, а слабость и невероятная головная боль еще более усиливали безнадежность моего положения.

И вот — я стою на тротуаре. Мне надо перейти второй, еще более широкий проспект; усиленное движение регулируется полицейским — я угадал, что человек в малиновой фуражке — полицейский. Вот он поднимает палочку, и я вместе с другими перехожу дорогу. Посреди улицы — второй поток экипажей. Я останавливаюсь, я имею возможность оглядеться. Смотрю: четыре бронзовых коня неподалеку и в самом конце проспекта блестящая золотом игла.

Сомнений не было:

— Да, это Невский проспект.

Меня не смутила надпись: «Проспект 25 октября». Теперь я знал, что я в Петербурге.

Свободно вздохнув и по-прежнему стараясь избегать полицейских, направился я к Выборгской стороне.

Мое спасение, казалось мне, было недалеко.

#### Четвертая глава Неожиданное открытие

Здесь я вынужден сделать небольшой перерыв. Я не помню, каким образом добрался до Выборгской стороны, как перешел Литейный мост и, главное, как не попал в руки полиции. Я знаю только одно: очнулся я в сквере неподалеку от нобелевского завода, не сразу вспомнил, где я и что со мной произошло, а вспомнив, быстро поднялся и направился к Лесному. Там у меня была собственная комната, а если комната была кем-либо занята, то я во всяком случае мог разыскать знакомых: большинство их работало на заводе «Новый Айваз» или «Лесснер» и жило в этих краях.



Улицы были еще пустынные, городские и сторожа мирно спали каждый на своем посту. Я без труда разыскал завод, который сравнительно мало изменился, скоро я нашел и тот дом, в котором жил до катастрофы. Он сильно постарел, подгнил и, как казалось мне, готов был ежеминутно обрушиться. Из окна моей комнаты выглянуло женское лицо и тотчас же спряталось. Я постучал. За дверью долго шевелились, спорили, и наконец, не открывая двери, женский голос спросил:

— Что вам нужно?

Я назвал свое имя, потом имена лиц, которые бывали и жили в этом доме, но в ответ получал недоуменные возгласы.

— Но ведь я сам жил здесь недавно,— сказал я.

— Когда?— заинтересовалась женщина.— По крайней мере мы уж двадцать лет безвыездно живем в этой квартире.

Двадцать лет! Неужели я пролежал в могиле два десятилетия?

— Скажите по крайней мере, где я могу видеть дворника — я прописан по книгам...

Женщина добивалась точной даты:

— Вы скажите, когда именно вы жили здесь?

— Ну, в девятьсот тринадцатом,— нехотя ответил я.

— В девятьсот тринадцатом?— Она произнесла это таким тоном, что я мог представить широко раскрытые глаза. Дверь полуотворилась, и я увидел испуганное и удивленное лицо.

«Она не верит мне, она притомляет меня за сумасшедшего».

— А разрешите спросить, какой год теперь?

— Пятидесятый,— просто ответила она и, чтобы мне было понятнее, добавила: — тысяча девятьсот пятидесятый.

Было о чем подумать мне в эту минуту... Тридцать семь лет! Что могло произойти за эти тридцать семь лет? Но думать о чем-либо я не был способен: чувство голода пересиливало все остальное.

— Дайте мне хоть кусочек хлеба,— простонал я.— Я не ел уже тридцать семь лет.

Женщина рассмеялась и вынесла мне сухую корку черного хлеба, которую я тут же принялся уничтожать. Представляю себе, какое чувство возбудил я в наблюдавшей за мной женщине: оборванный, грязный, еле стою на ногах и с жадностью собаки грызу черствую корку...

— Уходите как можно скорее,— сказала женщина,— я подала милостыню, а это запрещено законом. Советую вам вернуться туда, откуда вы пришли...

Она была уверена, что я бежал из больницы Николая чудотворца. Но, к сожалению, я не мог последовать совету доброй женщины и, поблагодарив ее, отправился в парк Лесного института.

У меня было достаточно времени, чтобы, отдыхая на ска-

мейке парка и доедая скудный завтрак, обдумать свое положение.

Прошло тридцать семь лет. Все мои преступления покрыты давностью, если бы даже меня узнала полиция... Но полиция меня не может узнать. Следовательно, я вполне свободный и благонадежный гражданин. А с другой стороны: у меня нет знакомых, моим рассказам никто не поверит и, пожалуй, меня упрячут в сумасшедший дом. Что же мне делать? Никому не рассказывать о своей истории!

Можно выдумать что-нибудь более правдоподобное, ну хотя бы, что я приехал из дальней деревни и ищу работу. Проще всего обратиться на тот же самый завод. Разве там не нуждаются в хороших слесарях?

Меня беспокоил только костюм, но, вспомнив о нищих, встреченных мною на шоссе, я нашел, что мой костюм, если его хорошенько почистить, будет вполне приличным костюмом для безработного.

Щетка из еловых веток помогла мне привести в порядок пиджак и брюки, в пруду я постирал рубашку, умылся сам и направился на поиски работы.

Я подошел к заводу в тот момент, когда раздался второй гудок и к закопченным воротам потянулись худощавые, плохо одетые люди с голодным блеском в глазах и признаками чахотки на лицах.

В наше время рабочие были здоровее,— подумал я, но, вспомнив, что почти за сорок лет приток свежих сил из деревни должен был сократиться, а потомственный рабочий, да еще петербуржец, не может не быть чахоточным, я мало тому удивлялся.

Подойдя к воротам, я спросил сторожа:

— Можно ли видеть заведующего?

— А вам на что?— удивился сторож.

В его глазах забегал недоверчивый огонек.

— Я приехал из деревни, ищу работы... Моя специальность — слесарь.

Эти слова часто открывали передо мной двери заводов. Но только не на этот раз.

— Зачем же вам заведующий? Он ничего не может сделать...

С большим трудом я узнал, что дело найма рабочих сосредоточено в особых учреждениях, ведающих учетом рабочей силы. Тем лучше, я запишусь в очередь, и у меня через неделю будет работа. А может быть, это бюро выдает и пособия безработным?

Но и тут меня ожидало разочарование. На дверях бюро висела записка, предупреждавшая об отсутствии свободных мест на заводах и фабриках Ленинграда.

— Кто вас направил сюда?— спросила барышня, скучавшая в обширных залах бюро.— Где ваша командировка?

Я не мог ответить на этот вопрос. У меня не было никакой командировки.

— Ну так поезжайте назад, откуда приехали...

Откуда приехал! Если бы она знала, откуда я приехал!

От поисков места по специальности пришлось отказаться. Я отправился в гавань: в мое время каждый мог найти там, правда, не особенно легкую и плохо оплачиваемую работу по разгрузке кораблей и барж. Но в гавани было тихо: две-три разбитых баржи, остов большого корабля, рыбацкие лодки. Я прошел в контору и получил вежливое разъяснение, что контора не нуждается в рабочей силе, конечно, до поры до времени, пока не восстановится экспорт. Я не расспрашивал, почему прекратился экспорт, что причиной запустения этого, в мое время такого живого места, — мне было не до того.

После безрезультатных поисков работы я вернулся в Лесной парк, на ту скамейку, которая заменяла мне квартиру. Заморосил обыкновенный петербургский дождь — ночевать на улице было небезопасно. Надо было найти комнату. Кто сдаст комнату беспаспортному оборванцу? Я не подумал об этом и долго бродил по Лесному, отыскивая зеленый билетик. По моим расчетам, в это время свободные комнаты должны быть в каждом доме. Их не было. Идти в гостиницу? Но являться в гостиницу без документа просто смешно.

Поневоле придется ночевать на улице.

Я опять вернулся к своей скамейке и вдруг почувствовал, что дьявольски хочу есть: еще бы, я с утра ничего не ел, и только другие, более важные заботы заглушили на время чувство голода.

Где достать хлеба? Просить? У кого? Но это — последнее дело. Может быть, на мое счастье у меня сохранились деньги? Я долго рылся в карманах, обшаривал подкладку — не завалилась ли где случайная монета. Наконец после долгих поисков нащупал небольшой кружок. Медь или серебро?

С каким трепетом я распарывал подкладку и как был обрадован, когда взял в руки почерневшую от времени серебряную монету. Теперь я буду по крайней мере сыт!

Разыскать булочную не представило большого труда. Мне даже отвесили три фунта черного хлеба, и я уже подошел к кассе и бросил на стекло свою драгоценную монету. «У нее настоящий серебряный звон, она не фальшивая». Но кассирша была другого мнения. Она долго рассматривала ее, вертела в руках, а потом безапелляционно заявила:

— Не годится!

Я вышел из булочной без хлеба, но зато с раздраженным аппетитом и бросил злосчастную монету на тротуар.

Голод по-прежнему мучил меня и особенно был ощутителен здесь, рядом с пахнувшей свежесдобитым хлебом пекарней. Я не уйду отсюда. Может быть, кто-нибудь сжалится надо мной и даст мне хоть один кусок.

Люди один за другим входили и выходили, унося домой французские булочки, пахучие коврижки черного хлеба, мягкие кусочки горячего ситного. Я боязливо протягивал руку, но никто не обращал на меня внимания. Прошла женщина, показавшаяся мне симпатичнее других. Я жалобно простонал:

— Подайте Христа ради...

Она недоверчиво посмотрела на меня и только ускорила шаг. Тогда я начал просить у каждого, выходявшего из дверей, и все настойчивее и настойчивее: их бессердечие раздражало меня. Но никто не обращал внимания на мои просьбы. Люди бережно несли свои фунты и полуфунты, и разве только силой можно было отнять у них хоть маленький кусочек.

Неужели я умру с голода?

У меня очень богатое воображение. Картина голодной смерти до такой степени ярко предстала передо мной; что заслонила все остальное.

«Но я хочу жить, черт возьми!» — подумал я и решил во что бы то ни стало раздобыть хлеба.

Преступление? Но разве не было случаев, что преступление заставляло обратить внимание на человека... И притом какое же это преступление? Право на существование и на хлеб имеет каждый...

Лучше попасть в руки полиции, чем умереть от голода.

В тот момент, когда я пришел к этому решению, из булочной вышел тщедушный молодой человек, довольно-таки прилично одетый. Он нес под мышкой фунта два черного хлеба. Я обратился к нему с вежливой просьбой — он как будто не слышал моих слов. Я пошел сзади и стал просить все настойчивее и настойчивее. Он молчал и только ускорял шаги. Я не отставал. Я возненавидел этого человека за его скупость и черствость. Я готов был наброситься и задушить его...

Но я не сделал этого. Я только толкнул его и вырвал из его рук драгоценную ношу.

Он упал и закричал не своим голосом, как будто его по крайней мере резали. Я же с остервенением вгрызся в мягкий пахучий кусок — я был опьянен его запахом и ничего не чувствовал, кроме желания есть без конца...

Раздались тревожные крики, свисток полицейского. Нас обступила толпа. Кто-то взял меня под руку и повел куда-то, а я с удовольствием грыз вожаделенный кусок хлеба...

Когда я пришел в себя, мне бросились в глаза железные решетки на окнах, белые стены, ряды больничных кроватей.

— Какой страшный сон,— сказал я и взглянул на соседа, ожидая увидеть худощавое черное лицо своего приятеля-факира. Но на его кровати спал кто-то другой.

— Значит, и факир — только сон.

Я взглянул на карточку, висевшую над моей кроватью: «Неизвестный».

Где я? Что сон и что явь? Все перепуталось в уставшем от впечатлений мозгу. Я обратился к сиделке:

— Где я? Давно я здесь?

— Около недели,— ответила она.

— Меня задержали на демонстрации?— продолжал я спрашивать ее.

Сиделка удивилась:

— На какой демонстрации? Вас арестовали за грабеж...

Расспросив ее, я узнал, что все происшедшее было отнюдь не сном, что я действительно арестован за нападение на улице и что я был накануне смерти, как это ни странно, от обжорства: мой желудок не выдержал такого количества свежего хлеба после почти сорокалетней голодовки.

Мне оставалось только ждать своей участи. Я даже радовался такому исходу: в больнице меня будут кормить и, конечно, не выбросят на улицу.

## Пятая глава

### Перед судом

В больнице я узнал, что меня будут судить.

— Что же грозит за мое преступление?— смеясь спросил я у сиделки.

— Лет десять изоляции,— просто ответила она. Имея дело с тюремными жителями, она неплохо разбиралась в законах. — Вас будут судить за бандитизм...

Десятилетнее заключение за то, что голодный отнял у сытого кусок хлеба? Бандитизм? До чего дошла наглость эксплуататоров! Во мне снова заговорило чувство бунтовщика и революционера. Я не боюсь суда—им же будет хуже. Я скажу большую речь о собственности, о социализме...

Я начал припоминать цитаты из книг моих великих учителей. Я составлял сногшибательно резкую речь. Она должна быть обвинительным актом против капиталистического строя, против эксплуатации человека человеком. Яркими красками готовился я описать изможденные лица рабочих у завода «Новый Айваз», роскошь магазинов на Невском и Литейном, сытых буржуев и их жестокие законы. Я чувствовал, что моя речь будет иметь успех, и заранее радовался...

Но мне пришлось пережить неожиданное, на этот раз приятное разочарование.

Расскажу по порядку.

Когда я немного поправился, меня перевели в одиночную камеру. Там я мог достать карандаш и бумагу и около недели работал над своей речью. Кормили меня не особенно хорошо, но я не ждал лучшего и был доволен. Когда моя речь была готова, я устроил репетицию. Встав в позу оратора и вообразив перед собой вместо сырых стен тюрьмы каменные лица судей, я шепотом произнес эту речь. Мне казалось, что даже стены были потрясены моей речью. И когда на другое утро железные двери раскрылись передо мной, и под конвоем я проследовал в суд, я чувствовал себя не преступником, ожидающим справедливого наказания, а героем, ожидающим триумфа.

Скамья подсудимых. Напротив — накрытый красным сукном стол. За столом судьи: один худощавый, с вытянутым пергаментным лицом, другой толстенький, как я решил — буржуйчик, и изящно одетая дама. Эти типичные представители господствующего класса слишком толстокожи, чтобы на них могла подействовать моя горячая речь.

«Но зато тем больший отклик будет она иметь в сердцах слушателей», — подумал я.

Рядом со мной сидел потерпевший — у него еще не зажили синяки: оказывается, я так неловко и так сильно толкнул его, что он упал лицом на фонарный столб. Он был жалок, и во мне зашевелилось нечто вроде чувства раскаяния. Но что же делать? Он не виноват — но не виноват и я!

Виноваты возмутительные порядки.

Обычные вопросы:

— Имя, отчество, фамилия. Год и место рождения.

Я ожидал, что меня будут расспрашивать о мотивах моего преступления, о том, как я решился на такой шаг и т. д. Не тут-то было. Меня спрашивали о другом.

Кто был мой отец и чем занимался, кто была моя мать, имела ли она кроме заработка какие-либо нетрудовые доходы, не служил ли мой дед в стражниках, не был ли он женат на дочери городского... Я отвечал правду, но судьи не верили моим словам, задавали по два раза один и тот же вопрос. О подробностях моей биографии я решил умолчать, мое прошлое могло только повредить мне.

— А где вы были в семнадцатом году?

Я ответил, что не могу точно сказать, где я был в семнадцатом году. Судьи переглянулись.

— Ну а до семнадцатого года?

— До семнадцатого года я работал на заводе «Новый Айваз» в качестве слесаря.

Сухощавый судья проскрипел:

— Доказательства!

Я вынул из кармана билет и подал судье. Билет долго рассматривали все члены суда, передавая из рук в руки. Наконец полная дама спросила:

— Так вы рабочий?

В тоне этого вопроса я с удивлением почувствовал признак некоторого уважения к этому званию и поспешил ответить утвердительно. Судья сухо сказал:

— Достаточно!

Недоумевая, я сел на скамью.

Судьи перешли к допросу потерпевшего. Его допрашивали так же, как и меня. Я узнал, что отец его был портным, а сам он — конторщик.

— А ваш отец,— спросил его голстый судья, — состоял на службе или имел собственное заведение?

Потерпевший смутился, покраснел, обвел глазами присутствующих, словно ища у кого-либо поддержки, и шепотом проворчал:

— Нет. То есть — да... собственное...

— Достаточно,— прокрипел худощавый судья,— можете сесть.

Суд удалился на совещание.

Я был удивлен и раздосадован. Когда же мне дадут возможность произнести мою горячую защитительную речь?

— Почему они не допрашивают меня? Почему не спросили, какое преступление я совершил?— спросил я конвойного.

— А они и так знают,— ответил конвойный.

Это было сказано так резонно, что я ступешался.

Ожидание длилось недолго. Минут через пять сухощавый судья скрипучим, как испорченное перо, голосом прочитал длиннейший обвинительный акт и, наконец, заключение, которое одно я в сущности только и слышал:

— Ввиду пролетарского происхождения — оправдать.

Такое решение удивило меня. И еще более, чем решение суда, меня удивило то, что судья, закончив чтение, объявил перерыв и, подойдя ко мне, сделал приветственный знак рукой и спросил, каким образом попал я в столь тяжелое положение. Я рассказал.

— Это невозможно,— ответил он.

Из публики выделились два человека и оба подошли ко мне.

— Вы — рабочий?— спросил один.

— Вы — партийный?— спросил другой.

Я говорил им то, что написано на первых страницах этой правдивой повести. Они удивлялись, наперебой приглашали меня к себе, кто на обед, кто на ужин. Мне оставалось только записывать адреса.

Скоро я очутился в прекрасно обставленной гостиной наедине

с молодым человеком, очень заботливо угощавшим меня самым изысканным ужином. Я не понимал, что со мной происходит.

— Да скажите же, наконец, в чем дело?— спросил я.

Этот молодой человек будет в дальнейшем играть некоторую роль в нашей повести, и я должен описать его. Он был чисто выбрит, со впалыми щеками, вытянутым лицом и носил монокль. По внешности он больше всего напоминал лицеиста.

— Спрашивайте, — сказал он, — я весь к вашим услугам.

Я заметил, что он даже картавит, как настоящий лицеист.

Я собрался с мыслями и стал задавать вопросы.

## Шестая глава

### Я на верху блаженства

— Скажите, почему вы и все остальные на суде приняли во мне такое участие? Кто эти люди?

Молодой человек закинул ногу на ногу:

— Рабочие!— ответил он.

— Рабочие?— удивился я.

— Ну да! Разве вы не знаете, что сорок лет назад у нас произошла победоносная пролетарская революция?

Это известие ударило меня, как обухом по голове. Я перестал что-либо понимать во всей этой бестолковщине.

— Пролетарская революция?

— Ну да,— самодовольно ответил Витман — так звали моего собеседника.— Пролетариат выдержал отчаянную борьбу и победил. По крайней мере, в нашей республике...

Он кратко познакомил меня с тем, что произошло в течение этих сорока лет. С каждым словом мое удивление росло, и вместе с тем росла моя радость. То дело, которому я отдал лучшие годы своей жизни, наконец восторжествовало: я в рабочем социалистическом государстве, где все законы написаны рабочими и на пользу рабочим, где рабочие стоят на верхушке, управляют фабриками, заводами, государством...

У меня закружилась голова.

— А буржуазия?— спросил я.

— Буржуазия?— переспросил Витман. — Этих кровопийц,— очень хорошо выходило у него это слово при его картавом выговоре,— этих кровопийц мы заставили нести самую тяжелую и неприятную работу... Мы заняли их особняки и дворцы, а их переселили в подвалы... Да, это полная и окончательная победа.

Признаюсь, я был на верху блаженства в этот вечер. Я забыл обо всем, что пришлось мне пережить за последние дни, и только одно угнетало меня: почему в этой великой борьбе я был лишен возможности принимать личное участие? И из-за чего? Из-за какой-то глупой случайности...



Но скоро во мне заговорило сомнение:

— Как могло выйти, что в социалистическом государстве я чуть не умер от голода, и никто не хотел помочь мне?

— Вы начали не с того конца... Вы действовали по-старому. Вы пошли искать работы. Как глупо! В то время, когда каждый человек на учете и у каждого есть свое место, вы ищите работы! Вы должны были выяснить сначала свое социальное происхождение, а вы стали просить подавания на улице у прохожих. Вторая глупость: кто же вам подаст? Наши граждане отлично знают, что если у вас нет хлеба, значит, вы того заслужили, и не дело частного лица вмешиваться в распоряжения государства...

Оказалось, что государственная машина слишком хорошо отлажена, ни одно событие не ускользает от этого аппарата, и все мое несчастье заключалось в том, что я не мог попасть на зубчик машины, которому надлежало ведать моим делом.

— Поймите, что ваше положение было более чем необыкновенным.

Мне пришлось согласиться с этим.

— Теперь ошибка будет исправлена... Вы увидите, какая у нас прекрасная организация и как хорошо живет теперь рабочему человеку...

Со своей стороны он расспрашивал меня о нашей работе в царское время, о забастовках, спрашивал, с какими из известных вождей я был знаком, и очень удивился, когда я сказал, что был одним из друзей товарища Коршунова.

В его квартире я остался и на ночь.

— А завтра мы позаботимся о том, чтобы у вас был собственный угол.

На следующее же утро при содействии Витмана я был одет в новенькое, с иголочки, платье, в кармане у меня был паспорт и партийный билет. К обеду у меня была уже квартира.

— Отличная квартира,— говорил Витман.— Она была до сих пор занята остатками одного буржуазного семейства, всячески пытавшегося скрыть свое происхождение. Только вчера их вывели на чистую воду и теперь переселят в подвал. Вам очень повезло, — добавил он,— теперь так трудно получить приличное помещение...

Мы поехали осматривать квартиру. Она помещалась в доме номер семь по Большой Дворянской улице. Я очень любил это место: чугунные узоры на ограде дворца Кшесинской, голубой купол мечети, Петропавловская крепость и вздыбивший кошачью спину Троицкий мост. А исторические воспоминания? Александровский парк — отсюда девятого января шли толпы рабочих к царю, здесь озверевшие солдаты и казаки расстреливали пытавшихся спрятаться за деревья мальчишек. Помню, в детстве сюда приводил меня отец показывать домик Петра Великого — память о том времени, когда

героическими усилиями народа был построен этот город — окно в Европу.

Местность изменилась мало, как будто сорок лет прошли без следа. Все было так же, как и тогда, если не считать одного несущественного обстоятельства: новых названий. Названия эти очень щедро давались в первые годы революции и должны были напоминать о наиболее важных моментах в истории революционной борьбы. Мне хотелось познакомиться с происхождением некоторых из них, но когда я спросил Витмана, кто такой Блохин, именем которого названа одна из улиц, тот, поморщившись, сказал:

— Зачем вам это знать? Никто не знает!..

Меня заинтересовало, как далеко зашло это переименование, не переименован ли и домик Петра Великого, но от этого вопроса я воздержался.

Во дворе дома номер семь увидел я двух женщин: старушку в очках, очень бедно одетую, и милую девушку лет двадцати двух, показавшуюся мне красавицей. Она напомнила мне... Ну да я не буду говорить, кого она мне напомнила... Такие же ясные глаза и белокурые волосы... Они посторонились, чтобы пропустить нас. Я снял шляпу и раскланялся. Девушка не ответила на мое приветствие, а Витман с удивлением посмотрел на меня. Девушка отвернулась, и я заметил, что на глазах ее показались слезы.

— Это выселенное буржуазное семейство,— шепнул мне Витман. Мне стало жаль девушку, и я, подойдя к ней, сказал:

— Уверяю вас, что я не хотел сделать вам неприятности...

Но Витман не дал мне кончить начатой фразы — он отвел меня в сторону и предупредил, что я не имею права разговаривать с этой девушкой. Я удивился.

— Ведь она из другого класса,— объяснил он.

Это объяснение мало удовлетворило меня, я понял только, что надо до поры до времени не возражать и не расспрашивать.

Мы прошли в квартиру.

Вещи не были вынесены, и во всей обстановке чувствовалась рука заботливой хозяйки. Большие книжные шкафы, картины на стенах, безделушки на полочках.

— Все это останется вам,— сказал Витман, заметив, с каким вниманием разглядываю я обстановку.

— Но ведь это их имущество?

Витман презрительно поморщился:

— Предметы роскоши... Буржуазия не имеет права владеть ими.

Мне пришлось согласиться, но с тайной мыслью, что я передам эти вещи их прекрасной хозяйке. То, что я не мог прямо сказать об этом моим друзьям и чувствовал, что они не поймут меня, несколько омрачало мою радость. Была какая-то грань

между ними и мною, и я даже несколько побаивался этих чрезвычайно любезных, но в то же время чрезвычайно черствых людей. И все-таки я сделал одну попытку: когда после ужина в моей новой квартире Витман развалился на оттоманке с дорогой сигарой во рту, я сказал ему:

— А все-таки мне жаль эту милую барышню...

Он ответил мне:

— Вот еще... Ведь они пили нашу кровь!..

И при этом так ужасно картавил, что мне стало противно. Этого чувства я и впоследствии не мог преодолеть.

## Седьмая глава

### Город знакомится со мной

Если забыть эту маленькую неприятность, я был счастлив. Засыпая в теплой и мягкой постели, в уютной, убранной женской рукой спальне, я не мог поверить, что только вчера был бездомным бродягой и уголовным преступником. Что-нибудь одно было сном: или мои невзгоды, или мое неожиданное счастье, и я скорее склонялся ко второму предположению. Закрыв глаза, я боялся вновь открыть их — а вдруг я снова очнусь в арестантской больнице?

Спал я плохо, меня мучили кошмары. Мне снилось, что я арестант и меня ведут вместе с партией других таких же арестантов этапным порядком в Сибирь; рядом со мною идет Мэри, только черты ее лица напоминают скорес черты лица той девушки, квартиру которой я занял. Она закована в кандалы, она спотыкается, она плачет. Угрюмый конвойный подталкивает ее в спину прикладом. Я хочу ей помочь, я хочу с кулаками броситься на конвойного, но руки мои в кандалах...

Я говорю Витману, который идет тут же:

— Нельзя ли помочь ей?

— Они пили нашу кровь,— отвечает Витман.

И я только тут замечаю, что на Витмане солдатская шинель, а в руках у него нагайка.

Тут я проснулся.

Встав с постели, я несколько минут ходил по комнате, стараясь убедиться, что я действительно не сплю.

«Но ведь тогда все великолепно!»— сказал я вслух. Опять лег в постель, заснул и снов уже не видал.

Утром я нашел на ночном столике газету и с жадностью принялся за чтение.

«Известия Совета рабочих и крестьянских депутатов»,— прочел я заголовок.

Значит, не сон!

Я долго глядел на этот заголовок, на знакомый мне лозунг «Пролетарии всех стран, соединитесь!», и вспомнилась другая

газета, с тем же заголовком и с тем же лозунгом, маленькая, скверно отпечатанная в подпольной типографии...

И мне опять стало досадно, что я буквально проспал столько великих событий.

Первое, что бросилось мне в глаза: статья о моей собственной особе. Я с интересом принялся читать ее. Я прочел сообщение о процессе, в котором очень подробно описывались мои показания, а также показания потерпевшего, излагалось постановление суда. Говорилось, что я удивился приговору, и — в виде беседы со мной — сообщалась моя краткая биография.

Что это была за биография — судите сами.

Я с удивлением узнал, что за свой короткий век был раз двадцать ссылаем в Сибирь, что мне при каждой ссылке вырывали ноздри и ставили на лоб по клейму, что семь раз я был приговорен к повешению и даже проснулся будто бы с веревкой на шее; снимок этой веревки был помещен тут же с надписью: «Орудие убийства царских палачей». Наконец, я был сдан насильно в рекруты и отбывал военную службу в арестантских ротах.

Я не говорю об удивительных моих приключениях во время подпольной работы, которые шли в этом же номере газеты в виде подвала. Этот фельетон мало задел меня, но что сказать о статье, в которой с моих будто бы слов утверждалось, что рабочие в царское время проводили на заводе двадцать четыре часа в сутки, а иногда и больше, а чтоб они не убежали, их заковывали на ночь в кандалы. Меня, знавшего действительную тяжесть заводской работы в старое время, эта наивная ложь только рассмешила, но какое впечатление произведет такая статья на читателя? Он тоже посмеется или отбросит газету и не поверит ни одному ее слову?

О моих личных качествах сообщались столь же невероятные вещи: оказалось, что я не умею ни читать, ни писать (царское правительство, как известно, не давало рабочим возможности учиться), а через две-три строки я уже оказывался редактором подпольной газеты. Дочитывая последние строки, я потерял способность смеяться. Наглая, бесстыдная ложь корреспондентов возмутила меня.

Сейчас же напишу опровержение.

«Редакция,— писал я,— доверилась интервьюеру, не потрудившемуся не только поговорить со мной, но и навести, хотя бы в словаре, необходимые справки. Он основывался исключительно на своем собственном вымысле».

Дальше я подробно изложил историю своей жизни, не прибегая к преувеличениям, так как положение рабочего, и в особенности революционера, было настолько тяжело, что не нуждалось в наивных и глупых прикрасах. «Вся сила наших старых подпольных газет,— писал я,— была только в правде.

Лгать — значит вредить делу пролетариата и лить воду на мельницу наших врагов. Кто же поверит той бессмыслице, которая, конечно, случайно попала на страницы вашей газеты...»

Когда я заканчивал последние строки, вошел Витман. Я поспешил поделиться с ним моим негодованием. Он молча слушал, нетерпеливо стряхивая пепел с сигары. Мое воодушевление значительно ослабло от такого приема, и я поспешил закончить свою речь.

— Я уже написал опровержение,— сказал я.

— Зачем?— холодно спросил Витман.

— Да ведь это ложь, явная и вредная ложь...

— Вы ничего не понимаете,— поморщившись, пробурчал Витман,— во-первых, газет никто не читает, а во-вторых, это нужно для пропаганды...

Я не послушал Витмана и отнес свое опровержение в редакцию. Замечу, кстати, что оно не увидело света.

Завтракал я вместе с Витманом в столовой. Это было довольно-таки хорошо обставленное просторное помещение, напоминавшее первоклассный ресторан. В отличие от ресторанов, стены столовой были украшены плакатами и лозунгами: «Не трудящийся да не ест», «Владыкой мира будет труд», «Долой горшки, да здравствует коммунизм». Прислуживали молчаливые официанты. Посетители — в большинстве своем солидные господа и дамы — разглядывали меня с таким же интересом, с каким я — обстановку первой увиденной мною коммунальной столовой. Как это мало походило на наши харчевни у Нарвской или Невской заставы, в которых любили собираться рабочие. Вы понимаете мое чувство: завтракать в такой обстановке, поедать в неограниченном количестве самые отборные кушанья — и сознавать, что я не эксплуатирую никого, что я не отнимаю куска у голодного... Капиталисты никогда не испытывали подобного чувства.

Я поделился своими соображениями с Витманом. Он одобритительно наклонил голову.

— Вы должны показаться в клубе нашего союза,— сказал он,— вами все интересуются...

«Ну и разочаруются же они»,— подумал я, вспомнив, каким красавцем изобразили меня утренние газеты.

Клуб находился через дорогу в помещении бывшей церкви. Крест с церкви был снят, колокола тоже, а внутри рядами стояли стулья, как в театре. Но что меня удивило, так это иконостас. Иконостас сохранился в полной неприкосновенности: иконы с золотыми и серебряными окладами, золоченые хоругви... Неужели не могли убрать или хотя завесить, подумал я. Но ближе взглядевшись в лица святых, я не узнал ни одного, и что более всего поразило меня, так это современные костюмы изображенных на иконах людей.

Я тотчас же сказал об этом Витману.

— Что вы,— удивился он,— да ведь это портреты вождей революции.

Тут только я понял свою ошибку. Разглядывая портреты, я увидел несколько знакомых мне лиц, в том числе и своего старого друга — Коршунова. Знакомое лицо — и на иконе. Это было так странно.

— Зачем же,— сказал я Витману,— так похоже...

Витман не успел ответить. Из алтаря вышел священник и встал за аналоем. Я не точно выражаюсь, это был не священник, а скорее лютеранский пастор. Из объяснений Витмана я узнал, что это был заведующий клубом, он же старший инструктор по внешкольному образованию.

Но все-таки я с трудом мог отделаться от мысли, что нахожусь на протестантском богослужении. Мы все хором пропели «Интернационал», напев которого несколько изменился, так что он скорее напоминал церковное песнопение, чем бравурный марш парижских коммунаров, затем последовала проповедь. Проповедник рассказывал о победе рабочего класса над капиталом и подробно остановился на сегодняшнем дне, объясняя его значение для мировой революции. В довершение сходства никто не слушал проповедника, но все сидели смиренно и только изредка перешептывались.

После проповедника получил слово я. Зал тотчас же оживился. Говорил я недолго, предупрежденный Витманом, что не следует вступать в пререкания с анонимным газетным сотрудником. Я выразил свое восхищение героями, доведшими до конца дело пролетариата, и свою веру в торжество этого дела. Иначе и нельзя было говорить в такой торжественной обстановке.

После моей речи присутствующие почтили вставанием память революционеров, которым был посвящен этот день, опять хором пропели «Интернационал» и чинно разошлись по домам.

Витман был доволен моим выступлением — я же решил и впредь не нарушать правил приличия, не мною выработанных и имеющих, может быть, особенное, для меня непонятное значение.

Из клуба меня провезли в высшую государственную коллегию, где я сделал очень подробный доклад о своей особе. Меня выслушали внимательно и поручили в двухнедельный срок письменно изложить мою историю для отдельного издания. Я был доволен, что хоть таким образом опровергну невероятные сплетни, распускаемые газетами. Признаться, меня больше всего мучил такой пустяк, как двадцать раз вырванные ноздри; но сознайтесь, читатель, и вам было бы не особенно приятно фигурировать на столбцах газет в качестве каторжника, да еще с вырванными ноздрями.

## Восьмая глава

### Я знакомлюсь с городом

Первые дни моей новой жизни проходили как бы в фантастическом сне. Я не успевал вбирать в себя впечатления, которые вдруг нахлынули и заполнили меня. Я ездил с собрания на собрание, читал лекции, отвечал на многочисленные вопросы, и, признаюсь, мне настолько нравилось быть в центре общественного внимания, что я даже мало наблюдал окружающую обстановку. Да, как мне показалось, особенных изменений и не произошло: чудеса техники, о которых так много говорили романисты, нисколько не удивляли меня. Я видел отправление воздушного поезда с грузоподъемностью несколько тысяч тонн, я имел возможность, сидя в своей комнате, не только слушать концерт, но видеть артистов и даже разговаривать в антрактах со знакомыми, которые, подобно мне, сидели у себя дома и в то же время были в театре. Но все это удивляло только одно мгновение, а затем почувствовалось несовершенство диковинных аппаратов. Вы поймете это, если вспомните, что обыкновенный телефон являлся в свое время для многих чудом природы, чтобы затем сделаться предметом одних неприятностей. Когда вы стоите у телефона и тщетно вызываете барышню, или когда слышите из трубки хрипение чужих звонков и чей-то незнакомый голос, или когда, наконец, ваш оживленный разговор будет неожиданно прерван — вы не почувствуете изумления перед чудом науки и техники, а выругаетесь самым допотопным образом.

Так и со всеми изобретениями.

В наше время все увлекались воздухоплаванием, я сам как-то сконструировал в тюрьме весьма затейливый аппарат, чертежи которого отобрал у меня один жандармский полковник, — и что же? Прошло сорок лет, и эти сорок лет убедили меня только в преимуществах сухопутного сообщения: все-таки спокойнее, дешевле и безопаснее.

Только одно ценное наблюдение сделал я — и наблюдение несколько неожиданное — все технические усовершенствования имели тенденцию идти от более сложного к более простому: паровые машины кое-где были вытеснены обыкновенными ветряными мельницами, и эти ветряные двигатели стоили так дешево, что любая швея могла приставить их к своей машинке. К сожалению, этих аппаратов еще не умели делать в России, а заграничные почему-то продавались по невероятно дорогой цене.

Внешний облик города изменился мало. Если отбросить огромное количество новых названий, то все остальное сохранилось в полной неприкосновенности: город за это время почти не вырос. Объяснялось это отсутствием той торговли с заграницей, которую вел в свое время Петербург. Теперь внешняя

торговля значительно сократилась — отчасти вследствие натянутых отношений с границей, до сих пор не желающей признавать первую коммунистическую республику, отчасти вследствие того, что центр внешней торговли перебрался на крайний север, где на месте прежнего Мурманска вырос большой, широкого значения порт.

Что еще? Магазины, продавцы, покупатели, праздношатающиеся на улицах — все было таким же, как и в мое время, вплоть до нищих, предупредительно открывавших перед тобой дверь магазина, оборванных ребятишек с папиросами и спичками, назойливых, жуликоватых, со следами преждевременных пороков на лицах.

Присутствие нищих в столице победившего пролетариата было непонятно мне, но первое время я мало задумывался над подобными вопросами: я был в каком-то чаду, и этот чад старательно поддерживали все окружающие.

Возвращался домой я очень поздно, усталый, взволнованный, и тотчас же садился писать мемуары. Часов в одиннадцать мне приносили анкету, где услужливо написано было мое имя, фамилия, а от меня требовалось только, чтобы согласно вопросам я дал отчет обо всех событиях своего трудового дня. Этот обычай очень понравился мне, я писал, ничего не скрывая, обо всем: и что я делал, и о чем я думал (был и такой вопрос).

На какие средства я жил? Мне была назначена пенсия в размере жалования по семнадцатому разряду союза металлистов — самого влиятельного и получавшего наибольшие ставки. Получив удостоверение о том, что я мастер одного из заводов, я собрался было идти на работу, но мне объяснили, что все равно мне там нечего делать. Производительность труда поднялась настолько, что люди моего возраста могут совсем не работать.

Я узнал, что теперь рабочие вообще проводят на заводах мало времени: два часа в сутки, и этого вполне достаточно. Зная из книг, что так и полагалось бы в социалистическом обществе, я несколько не удивился краткости рабочего дня: я бы больше удивился, услышав обратное. А так как мой возраст был довольно-таки преклонен — шестьдесят шесть лет, я мог ничего не делать и первое время не чувствовал скуки, слишком заполнена была моя жизнь новыми впечатлениями. Выглядел же я совсем молодым человеком: сорок лет, проведенные в могиле, несколько не отразились на моем здоровье.

Итак, я был молод, обеспечен, окружен друзьями, меня знала вся страна, я видел воплощенными свои мечты о радикальном переустройстве общества...

Чего мне оставалось желать? О чем думать?

Одним словом, я был вполне счастлив, как только может быть счастлив человек на земле.



## Девятая глава

### Новые знакомства

Когда судьба хоть на одну минуту бывает милостива к человеку, он способен не замечать несчастий другого. Сейчас, сидя в тюрьме, накануне неминуемой смерти, я не понимаю, каким образом мог я не заметить тех противоречий, которые скоро заставят меня выйти из колеи и дойти до того положения, в каком нахожусь сейчас...

Но это, конечно, излишнее отступление.

Останусь строго последовательным, иначе тот или иной факт ускользнет от описания, и моя повесть тем самым сделается неполной и, следовательно, неправдивой.

Поселился я в доме номер семь по Большой Дворянской (если хотите знать новое название этой улицы, купите за три копейки справочник, а я не помню). В этом доме, населенном, как я узнал, исключительно рабочими, было все необходимое: и столовая, и прачечная, и продовольственный магазин, и клуб. Можно было жить, не выходя из дома, особенно если принять во внимание, что радиоаппараты были поставлены в каждой квартире, и можно было слушать любое театральное представление. Каждое утро доставлялась газета, вероятно, той же самой невидимой рукой, которая ежедневно подбрасывала анкету. Для прогулок и дальних поездок у ворот дома стоял автомобиль: когда уезжал на нем один из жильцов дома, подкатывал другой, так что ходить пешком или ездить на трамвае мне не приходилось. Может быть, этот способ передвижения отчасти способствовал тому, что я ни разу не подумал о тех исхудалых, чахоточных рабочих, которых я ведь собственными глазами видел у ворот завода «Новый Айваз». Что это за люди? Преступники? Военнопленные? Рабы?

Вокруг себя я видел только благополучие. Сколько я ни встречал людей — на лестнице, во дворе, в клубе, в магазине, — это все были хорошо упитанные господа и дамы, приветливо раскланивающиеся друг с другом, всегда довольные, изысканно вежливые. Скоро я завел более близкие знакомства среди людей из этого круга.

Однажды я проснулся раньше обыкновенного. Срок окончания заданной мне работы приближался, и мне приходилось наверстывать потерянное в постоянных разъездах время. Надо сказать, что к работе своей я относился со всей тщательностью человека, первый раз пишущего для печати, и мне не хотелось ударить в грязь лицом перед моими новыми знакомыми и перед правителями рабочего государства.

Я сидел за письменным столом, обдумывая довольно-таки сложный период, разбухший помимо моей воли от большого количества придаточных предложений. И вдруг я услышал сла-

бый скрип двери и чьи-то слишком мягкие и поспешные шаги.

«Воры!»— подумал я и, бросив перо, выбежал в коридор, захватив тяжелую бронзовую лампу.

— Кто здесь?— крикнул я и, заметив маленькую фигурку, чуть не обрушил на ее голову это тяжеловесное оружие.

— Извиняюсь,— пролепетал тихий, немножечко хриплый, немножечко сладкий голосок,— извиняюсь, но это моя обязанность...

— В чем дело?— громко спросил я, держа лампу наготове.

Маленький человечек засмеялся.

— О, да вы не знаете наших порядков,— сказал он,— я политрук-проводитель вашего дома...

Я пропустил странного гостя в свою комнату. По одежде его нельзя было принять за вора, а в манерах было что-то кошачье, одновременно хищное и до приторности ласковое. Я попросил его присесть на минутку и объяснить свое поведение.

— Я доставляю вам анкеты и беру их обратно,— сказал он.— Делается это для того, чтобы никто не мог прочесть вашего дневника. Вы пишете его ночью, когда никого нет в квартире, и рано утром я уношу его... Ведь правда, неприятно, если ваши интимные излияния прочтет посторонний человек.

Я не понимал:

— Но ведь вы читаете их?

— Хе-хе! Это моя обязанность! Как в ваше время можно было обо всем говорить священнику, так теперь можно обо всем говорить мне... Вы можете положиться на мою скромность...

— А ключ?— заинтересовался я.

— У меня есть ключи от каждой квартиры...

Мне стало неприятно. Этот непрощенный гость может нагрянуть в любое время ночи... и что если...

Он понял мою мысль:

— Если вы не делаете ничего противозаконного, то вас это не должно беспокоить... И притом мы редко пользуемся своими правами... Вы видели, что я делал? Я вошел в коридор и дальше — ни шагу... Конечно, когда обстоятельства потребуют того,— сурово добавил он,— я могу войти, и не один!

Вышел он так же тихо, как и вошел, почти не шаркая мягкими туфлями, съежившись и выставив вперед маленькую мордочку с тонкими черными усиками.

Этот незначительный случай расстроил меня. Весь день я просидел дома. Меня вызывал Витман — я сослался на нездоровье. Мне звонили некоторые из знакомых и большей частью товарищи Витмана — студенты Коммунистического университета, но я твердо решил не выходить из дома. Мне хотелось выяснить все обычаи, чтобы в дальнейшем не было никаких неожиданностей, вроде внезапного визита таинственного политрука.

В десять часов я пошел в домовый клуб, где мог увидеть почти всех жильцов дома. Они тихо дремали в своих креслах, слушая проповедь, подобную той, какую я слышал в клубе союза металлистов, испещренную ссылками на вождей революции, цитатами — а в общем даже для меня слишком элементарную и скучную.

Надо ли говорить, что в проповеднике я узнал своего непрошеного гостя? И тотчас же мне вспомнились его слова о священнике и исповеди.

«Да ведь он и есть священник!» — подумал я.

Слушать проповедь у меня не было никакой охоты. Я стал рассматривать публику и заметил, что публика занимается тем же: большинство из них смотрит на меня, кто с любопытством, кто с недоверием. Одна пожилая женщина, заметив мой взгляд, не могла сдержать улыбки. Я ответил ей легким поклоном. Она расцвела и победоносно оглядела окружающих. Я понял, что она не прочь завязать со мною более близкое знакомство, и по окончании службы подошла к ней.

— А ведь мы соседи, — сказала она, когда я отрекомендовался, — почему же до сих пор вы чурались нашего общества?

Я поспешил сослаться на срочную работу.

— Вы прежде всего должны были связаться с нами, — ответила она, — и через нас у вас установился бы контакт с широкими массами, населяющими наш дом.

Во мне нашлось достаточно такта, чтобы не удивиться напыщенности ее языка. Я принял приглашение провести сегодняшней вечер в ее семье.

— У нас будет тесная смычка, не правда ли? — кокетливо улыбаясь, сказала она на прощанье.

Я ответил любезным поклоном. Чтобы не забыть, отмечу: она, подобно всем женщинам, живущим в этом доме, носила коротко остриженные волосы, была несколько небрежна в костюме, но зато подкрашивала губы и щеки.

## Десятая глава

### Квартира номер девять

В тот же вечер я поспешил воспользоваться приглашением. Вся семья была в сборе, и ждали только меня. Кроме дамы, ее мужа — толстенького смешливого человечка, директора какой-то фабрики, и двух дочерей, были еще и гости. Признаюсь, войдя в квартиру, я почувствовал неловкость: надо сказать, что я не привык к буржуазной обстановке. Где я жил? В деревенской избе, в углу, вместе с другими рабочими, в казарме, в тюрьме, в студенческой комнате — и до сих пор нахожу, что каждое жилище из перечисленных выше, не исключая и тюрьмы, имеет свою прелесть, или, если так можно выразиться, поэзию. Но все

эти виды жилищ лишены одного — буржуазного комфорта. Даже теперешняя моя квартира, обставленная хорошо, если не сказать богато, по сравнению с квартирой номер девять казалась бедной студенческой комнатой. Здесь меня поразило огромное количество тяжелых, громоздких и ненужных предметов: шкафы, буфеты, широкие диваны, стулья и стульчики, кресла и креслица, этажерки, фигурки, картины в золотых рамах, статуэтки и статуи делали эту квартиру похожей на антикварный магазин. Сходство усугублялось тем обстоятельством, что владелец этих вещей не заботился о том, чтобы выдержать какой-либо стиль: здесь были собраны предметы всевозможных эпох и стилей, и в то время, как некоторые из вещей поражали меня своей неуклюжестью, другие, наоборот, ласкали взгляд изяществом и тонкостью линий.

Задавленный количеством предметов, я, вероятно, был очень неловок, так как девицы, увидев меня, переглянулись, и одна из них шепнула что-то другой — вероятно, весьма неодобрительное о моей особе. Моя неловкость увеличилась, я покраснел от смущения и постарался бы скрыться, если бы хозяйка не вывела меня из затруднения, предложив сесть и заняв меня разговором о погоде.

Усевшись в глубокое кресло, я имел возможность подробнее осмотреть гостиную. Я заметил, что большинство картин написаны на революционные сюжеты, причем предпочтение давалось героическим темам: девятое января, расстрел рабочих, еврейский погром. Статуэтки изображали рабочего с молотом или крестьянку с серпом. В углу, как и во всех квартирах, висело несколько икон, над которыми красными по золоту буквами была сделана надпись: «Ленинский уголок».

Я не знал, о чем говорить с хозяйкой. Перетрогав все темы и не найдя ни одной подходящей, я сказал, что очень рад видеть благосостояние рабочего класса и жалею, что не участвовал в революции. При этих словах я заметил, что лица хозяйки и ее дочерей странно изменились: они вытянулись, стали постными, суровыми, и водворилось неловкое молчание, после которого хозяйка, вздохнув, продолжала говорить о пустяках. Впоследствии я понял, что разговор о подобных вещах, вполне приличный в клубе, так же странен в обществе, как в наше время разговор на религиозные темы во время веселой пирушки.

В столовой нас ждали изделия Госспирта, Винсиндиката и Винторга (названия современных фирм) и обильные закуски. Языки развязались, хозяева и гости оказались весьма милыми собеседниками. Они изумительно хорошо передразнивали косточку, рассказывали пикантные анекдоты и перетряхнули все косточки каждого из жильцов огромного дома. Один этот вечер дал мне больше, чем предыдущие две недели, проведенные в

автомобиле и на докладах: я был за два часа посвящен во все тайные подробности жизни этих людей, во все их интересы. Наряды, легкий флирт, борьба честолюбий, мелкая зависть и мелкая ненависть — все сохранилось в неприкосновенности, несмотря на прошедшие сорок лет и несмотря на глубокие социальные изменения.

После ужина мы играли в карты. Я тоже присоединился к обществу, узнав, что играют в преферанс: этой игре я научился в ссылке. Но каково было мое удивление, когда вместо карт я получил картонки с лозунгами и изречениями Маркса, Ленина и других вождей революции. Я растерялся и заявил, что в эти карты не умею играть.

— Пустяки, — сказал хозяин, — сейчас вы поймете.

Игра оказалась очень занимательной. Это был преферанс, но роль карт выполняли тексты из писаний отцов революции (именно так выражались мои новые знакомые). Тексты были подобраны по мастям, причем бóльшая карта каждой масти являлась ответом на меньшую — покрывала ее и в то же время заключала вопрос, покрываемый высшей картой. Масти соответствовали вопросам партийной программы, профдвижения, диалектического марксизма, революционной тактики: вопросы менялись соответственно уровню развития играющих и располагались от самого простого — шестерка до самого сложного — туз. Козырная масть носила название «фронт», вопросы ее именовались ударными, и она покрывала любой из предложенных вопросов.

Мне приходилось немало ломать голову, прежде чем я научился находить карту, соответствующую заданному вопросу, но скоро я привык — обращался с этими картами, как с обыкновенными.

— Отличное изобретение, — сказал один из гостей, — мы таким образом усваиваем полный курс политграмоты!

При этих словах лица моих партнеров вытянулись, минутное молчание, вздох — и игра продолжалась по-прежнему. Я понял, что гость поступил нетактично, и только мое присутствие оправдывало его.

Надо ли говорить, что я был в восторге от этого остроумного изобретения. Игра в карты стала орудием пропаганды!

Но пропаганда пропагандой, а когда игра закончилась, мне пришлось уплатить около десяти рублей моим более счастливым партнерам. Весьма понятно, что хозяин крепко жал мою руку и пригласил заходить в любое время.

Пришел я домой около половины одиннадцатого и в первый раз, заполняя анкету, на некоторые вопросы постарался ответить как можно короче и общими словами.

«Что думал я от десяти часов вечера до одиннадцати», — значилось в анкете.

Я написал: «Думал о преимуществах нового строя над старым».

А на вопрос, что я делал в этот же промежуток времени, мною еще раньше было написано: «Играл в преферанс по маленькой».

## Одиннадцатая глава

### Я начинаю разочаровываться

Моя книга закончена и сдана в печать. Никто больше не интересуется мной, никто не хочет слушать моих докладов и речей. Я в первый раз чувствую пустоту, ненужное время, которое так или иначе надо убить. Это было совсем новое для меня чувство: подвергаясь постоянным опасностям, в лишениях и в борьбе я никогда не скучал. Правда, приходилось скучать в тюрьме, но это совсем не то... Эта скука была совершенно новым для меня явлением — скука от пресыщения.

Но довольно, я буду излагать только факты.

Выписанный вечер оказался образцом для нескольких таких же вечеров. Когда мои соседи узнали, что я был в гостях в квартире номер девять, каждый пожелал пригласить меня к себе. Квартиры, и люди, и способы провождения времени были всюду одинаковы: казалось, что они боятся в чем-нибудь выказать свою оригинальность. Если в квартире номер девять на стенах висели изображения девятого января, расстрелов и погромов, то и в квартире номер десять, и в квартире номер одиннадцать можно было найти то же самое; соперничество ограничивалось только рамами, и рамы действительно были где хуже, где лучше, но всюду чрезвычайно широки, но всюду чрезвычайно блестящи. Если в квартире номер девять играли в преферанс по копейке, то можно быть уверенным, что в квартире семьдесят девять тоже играют в преферанс, но, может быть, по полкопейки. Если в квартире номер девять говорят о погоде, о кушаньях и сплетничают о соседях, то и в квартире сто девять вы не услышите иных разговоров.

Надо ли говорить, что мои новые знакомые быстро наскучили мне. Я решил бросить бесцельное хождение по гостям и заняться самообразованием — подумать только, как я отстал за эти сорок лет. И вот я в книжном магазине, я выбираю самые новые исследования по общественным вопросам, чтобы освежить и пополнить мои знания. «Опыт революции, — думаю я, — не прошел бесследно, сколько интересных мыслей, сколько новых открытий...»

Но первая же попавшаяся в мои руки книжка разочаровала меня: это была переполненная цитатами из Маркса

и Ленина компиляция о заработной плате. Я взялся за другую книгу — опять жестокое разочарование: снова цитаты, снова компиляция. Авторы как будто сговорились: я брал книжку за книжкой по самым разнообразным вопросам, и все они одинаково повторяли наиболее ходовые даже в наше время изречения учителей социализма. Я вспомнил Коршунова — насколько живее и интереснее умел он излагать то же самое!

За этим занятием застал меня Витман. Он пришел немного навеселе.

— Э, полно, — сказал он пренебрежительно, отбросив книги, — оставьте... Это все для маленьких детей...

Я, признаться, с большим удовольствием отбросил книги и поехал вместе с Витманом на празднование годовщины Коммунистического университета. Это учреждение, насколько я мог понять, было учреждением привилегированным: там обучались дети старых партийцев, их подготавливали на ответственные административные посты. Витман представил меня нескольким молодым людям, щегольски одетым, беспечным, пресыщенным и весьма иронически относящимся ко всему на свете.

— Они имеют за собой пять поколений истинных пролетариев! — сообщил он мне.

Но несмотря на то, что я находился в таком избранном обществе, мне было не по себе. Молодые люди разговаривали о собаках, о скачках, о женщинах — и обо всем одинаково, так что трудно было понять, чьи ноги они расхваливают: собачьи, лошадиные или женские. Я не принимал участия в их беседе, они тоже мало обращали внимания на мою особу. Я сердился, дулся и, признаюсь, был бы более доволен, если бы они стали спрашивать меня о моем прошлом, выражать свое удивление и сочувствие... Но они, очевидно, успели забыть о том, кто я такой.

Вечер начался, как и полагается, молебном. Старенький политрук отчитал скучнейшую проповедь об основателе Коммунистического университета, банальнейшую, как и все проповеди на свете. Молодые люди не слушали проповедника и, правда, немного потише продолжали свой разговор.

Общее пение «Интернационала», звонок. Открывается занавес, и начинается театральное представление. Витман объяснил мне, что пойдет живая газета.

Это было весьма интересное зрелище. Представьте себе обыкновенную сцену небольшого провинциального театра, уставленную трапециями, лестницами, обручами, барьерами и увешанную иконами. Артисты в трико под пение революционных песен выскакивают из-за кулис, взбираются на лестницы, прыгают через барьеры, ходят на руках, вертятся колесом, ходят по проволоке.

— Что это такое?— спросил я Витмана.

— Это иностранные державы хотят погубить нашу республику,— ответил Витман.

Я ничего не понял из этого ответа и продолжал смотреть. Артисты кувыркались все энергичнее и энергичнее, их движения становились быстрее и быстрее. И вот, наконец, задняя часть сцены осветилась ярким красным огнем. Артисты завыли. Огонь разгорается все ярче и ярче. Артисты стараются спрятаться, залезают в люки, в суфлерскую будку, взбираются на потолок и ходят по потолку вниз головой.

И вот — на задней стене образ женщины с ярко горящим факелом в правой руке и звездой на лбу. За ней новая толпа артистов, хор исполняет «Интернационал».

— Это наша республика,— сказал Витман.

Женщина на переднем плане сцены. Звуки органа. Откуда-то появившийся священник произносит громогласную проповедь, достоинство которой в том, что она коротка,— и занавес.

Мне понравилась эта смесь циркового представления с церковной службой, и я не преминул осведомить об этом Витмана.

— Это же обычное вечернее представление в наших клубах,— ответил он,— неужели вы ни разу не видели?

Я должен был признаться, что по вечерам ни разу не посещал клуб. И хорошо: это же самое зрелище видеть каждый день. Клуб осточертеет оно!

Конечно, последнюю мысль я сохранил при себе: мало ли что мог подумать после этого Витман?

Вечер закончился ужином.

Это был лучший из ужинов, какие только бывают на свете: тропическая зелень и фрукты, дорогие иностранные вина, какие-то безобразнейшие раки и улитки, к которым противно было прикоснуться. Мои знакомые уничтожали этих раков и улиток с большим аппетитом, я, наоборот, искал на столе что-нибудь более вкусное и питательное и налег на обыкновенную ветчину.

За столом прислуживало несколько лакеев, очень предупредительно ухаживавших за гостями. Я обратил внимание на их лица — бесстрастные, спокойные, но с затаенной скорбью, а может быть, и ненавистью в полуопущенных глазах. Мне стало не по себе.

Выпив стакана два шампанского, я пустился в философию: я доказывал своему соседу, что бедняги уже отработали свои два часа, и надо же наконец дать им отдых. Витман отодвигался от меня и со смущенной улыбкой отвечал, что они в этот вечер отработают за две недели. Но мой сосед справа оказался более откровенным.

— Нам, чистокровным пролетариям, нет дела до предпринимателей, обогащавшихся нашим потом-кровью,— заявил он.



Я начал философствовать о поте и крови, но мне налили один за другим два бокала очень крепкого вина, и я не мог больше пошевелить языком.

Как во сне помню: поездка в автомобиле, раскрашенные женщины, разбитая посуда, голый Витман, танцующий на краешке стола. Было все это или нет, я не мог бы утверждать под присягой — до такой степени смутно помню я происходившее в эту ночь. Дело, конечно, в свойствах вина.

Я очнулся на другой день с головной болью, скверным вкусом во рту и смутной тяжестью. Только постепенно стали вырисовываться в моем представлении отдельные моменты: ресторан, растрепанные физиономии соседей, я произношу тост, я говорю речь — и насмешливо-скорбное лицо лакея, наклоненное надо мной с вежливым вопросом.

«Вот! — подумал я. — Здесь есть какое-то...»

Но мысль тотчас же убежала от меня, и я снова заснул.

## Двенадцатая глава

### Предложение

Утром опять явился Витман, справлялся о моем здоровье, и мы поехали доканчивать вчерашний ужин. Выпив вина, я развеселился и, вспомнив неловкое выступление, стал подражать в разговоре и отношении к вещам своим новым знакомым: так же безапелляционно высказывал суждения о женских ножках, собаках и лошадях, так же грубо обращался с лакеями и пытался безумными выходками затмить самого Витмана.

Вспоминать эту полосу жизни теперь мне всего более неприятно. Золотая молодежь пролетарского общества, беспечная, самовлюбленная, порочная, ничем не отличалась от молодежи буржуазно-дворянской. Ночные кутежи, цыгане, женщины, издевательства над цыганами и женщинами — и притом полная уверенность в своей правоте, полное отсутствие хотя бы проблематического сознания, что так жить нельзя...

И я жил так, я во всем этом участвовал...

А что мне оставалось делать? Работы никакой, жизненные блага сваливались мне на голову неизвестно откуда и неизвестно за что, общественная работа больше не нужна, бороться не с кем, в клубах — скучные проповеди днем и ежедневная живая газета вечером, газета, наполненная всегда одним и тем же материалом... Книги — но я уже говорил, что это были за книги! Но я все-таки не мог удержаться от того, чтобы, проходя мимо магазина, не захватить с собой какую-либо новинку. И что же? Эта новинка оказывалась читаной-перечитаной. Стихи, рассказы, романы, повести — все было наполнено доказательством одной несложной мысли, что мы живем в самом хорошем государстве, что мы счастливы, что

все хорошо... Тенденциозность насковзь пропитывала каждую вещь, и после прочтения десятка книжек мне стало тошно смотреть даже на обложки — чрезвычайно красивые обложки, сделанные лучшими художниками.

Когда я сказал Витману, что не могу читать современных книг, он с обычным для него цинизмом ответил:

— Только круглые идиоты читают теперь книги. Порядочные люди любятя обложками.

И у него самого в кабинете была полка, заставленная неразрезанными книгами в самых лучших обложках.

Театр.

Мои товарищи смотрели только балет. Я не любил и не понимал балета, я мало любил оперу, а на драму, опять-таки, можно было только взглянуть.

Как ни пытались авторы и режиссеры разнообразить свои сюжеты и постановки — брали темы из индийской, китайской, египетской жизни, и из жизни каменного века, но все пьесы и все постановки были похожи одна на другую: буржуи египетские, с папирусами и зонтами, буржуи китайские, буржуи каменного века — голые с каменными топорами — притесняли рабочих, которые восставали и в последнем акте пели «Интернационал». Целые вечера посвятить выслушиванию подобных пьес — это значило обречь себя на неслыханную пытку. Единственно, что было интересно в драме, — декорация, но и ее пестрота очень скоро надоела.

Что же оставалось делать мне, привыкшему к неустанной работе, рассчитывавшему часы и минуты каждого дня своей жизни?

Пьянство, кутежи, цыгане, женщины...

Надо было произойти чему-то исключительному, чтобы я снова мог встать на правильный путь. И это исключительное событие не замедлило произойти.

Толчком послужило обычное в этом обществе явление. Однажды после сытного ужина в квартире номер девять я не сел играть в карты, а остался с мамашей и ее дочерьми. После ничего не значащего разговора мамаша пожелала вести беседу о моей особе.

— Вам, вероятно, скучно одному? — спросила она.

Я сознался, что не знаю, куда употребить излишек свободного времени.

— О, все дело в том, что вы одиноки, — ответила она. — И вы ведёте неправильную жизнь, я должна это сказать вам, как молодому человеку...

— Я старше вас, — напомнил я ей, — по паспорту мне шестьдесят шесть лет.

— Что вы говорите! Вы еще молоды, вам нельзя дать боль-

ше тридцати. Вам нужно подумать о том, чтобы найти себе женщину...

Я смутился.

— Полноте,— сказала она,— мы судим об этих вещах очень просто. Вам необходимо удовлетворять половую потребность, а у меня есть дочь, которая нуждается в том же...

Я взглянул на одну из ее дочерей, но та нисколько не смутилась.

— Ах, я и забыла, что вы полны буржуазных предрассудков,— сказала дама, заметив мое смущение,— вы думаете о любви, вы хотите романтики, но ведь все это отрывка чуждой нашему классу идеологии... Мы смотрим на дело проще и хотим поделиться с вами тем, что имеем в избытке...

Она опять показала на дочерей.

— Хорошо, я подумаю,— ответил я, краснея как вареный рак. Я почувствовал, что готов провалиться от стыда — не за себя, нет, но за эту женщину и за ее дочерей.

Дама просто приняла мой ответ и тотчас же перешла на пустяки.

Что же? Согласиться на бесцеремонное предложение? Если стоять на точке зрения существующего порядка — да. Но я не согласился.

За картами — я имел достаточно такта, чтобы не уйти тотчас же — я спросил своего партнера:

— Вы были когда-нибудь влюблены?

— О нет,— ответил он,— нам нет дела до этого. События развертываются так быстро, так много активности в нашем обществе, что нам некогда заниматься психологической пачкотней...

По его торжествующей физиономии я понял, что он произнес самую длинную и самую трудную цитату, какую ему когда-либо приходилось произносить.

Кстати — привычка к цитатам. Меня сначала удивляло, что все мои знакомые не могут слова сказать без цитат, и только потом я убедился, что это особый способ мышления, вероятно, внедренный воспитанием в головы моих новых современников. Меня коробило только одно — малое соответствие этих цитат действительному положению дел. Ну какие, скажите, события могут быстро развертываться в жизни моего собеседника, половину своего времени проводящего за картами, а другую половину позевывающего и плюющего в потолок?

Дома у меня было достаточно времени для размышлений. Конечно, надо серьезно отнестись к предложению. В этом обществе никогда не шутили и не умели шутить. Юмор был выгравлен из них — они все были серьезные, как индюки. Что же? Соединить свою жизнь с судьбой деревянной девицы, бренчащей на фортепьяно и знающей десяток-другой цитат из произведе-

ний отцов революции; разжиреть, играть по вечерам в карты, ходить в клуб, вздыхать, когда кто-либо в моем присутствии назовет одно из сакраментальных имен или упомянет о революции? Нет, я не могу пойти на это!

Вести образ жизни каплуна и говорить, что активность мешает мне заниматься психологической пачкотней? Удовлетворять половую потребность?

Лежа на кровати, я закрыл глаза ладонью, и вот мне представилась студенческая комната, белокурая девушка, отчаянно спорящая о преимуществах свободной любви... Да, любви...

И с необычайной яркостью — другая картина: у дверей моего дома такая же белокурая девушка, милая, нежная, несчастная... Она отвернулась от меня, чтобы скрыть свои слезы.

Я быстро вскочил с кровати и хлопнул себя по лбу: а ведь я мерзавец! Я обещал вернуть этой девушке ее вещи — и что же? Я забыл! Быстрый темп моей жизни помешал мне вспомнить о ней — как сказали бы мои знакомые...

Небольших трудов стоило мне узнать в домкоме адрес прежней жилицы и собраться к ней. Для первого раза я захватил с собой пачку книг: этого никто не заметит, а там, понемножку, я перенесу и остальные вещи.

Для меня это было тем более просто, что в большинстве вещей я не нуждался совсем.

## Тринадцатая глава

### Ее зовут Мэри

Ехать пришлось на Выборгскую сторону. Я не заглядывал в эту часть города с тех пор, как меня постигла странная перемена судьбы,— и вот теперь, как в смутном сне, припомнилось мне мое первое путешествие. И припоминались еще какие-то стертые образы. Стоило только мне увидеть закопченный корпус фабрики Эриксона, насыпь Финляндской дороги, станцию на возвышении недалеке, как я вспомнил торопливо пыхтящий паровозик, себя на империале, пышущий пламенем завод Леснера — и мной овладело беспокойство, подобное тому, какое испытывает человек, преследуемый тайной полицией. Нужен был сильный волевой нажим, чтобы перенести себя в новый мир, где, как я знал, тайной полиции не существовало. Конечно, теперь никто не следит за мной, хозяином жизни. Я выпрямлялся, победоносно оглядывался по сторонам, но странно: в плечах у меня оставалось чувство преследуемого человека.

Мой автомобиль пролетел под мостом Финляндской дороги, повернул к Лесному парку и остановился у небольшого деревянного домика на углу Болотной и Песочной улиц. Место это было памятно мне по моей прежней жизни, и с тех пор оно мало изменилось, только значительно постаре-

ло и вылиняло. Я прошел заросшим жидкой травой двором, по которому теперь, как и прежде, разгуливали бродячие собаки, и постучал в окно.

Мне открыла она сама, пригласила войти, но смотрела на меня с недоверием и односложно отвечала на мои вопросы. Я тоже не знал, о чем говорить, и, как мне показалось, очень глупо улыбаясь, осматривал обстановку.

И было чего осматривать мне, привыкшему к роскоши пролетарских семейств, живущих в центре города. Обстановка была бедна до крайности: поломанный стул, две простых табуретки, деревянная кровать, этажерочка, сделанная самой хозяйкой из досок и обтянутая дешевой материей, — как остро воспринималась мною эта бедность! Но странно — по мере того как я привыкал к этой обстановке, она становилась мне все милее и милее. Вспоминались какие-то забытые давным-давно запахи, и чем-то теплым это воспоминание пронизывало все мое существо...

Да ведь эта комната так похожа на те комнаты, в которых я жил, когда передышка позволяла мне обзавестись собственной квартирой!

— Я принес вам книги, — сказал я, когда первое смущение прошло, и положил на стол толстую связку.

Я заметил, что глаза девушки заблестели, но тотчас же поблекли, и она с прежней недоверчивостью смотрела на меня.

— Я перенесу и остальное, — поспешил добавить я, — ведь я же дал слово...

Несколько пустых фраз, несколько минут молчания, и, не помню как, только через полчаса мы уже разговаривали, как старые знакомые. Разговорились мы как раз о книгах. Она сказала мне, что именно эти книги, случайно захваченные мною сегодня, для нее всего дороже. Я не одобрял ее восхищения.

— Это — буржуазная поэзия, — сказал я.

Она на секунду смутилась, но потом стала смело отстаивать свою точку зрения. Я доказывал свое. Я всегда был сторонником гражданских мотивов.

В пылу спора я воспользовался следующим аргументом:

— Разве гражданская поэзия не сыграла своей роли в той великой борьбе, которая закончилась победоносной революцией?

При этих словах глаза моей собеседницы поблекли. Я в недоумении смотрел на нее:

— Разве я вас чем-нибудь обидел?

— Не говорите, пожалуйста, об этом, — насилу выдавила она.

Только тут я вочую убедился, какая пропасть разделяет нас. Я совсем забыл, что она принадлежит к буржуазному классу и не может сочувствовать революции.

Если не считать этой маленькой заминки, все остальное бы-

ло великолепно. Да и так ли глубока эта пропасть, думал я, разве в наше время молодые люди из буржуазного класса не становились хорошими революционерами, преданными, самоотверженными?.. Почему бы не сделать из этой девушки не врага, а друга? Да и вся она, худенькая, с большими мягкими глазами и мягкими движениями, не вязалась в моем представлении с понятием классового врага.

— Может быть, пройдемся по парку?— предложил я.

Мы пошли. Была ночь. Мелкие капли дождя скатывались с деревьев. Мы шли по мягкому песку, то и дело наступая на еще более мягкую траву. Она молчала. Мне тоже не хотелось говорить, но я чувствовал себя превосходно.

— Не правда ли, хорошая прогулка?— спросил я, когда мы снова оказались около ее дома.

Она наклонила голову в знак согласия. Я сказал:

— Ведь я до сих пор не знаю, как вас зовут.

Она смугилась, опустила глаза:

— Можете называть меня так, как называют друзья. Меня зовут Мэри.

При звуках этого имени у меня сжалось сердце. Я долго не мог выпустить ее руки из своей и, вероятно, очень глупыми глазами смотрел на нее, потому что она улыбнулась и немного резко сказала:

— Ну что ж. Вам пора.

Но если к этому прибавить, что она пригласила меня зайти и в другой раз, то вы поймете, как я был счастлив в этот вечер.

Вернувшись домой, я долго ходил по комнате, мысленно продолжая разговор с Мэри и убеждая ее в правоте своих взглядов. Увидев заготовленную политруком анкету, я не замедлил заполнить ее, ни словом, однако, не упоминая о моей прогулке в Лесном.

Во сне я видел ее глаза и мокрые тропинки Лесного парка.

## Четырнадцатая глава

### Я переживаю неприятные минуты

Следующий день начался неприятным предзнаменованием: когда я выходил к завтраку, навстречу мне попался политрук. Он пробирался вверх, по обыкновению вытянув вперед голову, словно обнюхивая лестницу. Унюхав меня, он ехидно улыбнулся и почти не ответил на мое приветствие.

В столовой я заметил такие же взгляды и улыбки со стороны совершенно незнакомых людей. Это заставило меня быть более непринужденным, чем когда-либо, я нарочно громко говорил, задавал соседям ненужные вопросы. Отвечали мне неохотно, сторонились меня, как зараженного. Я не понимал, что это значит, но мне все-таки было не по себе.

Часам к двенадцати дня приехал Витман. Он был чем-то озабочен и смотрел на меня с сожалением. Я не понимал ни его озабоченности, ни его взглядов, а он долго не мог начать разговора и начал его издали.

— Поверьте мне,— сказал он,— я ваш первый и лучший друг.

Я ответил, что никогда не сомневался в искренности его дружеских чувств.

— А вы подводите меня,— с упреком сказал он.

Я выразил неподдельное изумление. Витман поднял на меня бесстрастные глаза.

— Вы ничего не знаете?— спросил он.— Вы не знаете, что нарушили один из важнейших законов нашей республики?

— Что вы говорите? Какой закон?

Я искренно не знал за собой никакой вины.

— А ваше знакомство с классовыми врагами?

— Какими врагами?

В первую минуту я не понял, на что намекает Витман.

— Не притворяйтесь,— оборвал он,— вспомните лучше, где вы были вчера вечером!

Я невольно покраснел. Витман победоносно посмотрел на меня сквозь монокль.

— Ну и что же из того?— сухо возразил я.

— Вы не должны больше этого делать,— сурово ответил он.

Меня взорвало:

— Вы мне запретите?

«Жидкая мразь, да я растопчу тебя в одну минуту»,— думал я. Меня возмутило вмешательство постороннего человека в мою личную жизнь. И потом — откуда он узнал об этом? Следил, что ли?

Он понял мое настроение:

— Да, я имею право запретить вам. И мне, именно как вашему ближайшему другу, поручено сообщить об этом.

Он сильно напирал на слово «поручено».

«Вот как,— подумал я,— кто-то уже успел обсудить мое поведение и вынести приговор!»

Все это по весьма понятным причинам только раздражало меня.

— А мне плевать на ваше запрещение!— грубо ответил я.

Я думал, что он ответит еще большей грубостью — такие разговоры не были редкостью среди подпольных работников в царское время. И тогда товарищи следили друг за другом и останавливали друг друга, если казалось, что один из них делает ложный шаг. Но тогда шла упорная борьба. Этой борьбе мы должны были отдавать все свои силы, без остатка,— а теперь?

Но мое воодушевление снова пропало даром. Витман не ответил на мою грубость. Вместо этого он вынул из кармана за-

писную книжечку, сделал в ней какую-то отметку и просто сказал:

— А теперь пойдете в клуб. Я выполнил свою обязанность и больше не возвращусь к этому вопросу.

Его хладнокровие до того поразило меня, что я подчинился беспрекословно. Я пошел в клуб, выслушал скучнейшую проповедь, подошел после обедни к даме из девятого номера. Та смотрела на меня с сочувствием — она, вероятно, тоже знала, что я совершил нехороший поступок, но не осуждала, как другие, а жалела меня.

«Вот видите,— как будто говорила она,— до чего доводит одиночество». Я ждал продолжения неоконченного в прошлое свидание разговора и не ошибся.

— А вы подумали о моем предложении?— улыбаясь сказала она.— Вы обещали подумать...

Я вспомнил деревянную девицу, и этот образ теперь внушил мне еще большее отвращение.

— Нет,— сухо ответил я.

Дама тотчас же оставила меня и, сохраняя ту же приветливую улыбку, стала разговаривать с другими. Я понял, что совершил большую тактическую ошибку: надо было ответить помягче, надо было оттянуть ответ, но вы знаете мое настроение и поймете, что отнестись к этому повторному предложению иначе я не мог.

Я нажил себе врага. Но я в тот момент не жалел об этом так, как жалею теперь; в ту минуту мне хотелось даже сказать этой даме что-нибудь весьма оскорбительное, мне хотелось выругаться, наконец... Каша в голове была чрезвычайная — хуже, чем после похмелья.

И с тем большим нетерпением я дожидался вечера. К ожиданию радостной для меня встречи присоединялось желание вырваться из насыщенной подозрительностью и чуждой мне атмосферы.

Но до вечера было не близко. Поневоле мне пришлось провести весь день с Витманом, который видел мою нервозность, но как будто не замечал ее. Меня злила его невозмутимость и уверенность в своей правоте, меня злило, что он смотрит на меня, как на взбалмошного ребенка.

Может быть, теперь мне понятно, что я и был таким в глазах людей, насквозь проникнутых сознанием своей правоты и важности исполняемых ими обрядов, но тогда я не понимал этого. Я сделал еще ряд тактических ошибок: пробовал начать спор с Витманом по поводу какой-то газетной статьи, но он недоумевающе взглянул на меня и что-то записал в книжечку. Книжечка эта стала раздражать меня.

— Что вы записываете?— спросил я.



— Так, — неопределенно ответил Витман, — вспоминаю некоторые дела...

Я был очень рад, когда развязался с этим человеком, и тотчас же стал готовиться к вечернему визиту. Я связал большую пачку книг и хотел уже потребовать автомобиль, но рассчитал, что приеду слишком рано.

— А не пойти ли пешком?

Через пять минут я был уверен, что надо идти пешком. Откуда весь дом узнал о моем путешествии? Ясно, что наболтал шофер. Может быть, он так же, как и я, заполняет анкету, и на вопрос, что он делал в такой-то промежуток времени, он ответил: возил меня в Лесной.

Я выйду из дома пешком, а на Выборгской сяду на трамвай или возьму извозчика.

Но извозчик, встреченный мною на Финляндском проспекте, отказался везти. Он был прикреплен к определенному дому. На трамвай меня не пустили:

— А у вас есть билет?

— Я могу купить...

Кондуктор засмеялся и дернул звонок. Трамвай показал мне хвост, и я отправился пешком в такую даль, и притом с тяжелой ношей за плечами. Но пока я шел, я не думал о дальнем пути и о тяжелой ноше, я думал только о предстоящем свидании.

## Пятнадцатая глава

### Я отказываюсь что-либо понимать

Это была первая прогулка по городу после рокового дня моего пробуждения. Идя через всю Выборгскую сторону пешком, я старался идти тем же самым путем, каким шел тогда. Противоречие между первым впечатлением и рассказами моих новых знакомых время от времени мучило меня, и мне хотелось проверить. Надо сказать, что мое первое впечатление оказалось более верным.

Чем дальше входил я в глубь рабочих кварталов, тем ощути-нее была бедность, поразившая меня во время первого путешествия. Нищих здесь было еще больше, чем в центре, — нищих молчаливых, скромных, но от того еще более жалких. Неужели так много людей не попало на зубья усовершенствованной государственной машины? — вспомнил я объяснение Витмана. Но тогда надо сделать какую-то проверку...

У ворот завода толпились изможденные усталые рабочие.

Неужели двухчасовая работа так утомительна?

Все эти наблюдения и мысли разрушали представление о легкой, веселой, хотя и несколько однообразной жизни граждан

государства, заменившего царскую Российскую империю. В довершение всего, дойдя до дома Мэри, я узнал от ее матери, что Мэри еще не вернулась с работы.

— А когда она ушла?

— С утра. Она возвращается в пять, но, наверное, осталась на сверхурочные.

Это окончательно добило меня. Я готов был хлопнуть себя по лбу и сказать:

— Эх, дурак, дурак! Эх ты, тупая скотина!

Я поспорил с ней целый вечер о каких-то пустяках и не догадался спросить, где она работает, сколько времени, сколько зарабатывает... Может быть, она нуждается в помощи?

Я присел на скамейку во дворе и не скоро дождался ее. Пришла она в простеньком ситцевом платье, у нее было утомленное измученное лицо.

— Я принес вам книги,— начал я.

— Благодарю вас,— равнодушно ответила она и попросила подождать, пока переоденется. Я с нетерпением ждал ее. Я чувствовал, что сегодняшний вечер даст мне больше, чем два года жизни в том кругу, который я должен считать своим кругом.

Я не ошибся. Каждое ее слово было для меня целым открытием. Я слушал ее с раскрытыми от удивления глазами: такой контраст со всеми льнувшими мне представлениями!

Я узнал, что после выселения она некоторое время зарабатывала шитьем на дому, но низкая плата и налог на роскошь заставили ее бросить это занятие и искать работы на фабрике.

— А что вы делали прежде?

Оказалось, она училась в художественной школе и делала большие успехи в живописи. Остался один год, когда ее постигло несчастье: она познакомилась с одним студентом Коммунистического университета, по ее описанию, чрезвычайно похожим на Витмана, если не с самим Витманом. Студенту этому она очень понравилась, он начал ухаживать за нею, сначала робко, потом все настойчивее и настойчивее.

— Вы понимаете, он был так груб,— почти в слезах произнесла Мэри.

Я понимал ее. Если преклонного возраста дама могла так грубо предложить мне свою дочь, то чего ждать от молодого человека, да притом из того круга общества, который я поневоле отлично знал. Ведь они на моих глазах обращались с женщинами, как со скотом! А здесь — девушка из буржуазной семьи, воспитанная на старых книгах... Она, наверное, не считала любовь глупым предассудком...

— Он был противен мне. Я запретила ему показываться мне на глаза.

Что же он сделал? Он стал следить за ней, окольными путя-

ми он стал выяснять подробности ее родословной, и ему удалось доказать, что ее дед был офицером царской армии.

Мне непонятно, но Мэри понимала, что иначе и не могло быть — она была исключена из училища за буржуазное происхождение и выселена из квартиры.

После долгих мытарств и голодовки она получила работу в золотошвейной мастерской, где вышивает флаги и портреты вождей. Работа эта очень тяжелая и плохо оплачивается: чтобы платить за квартиру и прокормить мать, приходится работать по шестнадцать часов в сутки.

— А двухчасовой день?— удивился я.

— Двухчасовой день— для рабочих, а я не принадлежу к этому классу.

Мне осталось только руками развести. Еще больше удивило меня то, что за нищенскую квартирку ей приходится платить две трети заработка.

— Ведь это самый дешевый район!

— Теперь это ничего не значит. Я плачу по ставкам, установленным для буржуазии. И кроме того, — моя квартира на три аршина больше установленной жилищной нормы...

Понятие жилищной нормы опять-таки оказалось недоступным для меня.

— Но ведь вы работаете на фабрике, у вас есть союз...

— Союз! Я — буржуйка и не могу пользоваться правами члена союза. Я плачу в союз десять процентов заработка, но ничего от него не получаю.

Я хотел получить более подробные сведения о тех удивительных порядках, которые установились в этом лучшем из государств, но мне помешали гости: молодой человек, отрекомендовавшийся поэтом, и старик, которого Мэри назвала философом.

— Это представители среднего класса,— шепнула она.

Я не понял, что это значит, но расспрашивать при них было неудобно.

У поэта был тонкий профиль, тонкие узкие руки, фигура философа была несколько мужиковата. Широкая седая борода, толстый нос и небольшие серые глазки делали его похожим на Толстого. Если бы не слишком гладко зачесанные волосы на висках и скользкая улыбка, я принял бы его за вставшего из могилы яснополянского мудреца.

На меня эти люди не обратили внимания. Я посидел минут пять и счел за лучшее ретироваться. По дороге я раздумывал о тех открытиях, которые сделал в этот вечер.

Завтра же пойти к Витману и узнать все!

Занятый размышлениями, я не заметил даже, что брошюра, написанная мною по заказу верховного совета государства, уже отпечатана и лежит на моем столе.

## Шестнадцатая глава

### Я разговариваю с цензором

Судьбе угодно было поразить меня еще одним испытанием. Проснувшись, я взялся по привычке за газету и в отделе «Рабочая жизнь» с удивлением увидел свою фамилию.

Заметка называлась: «Клеймим презрением изменников общего дела».

«Нужно было рабочему классу сорок лет страдать под красным знаменем, чтобы отдельные субъекты, позорящие имя честного пролетария, забывали свой классовый долг и изменяли делу мировой революции, как (здесь стояло мое имя). Означенный дезертир и предатель...»

Я не буду повторять тех грязных слов, которыми обзывал меня неизвестный автор заметки, скрывшийся под псевдонимом «рабкор Шило». Скажу только, что я обвинялся в сношениях с лицами, стоящими по ту сторону баррикады, и неведомый автор высказывал предположение, что целью моих посещений является контрреволюционное выступление. «Гепеу, где же ты?» — так кончалась заметка.

Меня интересовало одно: кто следит за мной? Кто ходит за мной по пятам и доносит о каждом моем шаге? В первый раз я подумал на шофера — но ведь я шел пешком.

Тайная полиция?

При этой мысли кровь в моих жилах похолодела.

Я ходил из угла в угол по своей уютной комнатке, и эта комната казалась мне звериной клеткой. Мое возбуждение искало выхода, и этот выход скоро нашелся: нечаянно зацепив за стол, я уронил что-то. Смотрю, а это только что отпечатанная брошюра «Сорок лет назад», написанная мною по заказу верховного совета. Книга отвлекла меня от мысли о незримых доносчиках.

Если читатель вспомнит, что моим намерением было реабилитировать себя, что брошюра заменяла опровержение газетной статьи, распространившей обо мне самые чудовищные слухи, то будет понятно, с каким нетерпением разрезал я ее листы, с какой жадностью принялся я перечитывать свою работу.

Первая страница, точно, принадлежала мне, и я с удовольствием прочел ее. Но дальше! Дальше кто-то, очень хорошо подделавшийся под мой слог, рассказывал самые невероятные вещи, повторяя все те сказки, которые рассказывали обо мне газеты.

Чаша терпения была переполнена. Я торопливо оделся и, не позавтракав, отправился в то учреждение, которому сдал свою книгу. Я набросился на заведующего чуть ли не с ругательствами, но он хладнокровно ответил, что его функция только передаточная. Он даже не читал моей брошюры, а передал в другой

отдел. Этот другой отдел заявил мне, что его функция — исправление грамматических ошибок, а за дальнейшее он не отвечает. Третий отдел передал книгу какому-то рецензенту, тот — другому рецензенту, — и только побывав в двадцати двух учреждениях и объездив весь город, я нашел виновного. Это был главный цензор государства. Я немедленно отправился к цензору.

Он принял меня очень приветливо. Высокий, с длинными белокурыми волосами, с широким раздвоенным носом, без всякой растительности на лице, покрытом прозрачной кожей, с ехидно улыбающимися глазками, он напоминал одновременно и провинциального поэта из неудачников, и старую архивную крысу, если возможно такое противоестественное сочетание.

— Что вы скажете? — ласково произнес он, приветливо поздоровавшись со мной.

Я был взволнован и довольно несвязно изложил суть дела. Цензор слушал и покровительственно улыбался.

— Ну и что же? — спросил он, когда я окончил свою речь.

— Я хочу знать, кто написал такую чепуху и зачем она выпущена в свет под моим именем?

Цензор выразил притворное удивление:

— Что вы? Что вы? Если бы я не знал, с кем имею дело, я мог бы принять вас за представителя враждебного класса. Вы говорите такие вещи, что всякий другой на моем месте привлек бы вас к ответственности за контрреволюционное выступление...

Я смутился.

— Но ведь я же не писал этого... Ведь эта книжка — наглая ложь.

Цензор принял торжественный тон:

— Я думаю, что вас кто-то ввел в заблуждение. Изменения были сделаны цензурой, а цензура есть орган пролетарского государства и, как таковой, она не может лгать...

Этого я не ожидал. Минутное замешательство — и целый ворох мыслей заполнил мою уставшую от всяческих сюрпризов голову. Разве может цензура изменять смысл представленной ей книги? Разве она имеет право до такой степени уродовать мою мысль? Пусть она вычеркнет то, что не нравится ей, пусть она запретит всю книгу, но так переделывать!.. И потом — разве в социалистическом обществе может существовать цензура?

Все это я изложил цензору в несвязных и путаных выражениях. Но, по-видимому, ему не в первый раз приходилось вести такие разговоры, он только плотнее уселся в своем кресле и прочел мне целую лекцию.

— Да, конечно, — говорил он, — в социалистическом обществе цензура не нужна. Но поскольку у нас еще сохранилась буржуазия, мы не можем дать и ей полную свободу печати. Мы

должны следить за тем, чтобы буржуазная идеология не проникла в нашу печать.

— Но ведь вся печать в наших руках,— возразил я.

— Ничего не значит: буржуазия хитра. Вот хотя бы ваша книга. Вы — настоящий пролетарий, вы имеете почти пятидесятилетний стаж, а ваша книга насквозь проникнута буржуазной идеологией. Она восхваляла старый строй.

Я чуть не вскочил со стула:

— Восхваляла? Старый подпольщик, гнивший в тюрьмах, еле спасшийся от виселицы,— я мог восхвалять старый строй! Мне казалось, что я уничтожал этот ненавистный мне строй каждым словом, каждой запятой своей книги. И вот является цензура и уничтожает весь мой труд...

— Не уничтожает, а исправляет,— поправил меня цензор.— Наше отличие от старой цензуры в том, что мы ничего не запрещаем. Мы выпускаем все, что нам представляет издательство...

— Для того ли мы боролись за свободу печати,— продолжал я, не слушая цензора.

— Вы боролись, и вы добились свободы печати,— прервал меня цензор.— Для революционных произведений у нас полная свобода печати, а ваше — контрреволюционное...

Меня возмутил последний аргумент:

— Но ведь это хуже, чем при старом режиме!— закричал я.

— Не хуже, а лучше,— спокойно поправил цензор,— у нас все лучше, в том числе и цензура.

Переспорить его не было никакой возможности. Я чувствовал, что он и я — люди двух разных миров, мое мышление чуждо и непонятно ему. Я переменял тон.

— Возможно,— сказал я,— виновата моя отсталость. Может быть, вы подробнее познакомьте меня с вашей системой?

Он был настолько любезен, что дал подробные объяснения.

Свобода печати существует. Каждый рабочий имеет право писать в газеты обо всех злоупотреблениях, обо всех замеченных им недочетах. Каждый рабочий имеет право написать любого содержания книгу и сдать ее в печать. Но для выпуска книги в продажу существуют некоторые, вынужденные необходимостью, ограничения — и вот тут-то приходит на помощь рабочему писателю главный цензурный комитет. Не желая лишить каждого права свободно высказаться в печати, он исправляет идеологическую сторону представленной в цензуру книги.

— Ведь это не запрещение, как практиковалось у вас, а помощь автору, который делает ошибку по незнанию или по неумению высказываться.

Каждая рукопись поступала в особый отдел, где специалисты умело перерабатывали рукопись, достигая кристально ясной идеологии. В результате ничто действительно ценное не пропа-

дало, всякое изобретение использовалось, а идеология не страдала нисколько.

— Но каково положение авторов?— спросил я.— Получить книгу и прочесть в ней черт знает что!

Цензор удивился моему непониманию:

— Авторы довольны! Ведь мы им платим высокий гонорар.

Только теперь я понял, почему так скучны и нудны все книги, которые мне пришлось прочесть; я понял, почему они все так бездарно пережевывают одни и те же навязшие в зубах истины, истины, известные даже мне, человеку другой эпохи.

Называть это свободой печати!

Во мне кипело негодование, я способен был броситься на кого-то с кулаками, рвать и метать, но все эти чувства должны были одиноко перекипеть в моей душе. Кому я скажу о них? Кто поймет меня?

Я первый раз пожалел о том, что не остался спокойно спать в своей могиле...

## Семнадцатая глава Я начинаю понимать

Вернувшись от цензора, я узнал, что меня вызывают в ячейку — это орган надзора и руководства, имевшийся в каждом доме и в каждом учреждении. В ячейке меня встретил политрук и мягким движением руки предложил мне сесть.

— На вас поступил целый ряд жалоб,— сказал он.— Во-первых,— он загнул один очень длинный и искривленный палец,— вы продолжаете сношения с нашими классовыми врагами, что равносильно государственной измене. Во-вторых,— он загнул второй такой же длинный и искривленный палец,— вы оскорбили человека, сделавшего вам первое предупреждение. В-третьих, вы два дня не заполняли анкету, следовательно, эти два дня делали и думали такие вещи, о которых не можете сказать своему руководителю. В-четвертых, вы произносили контрреволюционные речи в одном из государственных учреждений, о чем мне только что донес главный цензор государства...

Он перечислял мои преступления, методически загибая пальцы и не глядя в мои глаза. Я молча выслушал его речь и, поднявшись с кресла, спросил:

— Ну так что же? Вы посадите меня в тюрьму?

Плавным движением руки он снова усадил меня в кресло:

— Нисколько. Мы обсудили ваше поведение и нашли вас идеологически невменяемым...

— Так вы запрчете меня в сумасшедший дом?— продолжал я.

Мне во что бы то ни стало хотелось как-нибудь оскорбить

этого невозмутимого человека. Но он разговаривал со мной, как с маленьким ребенком.

— Вы опять не поняли меня. Скажите, пожалуйста, вы сдавали когда-нибудь экзамен по политграмоте?

Мне пришлось сознаться, что я не только не сдавал экзамена по этой науке, но даже не прочел учебника, полагая, что эта книга не даст мне ничего нового.

— Ну так вот. Вы не получили самого элементарного образования, необходимого для каждого, и поэтому вы допустили ряд непозволительных промахов. Мы вполне оправдали вас, но с одним условием — вы должны прослушать полный курс политграмоты, сдать экзамен, а до того вы не будете появляться в обществе, чтобы не наделать более грубых ошибок.

— Что же это? Домашний арест?— спросил я.

— Нет, это временная изоляция.

О словах спорить не приходилось. Изоляция или арест, но я должен сидеть дома и зубрить какую-то политграмоту — не подчиниться этому постановлению я не мог. Не забыв, конечно, уведомить Мэри о том, что со мной произошло, я принялся за работу.

Меня посадили в самую низшую группу, рядом с детьми в возрасте от десяти до двенадцати лет, мне дали потрепанный, испещренный детской мазней учебник, мне задавали уроки «от сих до сих», совершенно не принимая в расчет ни моего возраста, ни уровня моего развития.

Получив книжку, я не замедлил прочесть ее от крышки до крышки в первый же вечер. Это была небольшая брошюра, составленная в форме вопросов и ответов подобно филаретову катехизису, с которым я познакомился, собираясь сдавать экзамен на аттестат зрелости. Истины, заключавшиеся в этой книжке, были не новы, многое я слышал от своих знакомых, которые, как оказалось, очень часто пользовались цитатами из этой книги, что неудивительно, если принять во внимание, что истины эти касались всех сторон жизни, от государственного устройства до правил, как вести себя во время свидания с любимой женщиной. Приведу несколько вопросов и ответов из этой замечательной книги:

*Вопрос:* Что должен делать рабочий, встретив другого рабочего в доме или на улице?

*Ответ:* Должен обратиться к нему с коммунистическим приветствием.

*Вопрос:* Что такое коммунистическое приветствие?

*Ответ:* Это не бессмысленное козыряние, а напоминание о том, что в пяти странах света угнетенные борются за освобождение и что ты должен ставить интересы класса выше своих личных.

Дальше следовали указания, как держать себя с друзьями и с



врагами, причем указывалось, что у рабочего не может быть иных врагов, кроме классовых. При встрече с классовым врагом надо было пройти мимо него с гордо поднятой головой и ни в коем случае не отвечать на его поклоны, а тем более запрещалось вступать с ним в какой бы то ни было разговор. «Очень легко,— говорилось в книжке,— подпасть под влияние буржуазии, тем более, что живем мы в буржуазном окружении».

Предусматривались и недоразумения между рабочими, которые могли закончиться ссорой и даже более или менее крепкими словами. Список подобных слов приводился тут же.

*Вопрос:* Какие самые страшные ругательные слова?

*Ответ:* Меньшевик и социал-предатель.

*Вопрос:* В каких случаях подобное оскорбление допускается законом?

Выучив наизусть всю книжку, я мало продвинулся в понимании существующего порядка: она не давала ответа ни на вопрос о цензуре, ни на вопрос о шестнадцатичасовом рабочем дне. Усиленно вбивалось в голову одно: что существующий строй есть самый лучший строй, что рабочий класс добился того, за что боролся, и что обязанность каждого рабочего — охранять этот строй. И вместе с тем говорилось, что трудящийся обладает при этом строе всеми политическими правами, что каждый рабочий имеет право высказывать все приличные рабочему мысли в любое время и в любом месте.

*Вопрос:* Какие мысли приличны рабочему?

*Ответ:* Все те мысли, которые направлены к защите его классовых интересов.

*Вопрос:* Какие основные классовые интересы рабочего?

Если бы не идиотская форма филаретова катехизиса, то учебник можно было бы признать неплохим. Он удовлетворительно излагал теорию классовой борьбы, он знакомил с государственными учреждениями и законами. Правда, была и ненужная регламентация поведения каждого рабочего, но если принять во внимание, что наука эта преподавалась детям, которым нужно знать правила приличия, то и с этой регламентацией можно было согласиться.

Прочитав книжку, я решил завтра же сдать экзамен.

Но меня постигла полная неудача. Выслушав мое заявление, политрук улыбнулся, раскрыл книжку и задал мне следующий вопрос:

— Почему это последнее важно для пролетариата?

Я смутился и сказал, что не понял вопроса. Инструктор повторил его еще раз, я опять не понял. Тогда он закрыл книгу и сказал:

— Вы не можете сдать экзамена. Вам следовало ответить на этот вопрос: Потому что это необходимые условия для победы.

Нет, не отвертись! Надо выучить всю эту книжку наизусть

и уметь отвечать на все вопросы буквально по учебнику, как подряд, так и вразбивку.

*Вопрос:* Отчего необходимо полное и точное знание катехизиса?

*Ответ:* Чтобы произвольным расположением слов и произвольным их толкованием не впасть в какой-либо из нежелательных уклонов.

*Вопрос:* Какие суть нежелательные уклоны?

*Ответ:* Троцкизм, меньшевизм, правый мелкобуржуазный уклон и эсерство.

*Вопрос:* Какие уклоны не вменяются в преступление?

Но память моя еще не ослабла: я в две-три недели усвоил все бездны филаретовой премудрости и мог при случае ввернуть в разговор ту или иную цитату.

Мои успехи в политграмоте дали возможность несколько ослабить режим моей изоляции. Так, ко мне снова, после долгого перерыва, заехал Витман. Я обрадовался ему и поспешил воспользоваться его присутствием, чтобы разъяснить некоторые неясные для меня вопросы. Не помню, с чего начался разговор, но только я, между прочим, спросил его:

— Скажите, пожалуйста, почему в этом городе так много нищих?

Он уклончиво ответил:

— Среди рабочего класса нет нищенствующих.

— Позвольте, очень трудно представить, что нищенствует буржуазия.

— Но ведь мы отобрали у них все имущество и заставили их работать.

— А раз они работают, значит, они трудящиеся, а не буржуи, — возразил я.

Витман мне ничего не ответил. Он снова вынул из кармана книжечку и что-то записал в нее. Я знал по прежнему опыту, что такая запись не предвещает ничего доброго, и от дальнейших расспросов отказался.

Признаюсь, я с некоторой тревогой ждал завтрашнего дня. Теперь я знал, что может повлечь за собой неосторожный вопрос. Может быть, новый экзамен, может быть, просто сумасшедший дом. И то и другое мало радовало меня.

## Восемнадцатая глава

### Я усваиваю высшую мудрость

Утром к воротам моего дома подкатила наглухо закрытая карета, двое вооруженных людей усадили меня, и карета двинулась. Куда? Мне не объяснили. Может быть, бросят в Петропавловку, может быть, отправят в Сибирь, а может быть...

Впрочем, не все ли равно. Моя жизнь становилась день ото дня все интереснее и интереснее.

Высадили меня из кареты около большого серого дома, провели темным коридором и оставили одного в пустой комнате, посреди которой стоял покрытый черным сукном стол с эмблемами власти. Я ждал несколько минут, рассматривая портреты вождей в траурных рамках, висевшие по стенам этой таинственной комнаты. Наконец явился застегнутый в черный сюртук человек и предложил мне сесть. Я подчинился.

— Мне поручено сделать вам выговор,— произнес он глухим голосом.— В вашем поведении мы заметили нечто странное, заставляющее нас сомневаться в вашей нормальности или, что еще страшнее, в вашей принадлежности к рабочему классу. Того, что мы заметили в вашем поведении, не случалось уже двадцать лет в нашей практике,— продолжал он и, понизив голос до шепота, добавил:— вы обнаружили склонность к самостоятельному мышлению в области тех вопросов, которые подлежат компетенции высших органов государства...

Как я ни был напуган мрачной обстановкой судилища, но при этих словах я даже подпрыгнул в кресле:

— Разве можно запретить думать?

— Свобода мысли — буржуазный предрассудок,— ответил тот.— Вы можете думать обо всем, кроме некоторых вопросов, о которых думать разрешается только двадцати пяти лицам в государстве.

Видя мое изумление, он утешил меня:

— Об этих вопросах вы можете думать, но ваши мысли не должны противоречить мнению высшего органа государства.

— Но позвольте,— начал я...

— Я не могу вам позволить возражать мне и той коллегии, которую я представляю.

— Как же можно не думать?— не унимался я.

Мой собеседник усмехнулся:

— А зачем вам думать? Ведь все эти вопросы уже разрешены и обдуманы до конца. Зачем вам утруждать свой мозговой аппарат? Сознайтесь, что бесплодно ломать голову над разрешенными вопросами.

— А если эти вопросы разрешены ошибочно?— не унимался я.

— Тридцать лет, как не найдено ни одной ошибки. Верховный совет из уважения к вашим заслугам поручил мне передать вам список тех вопросов, о которых вы не имеете права ни думать, ни рассуждать с другими людьми.

Он торжественно протянул мне небольшую в черном переплете книжку. Я тотчас же открыл ее и убедился, что это тот самый катехизис, который я знал назубок, слово в слово.

Я с негодованием отбросил книжку и сказал:

— Товарищ, давайте действовать начистоту. Я знаю многое, что противоречит этой книжке. У меня накопилось много вопросов, и ни одна из ваших книжонок не ответит мне. Или вы удовлетворите мое законное любопытство, или я буду постоянно тревожить вас своим поведением.

— У нас есть достаточно средств, чтобы заставить вас замолчать, — возразил собеседник.

— Ну так что же, посадите меня в тюрьму, убейте меня, наконец...

Я не буду рассказывать о том, какие мытарства мне пришлось перенести на пути к уяснению истинного положения дел в этом удивительном государстве. Мое упорство превозмогло все: мне наконец-то объяснили то основное, чего до сих пор я никоим образом не мог понять и до чего не мог додуматься сам без посторонней помощи, что ясно для каждого из вас. Оказалось, что я просто не понимал слова «рабочий».

По моему мнению, «рабочий» — это профессия. Тот, кто продает свой труд за заработную плату, является рабочим. Тот, кто покупает чужой труд, — капиталист. Великая революция перевернула все понятия: рабочим называется теперь тот, кто владеет средствами производства, а буржуем — тот, кто продает свой труд.

Это был ключ к уразумению того строя, который вырос и укрепился за последние десятилетия. Пролетариат действительно победил и первые годы фактически правил страной, но путем долгой и незаметной эволюции верхушка пролетариата оторвалась от масс и присвоила себе все завоевания революции. Рабочие, выдвинутые на административные посты, на должности директоров фабрик и трестов, составили новую аристократию, которая удержала за собой звание рабочего. Дети их, выросшие в совершенно новых условиях, уже забыли о том, что значит слово «рабочий», и вкладывали в него те же понятия, что в наше время вкладывались в слово «дворянин». За ними были закреплены те высокие посты, которые занимали их родители.

С другой стороны, рабочие, оставшиеся на производстве, смешавшись с городским мелочничеством, постепенно были лишены всех своих прав, а так как в их число случайно попало несколько бывших капиталистов, у которых было отобрано имущество, и так называемых нэпманов, которые с уничтожением частной торговли должны были искать работы на заводах и фабриках, и притом работы самой черной, вследствие их неподготовленности, то этот низший класс общества получил наименование буржуазии. Это было тем более удобно, что буржуазия по законам не пользовалась никакими правами. Этот закон, таким образом, распространялся и на рабочих, оставшихся на производстве.

Среднее сословие, носившее официальное название «расхлябанной интеллигенции», составилось из тех людей, которые, как

при царизме, так и в первые годы революции, были служащими или занимались свободными профессиями.

И вот — только первая группа пользовалась всеми провозглашенными конституцией правами, только первая группа фактически управляла государством, заводами и фабриками, только члены этой группы имели двухчасовой рабочий день, право на автомобиль, на квартиру с неограниченной площадью.

«Расхлябанная интеллигенция» — этим термином пользовалось и законодательство, — а равно и мецане были значительно урезаны в правах: у них был шестичасовой рабочий день, а в некоторых случаях и восьми-, высших должностей они не имели права занимать, а если фактически и занимали как «спецы» (одна из наиболее привилегированных подгрупп), то юридически ответственным за их действия лицом являлся один из членов первой группы. За квартиру, ограниченную санитарной нормой, они платили смотря по заработку, но не свыше довоенной квартирной платы.

Низшее сословие или так называемая буржуазия имела неограниченный рабочий день, очень низкую жилищную норму и платила за квартиру в тройном против довоенного размере: эта группа включала в свой состав всех лиц физического труда, работающих по найму на фабричных и заводских предприятиях.

Конечно, мне стоило большого труда привыкнуть к этим перевернутым понятиям. Законы о рабочих, права рабочих — все эти слова получили теперь совершенно новое значение. Но зато я теперь перестал многому удивляться: Мэри работает шестнадцать часов, я не могу ходить пешком и не имею права нанять извозчика, — и то и другое обусловлено нашим социальным положением. Нечто подобное, вспоминалось мне, было когда-то в истории, кажется, в средние века — наследственная аристократия и наследственное рабство...

Но и мое положение — положение члена высшего класса — во многом обязывало меня. Я мог потерять это положение в любой момент, коль скоро не уберегусь от какого-то вредного уклона из указанных в катехизисе. Я был связан этим катехизисом по рукам и ногам во всех своих мыслях и поступках. И тем более трудно было уберегнуться от падения мне, которому все эти нормы не были внушены с детства... Лучше всего было не думать, не рассуждать, лучше всего — заучить наизусть эти несложные правила и твердо исполнять их...

Так и делали все мои новые знакомые. Я теперь перестал возмущаться их поведением, мне стало даже жаль их — этих несчастных, принужденных, как попугай, повторять чужие, ими самими не продуманные и непонятные им самим мысли.

И я твердо решил немедленно начать борьбу с искажениями революционных учений, начать борьбу за подлинный социализм, за подлинный коммунизм, за подлинное рабочее государ-

ство. Но начать борьбу надо было во всеоружии знаний. В один прекрасный день я заявил, что от всех своих прежних заблуждений отрекаюсь, что считаю порядки непреложными и правильными и, чтобы впредь не ошибаться, я желаю усвоить высшую мудрость, доступную для человека моего класса.

В ответ на это я получил назначение в университет.

## Девятнадцатая глава

### В университете

Каждый мой шаг в этом странном обществе ознаменовывался большим или меньшим сюрпризом. Кажется, я уже знаю все, кажется, я никогда не совершу ни одной ошибки — и вот жизнь дает мне оплеуху за оплеухой...

С трепетом вступал я под крышу старинного здания на Васильевском острове. С молодыми, почти юношескими надеждами... Университет. Разве не о нем мечтал я в пору своей первой жизни на этой земле, разве не было моментов, когда я — подпольщик и революционер — все бы отдал за то, чтобы под крышей этого здания углубиться в науку? А теперь? Разве не радостно бьется мое сердце в предчувствии полной трудов, волнений деятельной общественной работы среди еще не погрязшей в мещанском болоте молодежи? Свободная наука, полное благородными мечтами студенческое товарищество — та среда, в которой я найду первых последователей и первых борцов за правое дело.

Надо ли говорить, что мои мечты не оправдались. О студентах я буду говорить потом, а сначала скажу несколько слов о той науке, которая там преподавалась. Прежде всего меня спросили, кем я хочу быть, так как университетская наука приняла давно уже практическое направление. «Чистая» наука оказалась буржуазным предрассудком. Я сказал, что хочу быть юристом. Мне предложили на выбор: курс наук, подготавливающий на должности политруков при домах и учреждениях, курс наук, подготавливающий судебного работника, и курс административный.

Я попросил программу и убедился, что первый курс мне ничего не даст: студенты усваивали на этом курсе политграмоту и революционные святцы. Каждый политрук должен был твердо знать, в какой день какое революционное событие празднуется, и краткие биографии лиц, особенно выделившихся в этом событии, а также ритуал клубной работы или, что понятнее для меня, — богослужения. Я не хотел быть богословом и я не хотел быть администратором. Я выбрал судебную часть — меня прельщало то, что в программе значились две достаточно интересные для меня науки: классовый кодекс и диалектика.

Занятия производились в классах, напоминающих больше

классы наших гимназий, чем университетские аудитории, состав слушателей по умственному развитию тоже показался мне стоящим чрезвычайно невысоко. Меня утешало в этом отношении только одно — что это слушатели первого курса, они разовьются под влиянием университетской науки после одного года научной работы, но и это утешение оказалось фальшивым...

Дело в том, что наука, преподаваемая нашими профессорами, не столько развивала молодые умы, сколько притупляла еле-еле начинающую зарождаться самостоятельную мысль. Начнем с диалектики.

Это была наука, учившая логически мыслить и защищать в спорах свои мнения. Обучение состояло в следующем: обычно бралось какое-либо положение из творений одного из отцов революции, и студент должен был выводить при помощи правил логики целый ряд новых понятий, вытекающих из первого, причем считалось чуть ли не преступлением, и во всяком случае грубейшей ошибкой, если окончательный вывод в чем-либо расходился с заученным мной в школе политграммоты катехизисом. В первое время ученик, чтобы не сбиться, пользовался логической машиной, которая, вбирая в себя написанные на узких лентах бумаги тезисы, выбрасывала механически готовые выводы.

— Зачем же самому продумывать все это, если машина может дать единственно правильный ответ?— спросил я на первом же уроке у профессора.

— Не будете же вы всюду носить с собой машину, — резонно ответил мне профессор.

Этого было достаточно, чтобы я окончательно разочаровался в диалектике. Сама наука нисколько не увеличила моего умственного багажа, другое дело — в отношении содержания и понимания некоторых тезисов.

Я с интересом отдался такому занятию: заготовив дома выдержки из творений отцов революции, я приходил еще до начала занятий в аудиторию и одну за другой отправлял эти выдержки в машину. Оттуда выползали ответы, которые я прочитывал с жадностью новичка и с изумлением человека совершенно другой культуры. Понятно, что первые вопросы, заданные мною, касались событий моей собственной жизни. Прежде всего я отправил в машину такое положение, вычитанное мною в катехизисе: «Нравственно то, что служит на пользу рабочему классу». И задал вопрос: можно ли отнять кусок хлеба у голодного? Ответ гласил: можно, если он принадлежит к низшему классу. Логическое развертывание идеи: низший класс — наш классовый враг. Вредить ему — значит помогать своему классу. Голодный он или нет — это для машины значения не имеет.

Так был объяснен мне смысл суда над моей собой: я отнял хлеб у человека и толкнул его, причинив телесное поврежде-

ние, — я совершил преступление. Но так как этим я спас себя — представителя высшего класса — от голодной смерти, я был прав, а не он.

Так же несложен был и кодекс гражданских и уголовных законов. Главное место в нем занимали правила определения классовой принадлежности индивида: для судьбы важнее всего было определить, с кем он имеет дело, и уже от этого зависело решение. Предполагалось, что так называемый рабочий прав, прав всегда, когда не доказано противного, а так называемый буржуй всегда неправ, даже когда доказано противное.

— Раньше законы писались в пользу буржуазии,— объяснил мне профессор,— теперь законы написаны рабочими и в пользу рабочих. Мы не придерживаемся буржуазного лицемерия,— пояснил он,— и не утверждаем, что наши законы равны для всех.

— Следовательно, они пристрастны?— спросил я.

— Да... Но они пристрастны в пользу трудящихся, а это не одно и то же,— ответил профессор.

Втайне я не разделял этого мнения, но горький опыт уже научил меня не возражать. Я слушал все, что говорили мне мои учителя, и повторял за ними слепо, не рассуждая, все утверждаемые ими истины. Моя понятливость, мое прилежание, мои способности были оценены по достоинству, и мне был назначен экзамен на полгода ранее, чем то полагалось по уставу.

На экзамене мне были предложены следующие задачи:

«Некто А, отец которого был в семнадцатом году помощником присяжного поверенного, поступил в двадцать втором году на завод и работал там в качестве слесаря. Каково социальное положение внука этого А, если он работает на том же заводе?»

Я смело ответил:

— Буржуй.

И это было единственное правильное решение вопроса. И другая:

«Рабочий ситценабивной мануфактуры имел сына, торговавшего на базаре селедками. Кто его внук?»

Ответ:

— Рабочий от станка.

Я получил диплом, и опала моя кончилась. Снова я на свободе, как и в первые дни моей новой жизни. Мои учителя и наставники пророчат мне будущее. Снова знакомые встречают меня приветственными улыбками, я получаю доступ в лучшие дома и квартиры. Узнав глубину премудрости, я цепко держался за свои права и привилегии, которые, казалось мне, могут помочь задуманному мною делу.

Но я забыл одно обстоятельство...



## Двадцатая глава

### Я продолжаю бывать у Мэри

Своей свободой я прежде всего воспользовался для того, чтобы навестить Мэри. Теперь я понимал, что нельзя брать автомобиль или переносить вещи, я должен был воспользоваться опытом подпольной работы, принимая во внимание, что теперешний сыск, как и цензура, были куда лучше царского.

Строгая конспирация прежде всего.

Я сел в автомобиль и приказал везти себя в один из незлых публичных домов, носивший солидное наименование бабл-етной студии. Заведение это считалось весьма нравственным и не возбуждало ничьих подозрений. Там я, предварительно створившись с лакеем, занимал комнату с отдельным, ведущим во двор ходом и заявлял, что остаюсь в этой комнате до утра. Одежда лакея и его трамвайный билет помогали мне незванным добраться до Лесного, а возвращался я ночью и, как ни в чем не бывало, на собственном своем автомобиле приезжал домой.

Как видите, маневр был чрезвычайно сложный, но зато конспирация обеспечена.

Мэри совсем перестала дичиться меня. Ее постоянные гости — поэт и профессор — тоже очень скоро привыкли ко мне и относились уже безо всякого следа бывлой подозрительности.

Кстати, о подозрительности: я только теперь мог объяснить и оправдать эту особенность населения Ленинграда, так поразившую меня в первые дни пребывания в новом государстве. Положение гражданина лучшей из республик мира так было связано всякого рода правилами, часто весьма трудно выполнимыми, что очень легко человек мог сорваться в социальную пропасть, из которой выхода уже не было. Зависть, мелкие корыстные расчеты заставляли людей ловить друг друга, доносить о малейших проступках, а за доносом неминуемо следовал суд. Усугублялось все это тем, что донос не считался безнравственным и доносчик, кроме того, получал известное вознаграждение от государства. Разговаривая с человеком, даже дружески настроенным, нельзя было ручаться, что он завтра же не передаст разговор куда надо. Ясно, что люди опасались друг друга, ясно, что подозрительность и недоверчивость стали с течением времени основными свойствами характера, особенно среди людей, принадлежавших к высшему классу. Все были, кроме того, чрезвычайно нервны, вздрагивали при каждом звонке, при каждом шорохе — следствие тайных посещений политруководителей и добровольных шпионов, имевших право затребовать в домике с особого разрешения властей ключи от любой квартиры. Знакомства налаживались с трудом, и притом только между лицами, равными по социальному положению, так как равенство по-

ложения исключало чувство зависти, тоже весьма свойственное гражданам города.

Продолжаю рассказ.

В одно из моих посещений я не застал Мэри, а встретился в ее комнате с поэтом, который тоже дожидался ее. Я двойственно относился к этому человеку: с одной стороны, он был мне бесконечно симпатичен, а с другой — мне казалось, что Мэри предпочитает его обществу моему... Конечно, я ревновал.

Некоторое время мы оба неловко молчали.

Я первый почувствовал неловкость и начал разговор:

— Мы с вами встречаемся довольно часто, — сказал я, — мне вас представляли как поэта, но вы до сих пор не показали мне ваших стихов.

— А я собирался сегодня прочесть новое стихотворение, — ответил он.

Мы разговорились. Я, как сторонник гражданской поэзии, поспешил изложить свои взгляды и думал, что начнется спор, подобный тому, который мы вели с Мэри. Но, к моему удивлению, поэт не спорил.

— Это верно, — сказал он, — но нас, поэтов, все-таки больше интересует техника, чем содержание. Я сам люблю писать на гражданские, как вы говорите, темы...

Это заинтересовало меня.

— Может быть, вы подарите мне вашу книгу.

— Нет, — отмахнулся он, — моя книга еще не вышла из печати. И сомневаюсь, что она когда-либо выйдет...

При этих словах он погрузился в горестное раздумье. Только появление Мэри развеселило его. Я понял, что и на этот раз оказался нетактичным, и при Мэри разговора не возобновлял. Мы пили чай, болтали о пустяках, пока сам поэт не вспомнил об обещании.

Какие это были стихи! Таких стихов я не слыхал никогда. Они были написаны на исторические темы — греческие, римские, французские, — но все одинаково были пропитаны гневом, ненавистью, пафосом революции. Я был так растроган, что чуть не обнял его, когда он кончил читать, и обнял бы, если бы не вспомнил правила катехизиса, запрещающего объятия и поцелуи, как антигигиенический обычай...

Этот проклятый катехизис — он вечно будет мешать мне...

Поэт скромно, но с достоинством принял мои восторги, однако скоро снова впал в задумчивость. Я спросил его о причинах этой задумчивости.

С горечью, почти с отчаянием он воскликнул:

— Да ведь эти стихи никогда не увидят света!

И я был настолько осведомлен в законах, что сам догадывался почему...

— И это в так называемом пролетарском государстве,

которое слово «революция» склоняет во всех падежах,— сказал я, в возмущении вставая со стула.— Так не должно продолжаться!

Этот возглас произвел на моих друзей неодинаковое впечатление: поэт посмотрел на меня с надеждой, а Мэри — с сожалением. Между этими двумя взглядами надо было выбирать, и я скоро сделал этот выбор.

Но об этом после.

— Что же вы можете сделать?— спросил поэт.

Признаюсь — в тот момент я и сам не знал, что ответить.

## Двадцать первая глава Я начинаю действовать

Вернувшись домой, я бросил под стол анкету, оставив ее незаполненной. Слишком долго я оставался равнодушным ко всем мерзостям и безобразиям окружавшей меня жизни.

— Да ведь это старый режим наизнанку,— говорил я сам себе.— Если я боролся со старым режимом, то неужели должен отступить теперь?

Мне кажется, что моя задача теперь значительно проще. Что случилось? Верхушка рабочего класса оторвалась от масс и присвоила себе наименование и права рабочего класса в целом. Надо восстановить истинное положение, надо назвать вещи их настоящими именами — и это будет уже половина дела, тем более, что все изучали политграмоту, все имеют понятие о марксизме, о классовой борьбе, существуют профсоюзы, советы рабочих депутатов.

В старые формы надо влить новое содержание.

И почему бы не начать борьбу совершенно легально, пропагандируя свои взгляды в высшем классе общества? Разве им так хорошо живется? Пусть их кормят, как свиней, пусть они ничего не делают, но ведь угроза нищеты висит над каждым из них: достаточно пустого доноса, чтобы вчерашний хозяин стал бесправным рабочим, не смеющим поднять голос. Наконец, они лишены права думать!

Я буду вести работу среди этих людей, на следующих выборах мои сторонники получат большинство, и самые вопиющие безобразия будут уничтожены...

Теперь все эти рассуждения мне самому кажутся наивными, но в то время казалось, что и этот план может иметь успех. С чего же начать? Говорить об этом с Витманом? С нашим политруком? Проповедовать в клубе нашего дома среди тупых и жирных мещан?

Я решил выступить в университете. Молодежь всегда была чутка и отзывчива, она поймет меня. Навербовать среди них десяток сторонников, а там... Собственно, я мало думал, что будет

в этом таинственном *там*. Но разве, устраивая первомайскую демонстрацию, явно рассчитанную на неуспех, я задумывался о последствиях?

Где выступить? Поскольку я представлял себе студенческие аудитории, я знал, что выступать там невозможно. Общественная жизнь была развита слабо, каждый старался поглубже уйти в свою скорлупу, и студенты не составляли исключения. Да и что могло тянуть людей в общество? Общество интересно, когда идет борьба мнений и интересов — без этого на любом собрании люди останутся тупыми равнодушными посетителями, исполняющими скучную повинность. Разве не видел я это ежедневно в каждом клубе? Сонные лица, стремление как можно скорее уйти домой...

Я сравнивал клуб с церковью, но ведь и в церкви было время, когда в ней жил дух ересей и борьбы. Ведь, говорят, на вселенских соборах дело доходило до драки. И вот, если в пеструю, скучающую толпу посетителей клуба бросить острую мысль, как они заговорят, как они будут возбуждены...

Конечно, надо выступать в клубе, притом — в студенческом. Это выступление, казалось мне, имело все шансы на успех.

В воскресенье я отправился в клуб университета. Был какой-то маловажный революционный праздник, слушателей было сравнительно немного, и я с особенной радостью заметил, что Витмана не было среди присутствующих, — признаться, я побавился его и в его присутствии вряд ли решился бы заговорить. Проповедник тянул что-то весьма нудное и ненужное. Слушатели тупо позевывали.

По окончании проповеди я попросил слова. Мне дали. Свобода слова для меня существовала: никто не знал, что я буду высказывать еретические мысли.

Я не буду повторять своей речи. Скажу только, что она была переполнена страстностью и иронией. Я клеймил людей, забывших заветы великих учителей социализма, которым они курят фимиам, я говорил, что мертвая буква заслонила от нас живую жизнь, я говорил о лицемерной морали, о мертвой схоластике, заедающей наши души, — и так далее, и так далее.

В середине речи я неожиданно почувствовал, что спадаю с тона. К концу я говорил медленно и вяло. Отчего? Значит, мои слова не доходят?

Я кончил. Я ждал хоть малейшего отзвука — я не говорю уже о бурных аплодисментах, на которые вначале рассчитывал, — гробовая тишина.

Я медленно сошел с трибуны и заметил только зевок проповедника, равнодушно взглянувшего на меня. Слушатели встряхнулись, встали, пропели «Интернационал» и спокойно разошлись по домам.

Я был настолько обескуражен, что остался в клубе один

и, стоя за колонной, долго не мог сообразить, что же такое произошло. Я не заметил, как кто-то подошел ко мне и положил мне руку на плечо. Подняв глаза, я с удивлением увидел перед собой старика философа, с которым встречался у Мэри.

— Я вполне согласен с вами,— тихо произнес он,— я думаю то же самое, что и вы...

Я обрадовался, увидев неожиданного союзника. Может быть, их больше, чем мне казалось до сих пор? Крепко пожав ему руку, я сказал:

— Мы будем работать вместе...

Но старик не разделял моего энтузиазма.

— Нет, нет,— ответил он,— я подошел к вам для того лишь, чтобы предупредить... Я стар,— он показал на свою седину,— я пережил революцию от начала до конца, я слышал много речей, подобных вашей... Я сам верил этим речам, я, тогда молодой человек, яростно рукоплескал ораторам... Я ждал от выполнения их программы всего, чего только можно ждать на этой земле...

Старик задумался и провел рукой по волосам:

— Да, прошло много лет с тех пор. Я видел, как постепенно тускнели речи тех же ораторов, как постепенно уходило из их слов живое содержание, и тем пышнее продолжали цвести эти слова... Но то был пустоцвет. Я видел, как разрастались сорные травы и приносили дурные плоды...

Он остановился на минуту и добавил:

— Такие пышные цветы, а их плод— сорные травы.

Я не понимал, к чему, собственно, разводит он эту философию.

— Так было, а будет иначе,— ответил я.— Если каждый сознательный человек будет помогать мне, то мое дело увенчается успехом. Иначе на кого же я буду рассчитывать?

— Вам не на кого рассчитывать,— ответил философ.— Я вижу, что ваш путь ведет вас к гибели. Эти люди не послушали вас, и они правы.

— Они не слышали ни одного слова,— сказал я с горечью,— это непроходимые тупицы.

— Не тупицы, а защищены от вашей агитации хорошим воспитанием. У них закрыты уши на все ваши разглагольствования. Они более правы, чем мы с вами...

Я поспешил не согласиться с его мнением.

— Они хотят сохранения существующего порядка, вы— насильственного переворота. Вы хотите крови и жертв, чтобы в результате ничтожное меньшинство оседлало большинство и правило по своему усмотрению.

Он изложил мне в кратких словах историю революций во Франции, в Риме, Египте, Китае. Он отлично знал исто-

рию — и везде, по его словам, было одно и то же. Хуже или лучше, но новый строй копировал старый до мелочей.

— Так что же делать?— в отчаянии спросил я.

— Когда-нибудь мы еще раз поговорим с вами на эту тему,— уклончиво ответил философ.— Наш длинный разговор может возбудить подозрения. Одно скажу: примиритесь и живите так, как живете сейчас...

— Но ведь так нельзя!— воскликнул я.

— Да,— ухмыльнулся философ,— это правда. Я сам раньше думал это, а вот видите — живу...

В его словах почуялось мне что-то знакомое. Я вскинул глаза — и мне резко бросилось: толстый нос, серые узкие глаза и длинная пушистая борода. Как он похож на Толстого...

— Об этом я слышал давно,— резко ответил я, и мы расстались.

В самом деле, разве можно жить с такой безнадежной философией? Что бы ни говорил выживший из ума старик — мы еще поборемся. Мы еще поборемся.

Старик, как мне показалось, с сожалением смотрел на меня от дверей клуба. Уходя, он крикнул:

— Подумайте! Еще не поздно отказаться от вашего замысла.

Но я не послушался его. Может быть, он и прав, но я не жалею, что не принял его совета.

## Двадцать вторая глава На меня нападает пресса

Странно, но факт. Мое выступление в университетском клубе прошло незамеченным. Не только не узнали о нем Витман или политрук — о нем не узнал никто. Все, кроме философа, приняли мою речь за обыкновенную проповедь, клеймящую недостатки старого режима...

Но все-таки моя жизнь не была лишена довольно крупных неприятностей.

На меня неожиданно стала нападать пресса.

Каждое утро, развертывая газету, я находил в отделе «Рабочая жизнь» две или три заметки о своей особе. Кто-то чрезвычайно интересовался моей личностью и торопился о каждом моем шаге сообщать в газету.

Сначала обвинения были пустяковые: один корреспондент утверждал, что видел у меня на шее нательный крест, и предавал меня анафеме, как подверженного религиозным предрассудкам. Другой корреспондент обвинял меня в неумеренном потреблении спиртных напитков. Третий — в посещении подозрительных ресторанов. Последнее было правильно, но уголовного преступления не представляло.

Дальше — больше. Обвинения становятся все более тяжки-

ми и все более нелепыми. Сообщалось, что я в своей квартире устраиваю по воскресеньям тайные богослужения, в чем мне помогает бывший поповский сынок (имярек); то говорилось, что я занимаюсь по ночам спиритизмом; то доказывалось, что я вовсе не рабочий, что моя бабушка была просвирней в церкви Николы на курьих ножках и потому я, как принадлежащий к духовенству, должен быть немедленно подвергнут остракизму.

Ну да не стоит повторять всех этих мерзостей. Меня удивляло и возмущало одно: как газета может уделять столько места подобным пустякам? Перечитывая ее всю, я скоро убедился, что она вся наполнена подобными пустяками.

Вот ежедневное содержание газеты: в передовой — шипящая злобой статья о том, что надо возбуждать классовую ненависть, подтвержденная фактами вроде того, что такой-то или такая-то — всегда полное имя — поддерживают буржуазию, что выразилось в том, что они дали малолетнему правнуку капиталиста две копейки. «Мы в буржуазном окружении, — вопиет статья, — мы должны всегда помнить, что наше слабодушие подрывает нашу силу».

В фельетоне — длинная статья о приходящемся на этот день революционном празднике, причем в связи с восхвалением героя обливались помоями деятели, часто известные мне и мною уважаемые по прежней подпольной работе. Пусть они ошибались, но разве смерть не покрыла все их грехи? Безвестные фельетонисты не жалели для них бранных слов: иуды, предатели, мерзавцы, сволочи и идиоты.

За передовой — самая тоскливая часть газеты: съезды, конференции и речи вождей. Обычно это было разрешение ряда задач, с которыми так искусно справлялась логическая машина. Я сам решал эти задачи в общем недурно и, конечно, отчетов и речей не читал никогда.

Дальше — телеграммы из разных городов; ядовитые доносы на некоторых провинциальных деятелей; критика, театр, музыка — ряд небольших доносов на авторов, режиссеров, драматургов и композиторов, и даже на самого главного цензора — и он, оказывается, не удовлетворял идеологической чистоплотности корреспондентов.

Но самое отвратительное — отдел «Рабочая жизнь». Если в первых отделах газеты отмечались только преступления или проступки, то в этом помещались обычно ни на чем не основанные сплетни. Здесь газета вторгалась в частную жизнь отдельных граждан и смешивала с грязью их репутацию. Газета заканчивалась громогласным заявлением редакции, что по всем присылаемым заметкам прокуратурой произведется расследование. Сколько же работы было у прокуратуры?

По отношению к заметкам, касающимся меня лично, мне интереснее всего было знать: кто доносит. Кому нужно сочинять

эти маловероятные сказки? По-видимому, весьма мало осведомленный человек, иначе бы он пронюхал о моих путешествиях в Лесной и о моих знакомствах с лицами, принадлежащими к враждебному классу...

Обстоятельства очень быстро натолкнули меня на решение этого вопроса.

После двух-трех путешествий в прокуратуру я был оставлен в покое. И в первое же утро, не омраченное чтением очередной нелепости, я получил приглашение от дамы из девятого номера на чашку чая. Она так любезно улыбалась, была так ласкова, что отказаться было нельзя. Часов около пяти я был уже у нее. После длинного прерыва обстановка ее квартиры, эта убогая роскошь, эта безвкусная мазня на стенах, слишком тяжелая мебель, раскрашенное лицо хозяйки, тупое — хозяина и деревянные — обеих девиц, — все показалось мне безнадежно скучным: скука, казалось, застилала улыбки, скука приглушала звуки голов...

Боже мой, куда бы я бежал от такой жизни!..

— Как вы провели это время?.. Что делали? Я вас давно, давно не видела...

В тоне хозяйки я почувствовал легкий оттенок ехидства:

— Кажется, вас беспокоили наши рабкоры?

Лица деревянных девиц исказились гримасой, похожей на улыбку.

— Те-те-те,— подумал я.— Так вот где разгадка!

— Да,— стараясь оставаться спокойным, ответил я,— признаюсь, эти заметки очень раздражали меня... Я не знаю, до чего можно довести человека таким путем.

— И доводили,— ответила хозяйка.— Правда, это было очень давно, а иногда бывает и теперь, но не в такой форме. Вы слышали об убийствах рабкоров? Эти мученики долга,— она завела глаза к потолку,— эти мученики долга умирали от руки кулаков и бандитов...

— Позвольте,— возразил я,— не знаю, так или иначе было в те времена, о которых вы говорите, но если оклеветанному человеку негде найти защиты, в чем я вполне убедился на своем собственном опыте, то вполне естественно...

Я не ожидал, что эти слова произведут такое действие на мою собеседницу: она сделала такие большие глаза, она так глубоко вздохнула, она с таким ужасом посмотрела на меня, что я склонен был полагать, не выросли ли у меня на лбу рога— иначе чем бы еще я мог привлечь такое внимание со стороны столь равнодушной особы, как моя собеседница.

— Что вы! Что вы!— шепотом и дрожа от страха произнесла она.— Мы здесь в своем кругу, но если кто-нибудь услышит...

— Я не сказал ничего особенного.



Еще большее удивление. Деревянные девицы покраснели и поспешили уйти. Неужели я сказал что-нибудь неприличное? Но ведь девицы были не из таких, чтобы краснеть от неприличного слова!

Дама успела оправиться.

— О, вы дитя... Вы — совсем дитя... Вы, сами того не зная, оскорбляете святое святых каждого пролетария. Но вы не бойтесь, — добавила она, — я не дам вашему делу дальнейшего хода.

Уж не думает ли она донести? Так и есть!

— Я никому не скажу о вашем поступке... Ни слова! Ни одна душа не будет знать, но и вы со своей стороны...

Она на минуту замялась и, глядя мне прямо в глаза:

— Вы помните о моем предложении?

Так она продолжает навязывать мне эту деревянную особу под угрозой доноса? Хорошо!

— Нет, не помню! — резко ответил я и быстро поднялся.

— Разрешите вам пожелать всего хорошего!

Если бы вы видели ее лицо! Оно как живое стоит перед моими глазами...

В этот же вечер я посетил Мэри. Было столько вопросов, накопилось столько негодования. И кому-то назло я не принял никаких предосторожностей.

— Зачем вы рискуете? За вами следят, — встретила меня Мэри.

Я ответил, что не могу выносить такой жизни и готов идти на что угодно. Пусть меня переводят в низший класс:

— Ведь тогда я буду иметь возможность чаще видаться с вами...

Она опустила глаза, и я заметил легкую краску на ее лице. Откровенно рассказав ей обо всем, что мучило меня, я между прочим спросил:

— Зачем эта женщина так некрасиво навязывает мне свою дочь?

— Очень просто, — ответила Мэри, — у вас хорошая квартира. Вполне понятно, что она заботится об участи дочери.

Опять новое открытие. В городе нет квартир. Постройка идет слишком медленно, чтобы могло разместиться увеличивающееся население. Молодожены ютятся у родителей, пока специальное учреждение не подыщет им комнатку, освободив одну из квартир, до сих пор занятых так называемой буржуазией. Но этот фонд постепенно иссякает, буржуазия, привыкшая к определенным жилищным нормам, строит для себя не дома, а клетушки — не вселять же в эти клетушки семейство рабочего? И вот идет борьба за жилищную площадь, борьба, в которой стороны не брезгают никакими средствами.

— Не проще ли было построить несколько сотен новых домов?

— Что вы! Если бы захотели построить, все равно не хватило бы строительного материала. Гораздо проще выселить буржуя, а тот уж сам позаботится о своем жилище.

Остаток вечера мы провели за чтением старинных стихов, а потом спорили о религиозном вопросе. Я с азартом отрицал религию как вековой дурман. Мэри полагала, что можно верить в Бога или не верить в него, а в самой религии не находила ничего предосудительного.

— Я сама не знаю, верю или нет. Но, понимаете, иногда бывает такое чувство... Ну, одним словом, бывают минуты, когда я хочу, чтобы Бог существовал.

Во время спора пришел поэт и тоже встал на мою сторону. Мы почти убедили Мэри в том, что она не права, но, когда, разгорячившись, я несколько грубо задел существо религии, она испугалась:

— Не надо, не надо, это страшно!

Наивную девушку можно было убедить в чем угодно, но после всего она оставалась при своем мнении. И это правильно: меня не раз убеждали во вреде куренья, а я все-таки продолжал курить. Так и с религией. Я высказал эту мысль вслух, и мое сравнение показалось Мэри забавным.

Потом мы бродили по парку. Я влезал на самые высокие деревья, вспоминая годы своего детства. Настроение у меня было отличное и, вернувшись домой, я не только не заполнил анкету, но и не прочел груды повесток, лежавших на столе.

«Утро вечера мудренее»,— решил я.

## Двадцать третья глава

### Наказание

Повестки были чрезвычайно важные и исходили от самых разнообразных учреждений. Прежде всего, наш политрук предлагал явиться и дать объяснение по поводу незаполненной анкеты; домовая ячейка сообщала, что вопрос о моем поведении в квартире номер девять будет сегодня поставлен на обсуждение и что я могу явиться для самозащиты; гепоу требовало немедленной явки, конечно, без объяснения причин; наконец, Витман в дружеском письме сообщал, что мои сношения с лицами враждебного класса заставляют его, Витмана, временно прекратить знакомство со мной.

Куда идти? Перед кем оправдываться? Вероятно, я не пошел бы никуда, если бы специальный автомобиль не отвез меня в высшее контрольное учреждение, следящее за идеологической чистотой пролетариата.

По дороге я обдумывал речь, в которой как дважды два дока-

зывал, подкрепляя свою речь цитатами из катехизиса, что я прав, — что же делать, это моя застарелая привычка. Никаких защитительных речей в этом государстве не говорят, нет даже допроса, и большинство дел, касающихся преступлений высшего класса общества, рассматривается в отсутствие обвиняемого. Как юрист, я должен был знать, что мое дело, как важное, рассматривается в открытом заседании суда только в том случае, если процессу придан показательный характер.

Полчаса просидел я в небольшой приемной. Передо мной была наглухо закрытая дверь с надписью: «Во время заседания вход воспрещен». Там, за дверью, сейчас разбиралось мое дело.

Осмотревшись, я заметил на другой скамье молодого человека, почти мальчика, который смотрел на роковую дверь, иронически улыбаясь, и подмигивал мне. Я подхватил его улыбку, таким образом мы познакомились.

Я узнал, что он — рабфаковец, осмелившийся поставить в тупик своего преподавателя каверзным вопросом: «Скажите пожалуйста, профессор, почему один мой знакомый владеет рыбным магазином, а у него в паспорте значится: рабочий от станка? Не лучше ли было бы написать: рабочий от прилавка?»

Этот вопрос дал основание привлечь несчастного мальчика к суду за то преступление, в каком я сам был повинен, за попытку к самостоятельному мышлению.

Звали этого мальчика Алексеем.

Наш разговор был прерван худощавым секретарем, явившимся объявить решение. Меня переводили в средний класс «за мещанство, выразившееся в отказе от сожительства с гражданкой — следовало имя девицы из девятого номера, — за оскорбление института рабкоров и за сношения с лицами, принадлежащими к другому классу». Отныне я терял право на звание рабочего и получал новое звание — расхлябанного интеллигента. Приговор оказался чересчур мягким; что здесь повлияло — мои ли заслуги перед революцией, исключительность ли биографии или чье-то заступничество — сказать не могу. Алексей был наказан значительно строже: его причислили к буржуазному классу, и он в течение пяти минут должен был решить, на какую работу он переходит. Я заявил секретарю, что хотел бы работать на заводе «Новый Айваз»; Алексей, которому по молодости лет было безразлично, где работать, тоже попросил назначения на этот же завод. Я одобрил его решение, и секретарь не возражал.

Так я приобрел нового товарища.

Постановление суда не опечалило меня, а, наоборот, обрадовало. Я почувствовал, что вместе со званием рабочего тяжелый груз свалился с моих плеч: ведь я наконец свободен! Я мог передвигаться по городу на трамвае, я мог сам выбирать себе знакомых, тем более что лица среднего класса были вхожи и в до-

ма пролетариев; наконец, я получал настоящую работу, а это наиболее действенное средство от скуки.

Я поспешил поделиться своей радостью с Мэри, но застал ее в слезах: она сегодня была переведена на низшую ставку и, насколько я мог понять, — из-за меня. Знакомство со мной ей изменили в преступление.

— Моя обязанность — возместить вам потерю, — сказал я.

Она была настолько умна, что не отказалась от помощи и принимала мои подарки просто — без жеманства и без излишней благодарности. Не раз хотелось мне заговорить с ней о главном — о том, что я люблю ее, что она должна стать моей подругой, но я не умел начать, я стеснялся... Притом мне казалось, что у меня есть более счастливый соперник, и я безмолвно уступал ему дорогу.

Итак, в моей жизни началась новая полоса. На другое же утро я оделся в простой рабочий костюм и в девять часов стоял у ворот завода «Новый Айваз». Дальше — обычные формальности: пройти в контору, заполнить несколько анкет, содержащих большое количество вопросов, иногда не имеющих, на мой взгляд, прямого отношения к делу: об отце, о дедах, о прадедах, о том, пристрастен ли я к алкоголю и в какой степени. Директор принял меня чрезвычайно любезно, выразил желание, чтобы опала моя была временной, и даже обещал впоследствии похлопотать перед властями. Я понял, что это не более чем простая вежливость, и поблагодарил его за беспокойство о моей участи. На анкете директор поставил резолюцию: должность старшего подмастерья, тринадцатый разряд.

В мастерской я увидел Алексея, он ждал меня — своего непосредственного начальника. Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало меня.

Мы немедленно принялись за работу.

В мастерской произошло очень мало изменений. Некоторые машины были заменены новыми, усовершенствованной конструкции. Я попросил рабочего пустить эти машины в ход. Рабочий с недоверием посмотрел на меня и подошел к машине. Он долго возился над ней, вставляя кусок металла, повернул выключатель. Машина сделала несколько оборотов, заскрипела, загрохотала — и встала.

— Ну что же? — спросил я.

— Ничего, — недовольным тоном ответил рабочий. — Она всегда так: пустишь, а ее заест... Да мы ведь больше на старых работаем.

Машины эти оказались изобретением одного русского инженера, для них требовались некоторые части, которые на наших заводах изготавливать не умели, а в покупке частей за границей было отказано. Кое-как сделали эти части на русском заводе, но

произошла какая-то ошибка в расчетах, и машины не работали.

— Давно они так стоят?— спросил я рабочего.

— Да уж лет десять стоят,— ответил он.

Я тотчас же принялся за разборку машины, приспособив к этой работе Алексея, и решил во что бы то ни стало пустить станки в ход: они сэкономили работу процентов на пятьдесят.

— А куда смотрели инженеры? Что думал директор?

Рабочий только рукой махнул.

Обстановка заводской работы осталась та же. Правда, кое-где сохранились следы чьей-то заботы о санитарных условиях работы: стоял бак с испорченной водой, испорченный вентилятор, но, несмотря на это, в воздухе — облака пыли, пол не мыт года два, а при выходе из мастерской я услышал из-за двери раскатистое матюганье своего помощника.

Обо всем этом я в тот же день доложил директору.

— Завод не бережет рабочую силу,— сказал я.— Рабочие скоро устанут, часто заболевают, производительность труда падает.

— Не рабочие, а буржуазия,— поправил меня директор,— рабочие у нас в мастерские не заходят... А зачем нам заботиться о здоровье этих кровопийц?

Я понял, что спорить бесполезно. Для меня эти измученные чахоткой, темные и забытые люди оставались рабочими: трудно было поверить, что они — потомки фабрикантов и купцов. Да как и оказалось в действительности, большинство из них были настоящие рабочие, потомственные, подобно мне, но не сумевшие вовремя выдвинуться на административные посты.

Я решил действовать на свой страх и риск, провести все необходимые в работе улучшения, хотя бы и за свой счет. У меня был еще выход — недели через две пустить новые станки, и тогда все улучшения я проведу за счет экономии рабочей силы.

«Да, здесь я принесу самую реальную пользу»,— думал я. И если бы мне предложили в этот момент вернуться к прежнему положению привилегированного тунеядца, я вряд ли бы согласился.

Вечером меня ждал небольшой сюрприз. Вернувшись в свою квартиру, я нашел ее дверь запертой на замок. Постояв несколько минут у двери, я обратился в домоуправление.

— Вас выселили по постановлению суда, как лицо, не занимающееся физическим трудом,— ответили мне в домоуправлении,— ведь этот дом — рабочая коммуна.

— Где же мне ночевать?

Больших трудов стоило добиться разрешения перночевать. На другое же утро я получил ордер на новую квартиру. Комнаты мои были заняты девицами из девятого номера — они добились своего.

## Двадцать четвертая глава

### Я работаю на заводе

И вот я живу на Большом Сампсониевском проспекте, занимаю комнату в шестнадцать аршин — моя норма, работаю восемь часов в сутки. Ни Витмана, ни даму из девятого номера я не имею счастья считать в числе своих знакомых. Обедаю в недорогой столовой, завожу знакомства с лицами среднего и низшего классов общества.

Одна неделя — и я был уже в курсе всей заводской работы, и как свои пять пальцев знал быт и нужды рабочих — буду называть их своим именем, вопреки официальной терминологии. Положение их не улучшилось, а в некоторых отношениях даже ухудшилось по сравнению с тринадцатым годом. Правда, официально провозглашенный в первые дни революции восьмичасовой день не был отменен; правда, заработок был несколько выше прежнего, но хлеб и мясо вздорожали в значительно большей пропорции, а предметы промышленности по своей цене были недоступны не только рабочему, но и высшим служащим, получавшим вдвое-втрое больше рабочего.

Через две недели, придя в контору за получкой, я имел возможность убедиться, что такое заработок рабочего. Мне причиталось получить сто тридцать рублей. Я подхожу к кассе, получаю деньги и уже собираюсь уходить.

— Позвольте, — останавливает меня молодой человек, сидящий у кассы, — членский взнос в союз...

Я не возражал, с меня взяли в пользу союза пять процентов. Но этим дело не кончилось. Рядом с молодым человеком сидела барышня, потом еще барышня, еще молодой человек, и так далее, и так далее. Все они предъявили претензии на мой кошелек: я должен был внести в шефское общество, на беспризорных детей, подоходный налог, сбор на дома отдыха для рабочих, гербовый сбор и членство в целом ряде добровольных обществ. Только тут я узнал, что я член добролета, авиахима, доброармии, общества ликвидации неграмотности и общества русско-турецкой дружбы.

— Позвольте, я вовсе не хочу состоять в этих обществах.

— Вас никто не приневоливает, — возражали мне, — общества добровольные... Но тем самым, что вы поступили на наш завод, вы записались и во все эти общества. Вы заполняли анкеты.

Мне пришлось сознаться, что анкеты заполнял, не читая заголовков.

— Ну, а теперь вы не можете отказаться.

Спорить было бесполезно: остающихся денег мне при моих скромных потребностях будет достаточно. Но как живут рабочие, получающие тридцать рублей? Десять рублей? — ведь есть

и такие! Наконец, классовая ставка за жилплощадь поглощает последние гроши — поневоле добровольно превратишь восьмичасовой день в шестнадцатичасовой и еще будешь радоваться возможности подработать.

При заводе была школа для детей «рабочих». В этой школе бесплатно обучались дети высшей администрации завода, а буржуазия, то есть рабочие, должны были платить за обучение своих детей. Из каких средств? Понятно, дети рабочих (настоящих рабочих) росли неграмотными, и только время от времени неграмотность их ликвидировалась особыми отрядами учителей, на содержание которых и делались вычеты из скудного жалования рабочих. При заводе был клуб, где читались лекции по толитграмоте, но заманить туда рабочих было невозможно: они предпочитали пивные, где и оставляли до половины заработка. Около пивных в рабочих районах частенько происходили драки, в дело вмешивалась полиция и отводила виновных в участок.

Как мало я знал, сидя в дорогом ресторане и разговаривая с Витманом о торжестве социализма!

Весь опыт старого подпольщика я мог применить здесь.

Прежде всего мне нужны были сообщники. В первый же воскресный вечер я затащил к себе Алексея. Он оказался чрезвычайно понятливым мальчиком, он был молод, сердце его еще не очерствело, и он был способен на самопожертвование — чего еще можно было желать? Я сравнил свое положение относительно Алексея с положением Коршунова в отношении меня: так же, как когда-то Коршунову, мне приходилось охлаждать безрассудные порывы Алексея.

Но одного помощника было маловато. Надо было привлечь новых сторонников, предпочтительно занимающих одно положение со мной: прямо идти в низы было опасно.

Случай скоро представился, так как дом, в котором я поселился, был населен именно таким элементом.

Однажды вечером ко мне зашел сосед по квартире и попросил спичку: магазины закрыты, а он не успел запастись этим предметом первой необходимости. Возможно, что это был только предлог, тем более, что он остался у меня на целый вечер. Он оказался помощником бухгалтера нашего же завода.

Конечно, мы разговорились на общую для нас обоих тему — о заводской работе. Он жаловался на хамское отношение администрации, на вычеты, на обилие ничего не понимающего в делах начальства. Потом он перешел на заводские сплетни, рассказал о целом ряде злоупотреблений, происходящих на заводе:

— Мелкие попадают в печать, — сказал он, — а крупные никому не видны. Попробуй написать, тебя так взгреют, что до смерти не забудешь...

— А что же делают рабкоры?— спросил я.

— Когда они узнают о крупных «делишках»? Явятся к тому, кто в этом деле замешан, и получат с него порядочный куш... Ведь рабкоры сами принадлежат к высшей администрации.

Жаловался он и на заводские порядки:

— Шесть директоров приезжают каждый на два часа, и все никуда не годятся.

— А инженеры?

— Разве им дают работать?!

Из этого разговора я заключил одно: помощник бухгалтера недоволен. Наверное, недовольны и конторщики. Вероятно, недовольны инженеры. А недовольство — лучшая почва для моей агитации.

Я заикнулся было о положении рабочих, но помбухгалтера поморщился и так же, как когда-то директор, сказал:

— Ну что говорить об этих буржухах!

И принялся их ругать за грубость, невежество, пьянство.

— Мы же сами виноваты, — возразил я.

Вместо ответа он принялся ругать администрацию.

Дня через два я отдал ему визит и на этот раз застал у него целое общество: в гостях у него сидели двое инженеров, конторская барышня и двое молодых людей — по-видимому, родственники. При входе в квартиру я был поражен одним обстоятельством: на стене у него висела картина, изображающая ленинский расстрел, а в углу был маленький «Ленинский уголок».

Это была квартира номер девять в миниатюре.

## Двадцать пятая глава

### Замы

Это странное название носят независимые в силу своих знаний люди, которыми дорожат и за которыми иногда ухаживают. Оба инженера были *замдиректорами* — в сущности, фактическими заправилами нашего завода.

Здесь придется сделать небольшое отступление. Когда вы попадете на фабрику, на завод, в учреждение, где от служащего требуются специальные познания, то там вы не найдете инженера, мастера, заведующего и так далее: вы найдете заминженера, заммастера, замзава. Должности семнадцатого разряда замещались исключительно рабочими, получившими образование в объеме курса политграмоты, — естественно, что они никуда не годились на этих должностях, и им в помощь назначались специалисты, носившие наименование замы. Заведующие являлись только комиссарами, контролирующими, а чаще всего лишь тормозящими работу этих замы. Насколько была рациональна подобная организация, вы увидите после.

Возвращаясь к рассказу. Когда я пришел, вечеринка была в



полном разгаре, и вино уже успело произвести свое действие на языки гостей.

— А, мертвец!— закричал помощник бухгалтера.— Имею честь представить существо, вылезшее из могилы. Вы не поверите — ему шестьдесят семь лет.

— Что вы? Неужели?

Я сразу стал центром внимания.

— Это вам двадцать раз вырывали ноздри?— спросил один из гостей.

Я смутился:

— Чепуха! Ничего этого не было!

— Мы отлично понимаем, отлично,— ответил толстенный инженер в очках,— мы ведь тоже немножко знакомы с историей.

И тут же начали ругать правительство. Я по опыту знал, к чему могут привести подобные разговоры.

— Да вы не беспокойтесь,— сказали они, заметив мое смущение,— мы здесь в своей компании. Шпионов нет.

— Кого они хотят обмануть? Народ? Западную Европу?

— Сказки для детей младшего возраста!

Потом перешли к заводским порядкам и особенно обрушились на директоров:

— Сидели бы дома, получали жалованье...

— А разве на одно жалованье проживешь?

— Они работают два часа, а вот один ухитрился ускользнуть от контроля и проводил на заводе не больше пяти минут. Так вот, когда ему сказали, что он вводит завод в убыток, знаете, что он ответил? «Если бы я сидел на заводе два часа, было бы еще больше убытку».

— Верно! Они только разрушают дело! Возьмем хотя бы у нас...

Инженер в очках начал перечислять причины, от которых разрушается дело. Я не буду вдаваться в подробности, но он насчитал около десятка таких промахов, каждый из которых в наше время довел бы предприятие до банкротства. Я удивился:

— Почему же все-таки завод сводит концы с концами?

— Отсутствие конкуренции. Ведь ввоз из-за границы запрещен.

— Запрещен?— удивился я.— А ведь мне говорили, что он теперь просто не нужен.

— Ну да, не нужен!— засмеялись все.— Да вы с луны, что ли, свалились? Ах, да ведь вы выходец из могилы!

И опять все бесцеремонно захохотали. Не знаю, верили они мне или считали ловким шарлатаном. Во всяком случае эти люди были не так настроены, чтобы верить чему бы то ни было. Они были полны самой бесшабашной иронии.

— Но если вы видите недостатки, почему не стремитесь исправить? Ведь многое зависит от вас?

— Очень нужно!— ответил один инженер.

— Попробуйте!— возразил другой.

За попытки вмешаться в управление некоторые слишком беспокойные люди были сосланы в очень отдаленные места — «ловить рыбку», как выражались инженеры.

— А мы предпочитаем ловить рыбу в мутной воде,— сострил помбухгалтера, кладя на тарелку кусок осетрины.

Может быть, в его шутке больше правды, чем кажется ему самому. Ведь все покупки, все распоряжения администрации, все, наконец, злоупотребления происходят не без их участия. Они виноваты во многом. В таком, приблизительно, смысле я высказался в ответ на замечания моих собеседников. Толстый инженер принял серьезный тон:

— Не так опасно украсть,— сказал он,— как опасно возразить директору.

Так было и при старом режиме, с тою лишь разницей, что тогда директор понимал кое-что и притом был заинтересован в благосостоянии предприятия. Теперь другое: директора отбывают повинность, инженеры — тоже, ну, а рабочие — рабочие, как и прежде.— только живые машины, о которых заботятся много меньше, чем о машинах неживых.

— Вот если бы мы... Вот если бы я...

Таким припевом кончались разговоры спецов.

Интересно знать, перейдут ли эти люди от разговоров к делу, примирились они со своим положением или нет. Я закинул удочку:

— Меня очень удивило то обстоятельство,— сказал я,— что рабочие поставлены в невозможные условия. Неужели мы не можем им чем-нибудь помочь?.. А тогда они помогли бы нам...

Удочка была закинута именно туда, куда нужно. Несмотря на то, что гости достаточно выпили, они подошли к вопросу очень серьезно. Водворилось молчание. Потом инженер в очках неуверенно сказал:

— Но ведь они абсолютно бессознательны.

— Они забиты и запуганы,— подтвердил другой инженер,— они ненавидят всех, кто устроился лучше их...

— Мы можем поделиться с ними своими знаниями,— возразил я.

Мое предложение вызвало длинные разговоры. Конечно, все соглашались, но, с другой стороны, боялись рисковать. Из этих разговоров я понял, что моим собеседникам не улыбалось спуститься вниз по социальной лестнице.

— А все-таки их можно использовать — до поры до времени,— решил я. Конечно, они попытаются оседлать движение,

как только оно возникнет, но тогда их можно будет и осадить. Чтобы не терять удобного момента, я предложил им завтра же начать действовать: организовать просветительское общество и устроить в рабочем клубе ряд лекций. Они согласились.

— Но ведь нас заставят проповедовать политграмоту!

— Чем же нам повредит политграмота? Даже она, если ее хорошо усвоить, повышает культурный уровень,— возразил я.

Серьезного желания работать я не заметил ни у одного из присутствовавших на вечеринке. Только толстый инженер после ужина, развалившись в кресле, сказал мне:

— Если вы серьезно, то мы вам поможем... Начинайте...

Плотно покушавший человек всегда настроен филантропически.

Но для моей цели большего не требовалось. Для замов я свой человек, и если они не помогут, то во всяком случае не будут мешать. А культурно-просветительная работа в клубе станет ширмой для моей политической деятельности.

## Двадцать шестая глава

### Первые шаги

Я правильно учел положение, выбрав клуб центром своей деятельности. Это было учреждение, уже однажды проделавшее огромную работу, но замершее на время в связи с общим окаменением государственного строя. Что происходило в фабричном клубе? Такие же богослужения, как и в любом другом, с той разницей, что сюда насильно сгонялись рабочие. Скучнейшая проповедь на непонятном для рабочего языке— я и забыл сказать, что проповедники говорили на особом языке — странной смеси русского с латинским. Между прочим, этот язык употребляли и в газетах, на торжественных заседаниях, общих собраниях, где опять-таки не произносилось ни одного живого слова. Вполне понятно, что в клуб никто не ходил — в пивной было интересней и веселее.

Что мне оставалось делать? Влить жизнь в омертвевшее тело полезного учреждения.

Из переговоров с администрацией я выяснил, что препятствий не будет: только мои лекции не должны выходить за пределы курса политграмоты. Требовали сначала, чтобы я буквально повторял тексты катехизиса, но мне удалось отстоять самостоятельность изложения.

— Ведь усвоение марксизма,— доказывал я,— приведет только к укреплению существующего порядка. Есть скрытое недозволение: многие не понимают, что они живут в совершеннейшем из государств...

Одним словом, я убедил администраторов, приведя несколько цитат из катехизиса. Мне оказало большую пользу их благо-

говение перед цитатами. Стоило только подкрепить свою мысль ссылкой на катехизис, как лица администраторов вытягивались, они постно улыбались — и дело в шляпе. Лица, которые могли повредить — замы — были на моей стороне.

Первая лекция — о классовом строении общества. Слушателей собрать было нелегко. Администрация предложила издать приказ, но в моих интересах было видеть на лекции только действительно интересующихся: пусть придут двое, зато я не буду видеть перед собой сонные физиономии отбывающих скучную повинность.

Собралось не двое, а около сорока человек. Не знаю, в чем дело, но, вероятно, тут повлияла моя репутация: я в противоположность многим своим товарищам не ругался, не придирался к мелочам, держал себя с рабочими, как свой человек, и вскоре заслужил хорошее отношение мастерской. Моя мастерская и была, главным образом, представлена на лекции. Присутствовал также политрук завода и даже — минут пять — один из директоров.

Я так построил свою речь, что придраться было не к чему: это была обычная клубная проповедь, но изложенная понятными словами. Рабочие слушали меня с интересом и, расходясь, оживленно беседовали между собою.

Я понял, что план мой удался: мысль была разбужена. На следующей лекции было уже человек пятьдесят, а на третьей мне пришлось перенести собрание в мастерские.

После четвертой лекции некоторые из рабочих подошли ко мне и выразили желание задать мне несколько вопросов. Я согласился, но предупредил, что в клубе задавать вопросы неуместно, а если они хотят поговорить со мной, пусть приходят ко мне на квартиру. В следующее же воскресенье у меня состоялось первое рабочее собрание, на котором я начал настоящую пропаганду. Дело в том, что первым вопросом, смутившим моих слушателей, был такой:

— Сказано, что власть принадлежит трудящимся, а вот они трудящиеся — и...

А уж если появился такой вопрос — мое дело в шляпе. Я раскрыл рабочим хитрую механику правящего класса, подмену понятий «рабочий» и «труд», подмену класса сословием. Это для всех было открытием. Они научились по-новому понимать официальную терминологию, и мне оставалось только указать литературу и посоветовать почаще посещать клуб.

У меня было чрезвычайно выигрышное положение: мне не приходилось печатать прокламаций — прокламации частью продавались в магазинах, частью даже раздавались даром самим правительством. Несколько тысяч учебников политграмоты были присланы по моему требованию бесплатно. Мои помощники вели деятельную пропаганду в мастерских, в пивных, в рабочих

семьях. Скоро я стал получать сведения о возникавших тут и там ячейках, и уже приходилось обдумывать план создания настоящей рабочей партии.

Сравнивая подпольную работу с прежней, я каждый день убеждался, что теперь вести ее значительно легче. На помощь мне приходила государственная организация, хранившая все необходимые для меня элементы в зачаточном или замершем виде. Партийная ячейка, профессиональный союз, завком, делегаты — все эти учреждения надо было только наполнить новым содержанием. Я покамест развертывал на своем заводе сеть параллельных учреждений, поджидая того дня, когда они займут надлежащее место.

Созданные мной учреждения не имели никакой власти, но зато пользовались большим моральным авторитетом. На них смотрели с надеждой, к ним обращались во всех затруднительных случаях. Мне уже приходилось сдерживать тягу к немедленному выступлению, которую я замечал у многих своих последователей, в частности, у Алексея; он так и рвался в бой. Момент еще не наступил. И притом я решил первое выступление сделать в легальной форме, благо это представлялось возможным.

Нужно было найти и внешние символы движения; я остановился на красном флаге, лишенном золотых украшений, тем более, что политграмма рекомендовала как раз такой флаг. Нужен был и гимн — но так как напев «Интернационала» был достаточно неприятен по ассоциации с торжественным богослужением, я выбрал мотив одной запрещенной в то время песни — «Сухой бы я корочкой питалась», — она была запрещена как мещанская. На этот мотив распевались слова, написанные моим приятелем поэтом, которого я скоро втянул в активную работу.

Несмотря на колоссальную работу, сделанную мною в течение нескольких месяцев, я посещал Мэри еще чаще, чем прежде. Я старался всячески втянуть ее в работу, я поручил ей организацию золотошвеек, но мои старания не увенчались успехом. Или она боялась, или была слишком погружена в старое, слишком полна предрассудков — окончательного суждения высказать не решаюсь. Но и она не оставалась пассивной: были минуты, когда она умела ненавидеть, были минуты, когда она пошла бы на самый рискованный шаг. Она даже предложила проект уничтожения отдельных представителей высшего класса общества, с тем чтобы навести панику на остальных, но, конечно, это предложение не выдерживало критики, и я отказался от него. Во всяком случае эту женщину можно было использовать в решительный момент, она была у меня на учете.

Собираясь в ее квартире то втроем, то вчетвером, то впяте-

ром — я говорю об Алексее, которого я сам познакомил с Мэри, — мы мало говорили о нашем деле, а при философе совсем не говорили. Я помнил его отношение к моему предприятию и несколько побаивался его.

Не могу не рассказать еще об одном эпизоде.

Однажды мы вышли на прогулку. Все разбрелись по лесу, а мы с Мэри остались вдвоем. Дело было в лесу, неподалеку от Парголова, — в этом лесу в старое время происходили митинги и массовки. Я был полон воспоминаний и восторженно делился ими с Мэри. У нее тоже было необычное настроение. Как это произошло, я не помню, но мы взялись за руки и долго шли куда глаза глядят, пока не увидели перед собой обрыв, покрытый заросшими могилами, и серебряное вечернее озеро, над которым носились белые чайки. Мы присели на могильную плиту и долго любовались открывшимся перед нами видом. Она утомилась дальним путешествием и положила голову на мое плечо. Я не мог пошевелиться, так мы просидели в полном молчании до утра.

Но то, что произошло, казалось нам обоим таким важным, таким особенным, что для меня вся жизнь разделилась на две половины: до этого вечера и после. Надо ли говорить, что я простил ей равнодушие к моему делу, ее неспособность к активной работе — все, все. И притом — надо ли говорить об этом — я был счастлив. Я пел в моей мастерской, мне казалось, что я не хожу, а плыву над землей.

На другой день после работы я, конечно, поспешил к ней.

## Двадцать седьмая глава

### Несчастье

Обстоятельства помешали мне выполнить мое намерение. Выйдя из дому, я встретился у ворот — с кем бы вы думали — с Витманом.

Он по-прежнему носил монокль и по-прежнему безбожно картавил. Я был в таком настроении, что обрадовался даже Витману.

— У меня к вам очень важное дело, — сказал он без лишних предисловий и предложил проехать за город. Я пытался было отказаться, но он настаивал. Пришлось согласиться.

Мы ужинали в отдельном кабинете вновь выстроенного на Поклонной горе ресторана, и Витман очень заботился о том, чтобы я больше пил шампанского. Эта заботливость показалась мне странной, и я нарочно воздерживался, зная по опыту, что с этим человеком надо держать ухо востро.

После ужина мы приступили к деловому разговору.

— До нас дошли сведения о волнении среди буржуазии, — начал он.

Я насторожился. Если бы я был пьян — при этих словах хмель вылетел бы из моей головы.

— В чем дело, мы в точности не знаем, но на некоторых заводах они начинают слишком много разговаривать, и даже была одна попытка устроить забастовку. Вы понимаете, что это недопустимо. Ведь все завоевания революции могут пойти на смарку...

Я сделал вид, что в первый раз слышу о волнениях, тем более что на «Новом Айвазе» никаких выступлений не было.

— Неужели?— спросил я.— Чего же хотят эти кровопийцы?

— Я не знаю, чего они хотят,— пробурчал Витман, вероятно, он полагал, что я выдам себя, и был недоволен моим слишком правдоверным ответом,— но дело угрожает стать серьезным и потребует напряжения всего аппарата.

Потом он начал говорить о преимуществах положения в высшем обществе, расспрашивал, как я живу, вспомнил даже о Мэри.

— Она очень хорошая девушка,— сказал он,— и ей можно выхлопотать прощение. Государство великодушно и умеет прощать даже своих врагов, если они раскаются...

Он хотел сказать, что государство способно пойти на уступки. Нет! Я знаю цену уступкам.

Но он подошел к делу с неожиданной для меня стороны:

— Не согласились бы вы,— неуверенно начал он,— я знаю, что вы пользуетесь некоторой популярностью. Не согласились бы вы...

Сущность его предложения была до того возмутительна, что я не привожу даже его подлинных выражений.

— Неужели вы хотите, чтобы я стал провокатором?— закричал я.

— Провокатором?— удивился он.— Я предлагаю вам должность корреспондента...

Конечно, я наотрез отказался. Как отнесся к этому Витман, не знаю. Он тотчас же перевел разговор на другую тему, но все-таки успел сообщить, что именно он является организатором целой сети корреспондентов, называющихся *буркорами*,— они должны осведомлять правительство о состоянии умов буржуазии и мещан. Конечно, это была очень важная новость, так как до сих пор корреспонденты следили только за действиями членов высшего класса.

Воспользуюсь случаем, чтобы объяснить одну особенность государственного аппарата, отлаженностью которого хвастал Витман в первое время нашего знакомства. Аппарат действительно был отлажен великолепно, но это был хороший механизм — и только. Отличительная особенность каждого механизма — действовать в одном направлении — была свойственна и этому аппарату. Он с невероятным успехом мог следить за чистотой

идеологии высшего класса, он мог вести борьбу с примазавшимися, мог даже препятствовать проявлению свободного мышления, но средний и тем более низший класс были вне сферы действия этого аппарата. Для пресечения преступлений достаточно было милиции и гешеу; проявлений политической активности низших классов не замечалось в течение тридцати лет, и мало-помалу классы эти ускользнули из-под бдительного надзора. Надо было наверстать потерянное, надо было всякими правдами и неправдами привлечь провокаторов из враждебного лагеря. Я оценил по достоинству государственный ум правителей и кое-что намотал себе на ус.

Расстался я с Витманом дружески и даже обещал изредка заходить к нему. По-видимому, запрещение знаться с лицами низших классов было временно отменено.

Я чувствовал, что золотое время движения проходит. Следовало сейчас же выступить решительно и открыто, или в дальнейшем работа столкнется с непреодолимыми трудностями... Но подготовка! Как можно выступить сегодня — ведь это верный провал...

Вернулся домой я очень поздно и к Мэри не пошел, отложив визит до завтра. Утром, выходя на работу, я увидел в окне магазина книжку стихов моего друга-поэта и намеревался весь вечер провести вместе с Мэри за чтением этой изумительной книги.

После работы я, не заходя домой, поспешил к Мэри. День был пасмурный, дорога грязная — это несколько понизило мое настроение. Но все-таки то, что я узнал, как громом поразило меня.

— Он умер! — закричала она, увидев меня. Я в изумлении остановился. Мэри плакала, ломая руки.

— Он умер! Он умер! — кричала она.

— Кто умер?

Она не могла ответить и только бросила мне такую же книгу, какая была в моих руках. Я понял все.

— Когда? Как? — спрашивал я.

Из слов взволнованной девушки я узнал, что вчера вечером поэт получил книгу, читал ее, запершись в своей комнате, потом долго ходил взад и вперед, а наутро его нашли повесившимся. Ни записок, ни писем он не оставил.

Прочитав несколько стихотворений, я понял все: он не мог вынести надругательства над своим искусством. Книгу так изуродовали, что некоторых стихотворений нельзя было узнать.

Конечно, причина вполне уважительная, но я не понимал его до конца. Разве так был поступил я? Никогда! Я только бы с удвоенной энергией продолжал борьбу. Он был членом нашей организации, и его самоубийство просто преступно. Это малодушие! Может быть, читатель обвинит меня в черствости, но у



меня возникла и такая мысль: не лучше ли для нашего дела, если поэты не будут участвовать в нем?

Что можно было ответить взволнованной и плачущей Мэри? Я ничего не мог сказать, кроме:

— Нет, мы этого так не оставим!

— Что же вы сделаете?— сквозь слезы спросила она.

— Будем бороться!

Она посмотрела на меня с восхищением и вместе с тем — с жалостью. Кого она больше любила — его или меня? Но этот вопрос был неуместен после трагической смерти соперника.

Скоро пришел старый философ и долго утешал Мэри, говоря, и очень длинно, о покорности судьбе, о преступности самоубийства и т. д. После его ухода Мэри сказала:

— Будьте осторожнее с Фетисовым (так звали философа).

— Почему?— удивился я.

— Не знаю почему... Он начал очень мертво говорить.

Девушка инстинктивно чувствовала что-то неладное. У меня не было никаких оснований подозревать старика в чем-либо, но я поспешил согласиться с Мэри. Люди, привыкшие к опасности и риску, склонны к суевериям, и я не представлял исключения.

## Двадцать восьмая глава

### Общее собрание

Трагическое событие только ускорило развязку — оно явилось толчком к более энергичной работе по подготовке решительного выступления. Я не буду переоценивать своей роли в начавшемся движении: в дальнейшем оно развертывалось стихийно, и моя роль в последнее время была скорее сдерживающей, чем возбуждающей. До меня каждый день доходили слухи о возникновении новых ячеек, тут и там вспыхивали частичные забастовки, мне приходилось предостерегать, останавливать, уговаривать беречь силы для общей и решительной схватки.

На заводе мою политику истолковали по-своему.

— Вы знаете, что говорят о вас,— сказал мне как-то Алексей,— что вы — агент правительства!

Это возмутило меня. После того, что я сделал для них, они не верят мне.

— Говорят, что вы подсланы от правительства со специальной целью. Они вправе не верить вам, так как вы — выходец из их класса...

О, этот проклятый катехизис! Не сделал ли я ошибки, дав его рабочим в неизменном виде? Он научил их видеть своего врага, но и сделал способными видеть врага в каждом, принадлежавшем не к их классу.

Хорошенько обдумав вопрос, я сказал:

— Что же, — надо начинать действовать...

Алексей обрадовался. Мы обсудили положение и выбрали момент, который считали наиболее удобным.

Каждый год на заводе происходили выборы: завкома, делегатов (то есть сборщиков всяческих «добровольных» взносов), депутатов в советы и т. д. Заседания эти выродились в своего рода молебен с проповедью. Приезжал инструктор, торжественно открывал собрание «Интернационалом» и речью, затем оглашался список намеченных ячейкой товарищей, инструктор торжественно провозглашал:

— Кто против?

Против никто не высказывался, и собрание так же торжественно закрывалось. Одним словом, это была столько же торжественная, сколько и ненужная процедура.

На таком собрании мы и решили провести первое сражение. Мы раздобыли текст никем не отмененной конституции, в которой черным по белому было сказано, что избирательным правом пользуются все граждане, не опороченные происхождением от бывшего царского дома, кроме священников и лиц, эксплуатирующих наемный труд. Только давление со стороны господствующего класса сделало так, что на выборное собрание не являлся никто, кроме членов высшей администрации, — теперь же настало время восстановить свободные выборы.

Мы с Алексеем наметили список кандидатов во главе с товарищем Алексеем — свою кандидатуру я не решился предложить, зная недоверие ко мне со стороны некоторой части рабочих; а с другой стороны, не желая показывать администрации, что я являюсь главой оппозиции, что до сих пор мне удавалось скрывать. Рабочие были предупреждены о выборах, и в день торжества скромное помещение заводского клуба было переполнено.

Тысяча избирателей — это было неожиданностью для администрации. Предчувствуя что-то неладное, избирательная комиссия затянула проверку списков, рассчитывая на то, что рабочие разойдутся по домам. Но рабочие держались крепко. Часть их, исключенная под разными предлогами, разошлась по домам: наших сторонников было так много, что мы решили не возражать и соглашались во всем с мнением избирательной комиссии.

Заслушан доклад. Оглашен список кандидатов.

И вот произошло событие, какого, может быть, тридцать лет не видели стены клуба: один из рабочих потребовал слова.

Избирательная комиссия в замешательстве. Продолжительное совещание, шепот, переговоры, тревожные звонки телефонов.

Слово дано.

— Мы не знаем ни одного из предложенных вами кандида-

тов, — говорит рабочий, — я предлагаю выбрать из нашей среды человека, который бы защищал наши интересы.

И он огласил список во главе с товарищем Алексеем.

Я ликовал.

Президиум не ожидал подобного выступления. Один из кандидатов избирательной комиссии заявил, что все они из рабочей среды и что чистота их пролетарского происхождения удостоверяется метриками, выданными загсом Ленинградской стороны.

В ответ — громкий смех. Президиум объявил перерыв и полчаса совещался. Зал гудел, как улей. Я видел единодушие рабочих, вера моя окрепла.

Снова открыто собрание. Президиум пытается отвести наших кандидатов, но они удовлетворяют условиям закона. Надо приступить к голосованию.

— Кто за? — произнес председатель, назвав имена кандидатов избирательной комиссии.

Руки поднялись только за столом президиума. Десять голосов.

— Кто против?

Лес поднятых рук. Зал торжествует. Председатель спокойно подсчитывает голоса.

— Девятьсот сорок семь.

И несколько не смутившись, объявляет:

— Кандидат избирательной комиссии избран большинством десяти голосов против девятисот сорока семи.

Шум, топот, свистки. Президиум торопливо собирает бумаги.

— Голосуйте наших кандидатов!

— Не признаем выборов. Насилие!

— Алексея! — кричала толпа.

Президиум опять удалился на совещание и появился только через полчаса.

— Так как собрание недовольно выборами, мы проведем повторное голосование. Голосуется кандидат избирательной комиссии...

И опять тот же результат: десять за и девятьсот сорок семь против.

— Кандидат избирательной комиссии считается избранным, — заявляет председатель.

Крики, свистки. Их перекрывает голос одного из членов комиссии:

— Девятьсот сорок семь человек по постановлению комиссии лишены избирательных прав... за то, что отказались голосовать за...

Что тут было! Толпа ринулась к трибуне. Одна минута, и произошла бы жестокая схватка, а вслед за ней кровавая расправа. Надо было водворить порядок. Я вышел на трибуну:

— Товарищи, спокойствие! Выборы будут обжалованы и отменены.

Опять поднялся крик. Кто-то кричал мне:

— Изменник!

Я спокойно стоял на трибуне. Я знал, что никто не посмеет выступить против меня. Моя выдержка помогла, собрание понемногу утихомирилось и приняло предложенный мною протест. Расходились все возбужденные и обозленные, а я в глубине души радовался, потому что такое настроение обещало быстрый успех.

С другой стороны, мною были довольны и члены президиума: я нашел выход из тяжелого положения. Не желая разочаровывать их, я с достоинством принял благодарность.

В тот же день заседание подпольной ячейки решило готовиться к активному выступлению и назначило день — первое мая. «Все легальные пути использованы,— говорилось в выпущенном в тот день воззвании,— остается возложить ответственность за будущую кровь на правящий класс, а самим готовиться к борьбе и — победить или умереть».

Я сам ни на минуту не сомневался в успехе.

Оставалось только порадовать Мэри, и я отправился к ней.

## Двадцать девятая глава

### Я разговариваю с философом

Несмотря на позднее время, Мэри не было дома. В последнее время она все чаще стала надолго пропадать из дому; я заметил это после трагической гибели поэта. Куда скрывалась она, где проводила время, я не знал, а выспрашивать не решался.

В ее комнате я застал Фетисова. От нечего делать мы завели ничего не значащий разговор, перешедший на политические темы. Я проговорился и рассказал кое-что о происходившем на заводе собрании, стараясь в то же время скрыть свое отношение к этому выступлению: предупреждение Мэри заставило меня быть осторожным с этим человеком. Но старик отлично знал мою роль — я заметил это по легкой снисходительной улыбке, с которой он выслушивал меня.

«Неужели он следит за мной?» — подумал я и содрогнулся. Внушительный вид философа рассеял мои сомнения — мудрец не может быть шпионом.

Случилось так, что мы не дождались Мэри, и Фетисов предложил проводить меня. Предчувствуя серьезный разговор, я согласился.

— Как обстоят дела в вашей партии? — прямо спросил он, когда мы вошли в парк. Я испугался — мне казалось, что о партии знают только наиболее близкие товарищи.

— Я не знаю, о чем вы говорите, — ответил я.

— Мы уже однажды говорили с вами об этом,— напомнил он таким тоном, что мне стало стыдно: я пытался что-то скрыть от человека, который первым откликнулся на мою проповедь.

— Я знаю, что ваше дело зашло далеко... Но, может быть, вы все-таки оставите его... Еще есть время...

— Нет, я не оставляю этого дела,— ответил я.

— Напрасно. Вот о чем я хотел поговорить с вами: верите ли вы, что разбуженная вами масса пойдет с вами до конца?

Он попал как раз в точку. Этот вопрос я сам не раз задавал себе, особенно с тех пор, как у рабочих зародилось неверие ко мне. Но все-таки я твердо ответил:

— Думаю, что пойдет до конца.

— А уверены ли вы в том, что они хотят того же, чего хотите вы?

— Странный вопрос. У нас с ними общее дело, мы боремся за справедливость...

Горькая усмешка промелькнула на лице старика:

— Справедливость. Сколько раз на своем веку я слышал о справедливости. И чем кончилось?

Несколько минут мы шли молча. Погруженный в глубокое размышление, он казался старше своих, достаточно преклонных лет: казалось, тысячелетняя дума застыла на его покрытом морщинами лице.

— Справедливость... Разве *они* борются за справедливость? Предложи любому из них обеспеченное положение, и все они отрекутся от вас. Если бы правительство сейчас смогло всех подкупить, разве кто-нибудь остался бы с вами?.. И, наконец, вы сами, что вы внушаете им? Чувство справедливости? Нет! Вы внушаете им чувство зависти, вы заставляете их ненавидеть друг друга. Злоба рождает злобу, ненависть растет, и самая полная победа будет торжеством самой злой, самой отчаянной ненависти...

— Конечно, я должен внушать им ненависть к врагу,— ответил я,— но когда будет уничтожен враг, не останется места для ненависти.

— Так вы думаете,— возразил философ,— а вы уверены в том, что устроенный вами порядок всех удовлетворит? А если нет — разве вам не придется держать часть населения в подчинении?

— Временно — да.

— Старая Россия сотни лет управлялась временными законами. Нет, научив людей видеть в других людях врагов, вы уже ничем не вытравите этого чувства. Победивший класс будет дрожать за свою власть, он побоится кого-нибудь близко подпустить к власти. Он закрепит свои права навеки — возникнет словие, а вместе с ним все то, что вы видите вокруг себя...

Я видел, куда гнет старик: слишком понятна мне эта философия, заменившая образованным людям религиозный дурман. Утешиться в мысли о неизбежности существующего, что проповедует он. Или он, как новый Христос, хочет выступить с проповедью любви? Тогда бы он был со мною, а вместо этого он пишет дрянные брошюры, оправдывающие нынешнее положение вещей.

Послушать такого человека — он передовой из передовых. Я, старый революционер и подпольщик, щенок перед его радикализмом. А на деле? На деле он весь насквозь пропитан моралью господствующего класса, на деле он — лучший слуга буржуазии, как бы эта буржуазия ни называлась!

Нет, на его удочку я не поддамся.

— Что же вы предлагаете?— в упор спросил я.

Он мог ответить только длинной тирадой о том, что буржуазия — понятие психологическое, что борьба классов — вздор.

— Я помню,— сказал он,— когда революция победила на всех фронтах, когда рабочий класс торжественно праздновал победу,— вдруг оказалось, что буржуазия, которую, казалось, уничтожили, так сильна, что устами рабочих требует себе некоторых прав. А дальше — больше: буржуазия получила высшую власть и правит от имени рабочих. Вас ожидает то же, если вы не начнете постепенно перевоспитывать массы. Но можно ли перевоспитать их?

Я понял, к чему он клонит. Но когда подобные учения приводили к реальным результатам? Никогда. Проповедь Христа — разве она не выродилась так же, как, по словам Фетисова, может выродиться наше движение?

Мы расстались друзьями, но этот разговор убедил меня лишь в том, что я стою на правильном пути. Только стремление мещанина оправдать свое равнодушие к борьбе угнетенных масс говорит языком подобных людей. А если дело пойдет о покушении на их право? О, тогда они заговорят при помощи пушек!

Пусть он искренно желает мне добра, советуя отказаться от дела всей моей жизни,— спасибо.

Разрешите не послушать вас, господин Философ!

## Тридцатая глава

### Накануне

Разговор с философом отвлек меня, но только я расстался с ним на крыльце своего дома, как опять мною овладело беспокойство за Мэри. Где она? Что с ней? Я поступил как мальчишка: проследил, что философ пошел не в ту сторону, где живет она, и побежал назад.

В комнате Мэри светился огонь. Я тихонько постучал в ок-

но — она не спит. Она подошла к окну, увидев меня, не обрадовалась, нет, а как будто испугалась. Но это только на миг. Радостная улыбка, она открывает дверь.

— Мэри, вы что-то скрываете от меня?

Она спряталась куда-то глубоко-глубоко — так прятаться умеют только женщины:

— Я ничего не скрываю от вас.

И стала расспрашивать меня о моей работе. Какая великая дипломатка жила в этой скромной и беззащитной, казалось, женщине. Она знала, чем отвлечь меня от расспросов. Я, конечно, увлекся, рассказывая о собрании на заводе, и забыл о том, с чего начался разговор.

Трудно начало. Камень, лежащий на вершине горы, трудно сдвинуть с места, но если уж мы придали ему движение, он будет лететь с неудержимой силой, и его тяжесть будет только ускорять его движение. Трудно было разбудить сознание в первом десятке рабочих — а теперь, я уверен, только горсточка охранников и полицейских останется на стороне правящего класса в решительный момент.

Через месяц после разговора с философом, который, кстати сказать, все ближе и ближе сходил к мною и даже выполнял некоторые мои поручения, вышел первый номер подпольной газеты.

Технически она была выполнена плохо, но зато содержание! Она называла все вещи своими именами. Это было не так уж мало, когда правительство больше всего боялось именно правды. Мы втихомолку запасались оружием, а я, углубившись в старинные — эпохи великой революции — книги, учился революционной стратегии и тактике ее великих вождей.

План был простой: это была операция, рассчитанная на неожиданный натиск: мы захватываем пункты, в которых сосредоточено оружие, арестуем правительство, а дальше все идет как по маслу: войска не поддержат правительство, которое не способно само защитить себя.

И, как мне казалось, обстоятельства благоприятствовали нам. Правительство слепо и глухо. Отсутствие малейших репрессий, отсутствие намека на наше движение в официальной прессе, полное бездействие коллегии корреспондентов, организация которых была поручена Витману. Не было сомнений, что наше выступление ударит как гром с ясного неба и сметет все препятствия на пути к свободе.

Единственным человеком, не верившим в успех, была Мэри. Когда я, увлекаясь, излагал ей свои планы, она не радовалась, а грустно покачивала головой.

— Я не понимаю,— говорила она,— почему правительство не действует?

— Машина неповоротлива,— объяснял я.— Подождем,

встретить врага никогда не поздно. Я доволен, что мы сумели уклониться от преждевременной схватки.

Она опять недоверчиво покачала головой:

— Ой ли! А может быть, оно уклоняется от схватки?

Она с грустью смотрела на меня. Казалось, она старается запомнить мое лицо, мой голос. И грусть невольно подчиняла меня, уничтожала охватившую меня радость.

— Уедем отсюда! Бежим!

Ну, этого-то я от нее не ожидал. Бежать накануне сражения? Что скажут товарищи? Что станется с моим делом?

— А если я вам скажу,— голос ее звучал убедительно и твердо,— что нам и нашему делу грозит неминуемая гибель?

— Ну так что же? Мы погибнем!— просто ответил я. Мэри задумалась. Она несколько минут сидела лицом к окну, не шевелясь и не глядя на меня.

Но вот она взглянула на меня. Я поразился синему цвету ее глаз, их стальному решительному блеску.

— Мы остаемся.

Красивее женщины я не видел никогда в жизни. Я забыл нерешительность, обнял и поцеловал ее.

Этот разговор расстроил меня. Не знаю, чем объяснить, но слова девушки, ни на чем реальном, по-видимому, не основанные, навсегда убили во мне уверенность в успехе дела.

Но зато я был уверен в другом: в ее любви ко мне. И, странно, я не знал, что перевешивает — то или другое.

## Тридцать первая глава

### Мэри

Работа по подготовке выступления была в разгаре, когда нужно было совершиться неизбежному, и когда я в полной мере оценил, какую женщину мне довелось увидеть и полюбить накануне конца своей земной жизни.

То, что совершилось, по-моему, сильно помешало успеху нашего дела.

Я возвращался с массовой, устроенной нами в Парголовском лесу. Время было позднее, я хотел забежать к Мэри, с которой давно не виделся. Не дойдя до площади, носившей по старой памяти название «Круглый пруд» (пруд был давно засыпан),— я заметил необычайное оживление на прилегающих к Круглому пруду обычно весьма тихих улицах. Население, в большинстве рабочие, кучками ходили по улицам и вели тихий разговор. Когда я подходил к какой-либо из групп, разговор замолкал. Меня охватило беспокойство, я ускорил шаги.

Может быть, припасенное нами оружие заговорило раньше срока? Я больше всего боялся преждевременного выступления.

Круглый пруд. Остановка трамвая. Взволнованный газетчик



(я первый раз увидел газетчика на улице, обычно газеты разносились по домам) не своим голосом кричит:

— Жестокое убийство! Тайное общество! Буржуазия поднимает голову!

Я с трепетом развертывал газетный лист — с таким же трепетом, как незадолго перед тем подпольную газету. Волнение мое станет понятно, если читатель вспомнит, что официальные газеты обычно не содержали ни одной свежей новости.

«На Старопарголовском проспекте в проезжавший автомобиль брошена бомба. Убиты шофер и председатель коллегии корреспондентов товарищ Витман. Убийство произведено, вероятно, с целью грабежа, — успокаивала газета, — тем более, что из кармана убитого Витмана пропали весьма важные документы. Полиция ищет убийц».

Это известие потрясло меня. Таинственное убийство, бомба, пропажа документов — все это так напоминало мне события девятьсот пятого года, знаменитые экспроприации, совершаемые неуловимыми преступниками. И при этом в душе у меня зародилось смутное подозрение, которое заставило меня ускорить шаг и поспешить к Мэри.

Закутанная в платок, она стояла на крыльце и, казалось, ждала меня.

— Стойте! Я узнала все!

Она была расстроена, она была возбуждена. Я заметил, что руки ее дрожали.

Не знаю, чем объяснить, но я вместо всяких приветствий спросил:

— Мэри... ты?

Она отшатнулась от меня и, глядя в мои глаза, ответила:

— Я!

Вот что сделала эта, теперь непонятная мне, женщина. Несколько дней спустя после беседы со мной к ней заявился Витман. Надо ли говорить, что еще циничнее, чем мне, он предложил ей поступить к ним на службу. Она не согласилась. Он стал преследовать ее — и, наконец, она решилась на отчаянный шаг: выведать его план борьбы с начавшимся движением. Сколько хитрости, коварства, сколько умелой игры потребовалось для того, чтобы обмануть бдительность этого человека! Он уверял ее, что покамест борьба еще не началась, что они не могут наладить аппарат, что необходимо ее участие в деле. Она не сдавалась.

После разговора со мной, когда она твердо решила остаться, тогда же она решила силой вырвать у Витмана его план. Она носит в ридикюле бомбу, она выслеживает врага...

Остальное понятно.

Меня больше всего удивляло то, что она ни словом не проговорилась, и кому — самому близкому ей человеку:

Полиции на месте происшествия не было, разбитый автомобиль был найден на другой день после катастрофы, почью шел небольшой дождь — Мэри была в безопасности. Нужно было скорее разобрать украденные у Витмана бумаги и выяснить план врага. Только эти бумаги могли выдать Мэри. Я немедленно согласился взять их себе, а ей посоветовал на время уехать куда-нибудь, спрятаться от возможных преследований.

— Зачем, — просто ответила она, — я здесь буду нужнее.

Бумаги, отобранные у Витмана, были написаны каким-то неизвестным мне шифром, и разбор их пришлось отложить до его раскрытия. Я сам по вечерам работал над этими бумагами, так как звать специалиста было слишком рискованно.

Как повлияло это событие на рабочих? Одни осуждали, другие, наоборот, говорили, что террор вернее приведет к победе, чем путь, избранный мною. В движении стало намечаться два русла, и во главе второго стояла Мэри.

Какие меры приняло правительство по отношению к возможному повторению террористических актов, неизвестно. На другое же утро газеты как воды в рот набрали: ни одной строчки об убийстве Витмана, и только в отделе происшествий милиция сообщала, что на Старопарголовоком проспекте из-за плохого состояния дорог произошла катастрофа с автомобилем, в котором ехал студент Коммунистического университета Витман.

Пресса прикусила язык, и это обстоятельство меньше всего меня радовало.

## Тридцать вторая и последняя глава

### Первое мая

Двухнедельный срок подошел к концу. Мне осталось наскоро изложить события последних дней моей жизни.

Канун первого мая. Весеннее солнце и холодный ветер с Ладожского озера. Все подготовлено, все на своих местах.

И — острая возрастающая тревога.

Почему никто не арестован перед выступлением? Неужели мы сами идем в ловушку?

Такое дьявольское хладнокровие!

Трудно поверить, но я был бы обрадован, если бы получил известие об аресте лучших из своих товарищей: тишина была слишком подозрительной.

Днем я обошел весь город. Магазины открыты, нарядная публика спешит по домам. Как будто ничто не предвещает грозы.

На одной из центральных улиц я встретил Мэри.

— Я знаю все, все,— могла только проговорить она и поспешила скрыться.

Около двенадцати ночи — стук в дверь. Я открываю. Мэри стоит взволнованная, как и тогда, на улице.

— Скорее, я приготовила все, мы можем бежать...

Я удивился:

— Зачем бежать?

— Но ведь они все знают... Завтра — гибель!

Оказалось, она успела произвести сложнейшую разведку. Она проникла в солдатские казармы, в приемные высокопоставленных лиц, она прислушивалась к разговорам — и везде и всюду чувствовалась тщательно скрываемая тревога.

— Где бумаги Витмана?— спросила Мэри.

— Я ничего не могу разобрать.

— И не надо. Они знают, что эти бумаги в наших руках, и успели изменить план. Ничего не надо. Вот билеты, мы можем отменить выступление и бежать...

— Чтобы пострадали наши товарищи?— возразил я.

Этот аргумент убедил ее.

— Я должен быть на своем посту,— сказал я,— но думаю, что вам следует просидеть весь день дома.

— Ну что ж,— ответила она,— если так... прощай.

Я горячо поцеловал ее, и мы расстались.

Утром в обычное время я пошел на завод. Солнце ярко освещало уже выстроившиеся колонны, между которыми бегали распорядители с повязками на руках. Я знал, что у каждого под одеждой спрятано оружие.

Мы двинулись к центру. К нам присоединялись колонны с других фабрик. Поднять красное знамя, двинуться на правительственные здания... Таков был план.

Меня поразила тишина и безлюдие улиц. Все двери заперты, спущены занавески на окнах; где есть ставни — закрыты ставни. Высшая администрация не явилась.

Троицкий мост. Наша колонна поднимает красный флаг. Раздается стройное пение революционной песни. Я уже готов командовать — вдруг...

Выстрел с Петропавловской крепости. Облако дыма. Мост колеблется. Со стоном падают люди...

И больше я ничего не помню.

Вероятно, меня подобрали на улице и отвезли в лазарет. Сиделка не ответила ни на один из моих вопросов.

Мучительная неизвестность продолжалась до того момента, пока меня не вызвали к следователю. За столом я, к удивлению моему, увидел Фетисова. Старик философ сидел рядом со следователем и, когда я пытался скрыть что-либо, он поправлял ме-

ня и при том так смотрел в мои глаза, что приходилось поневоле соглашаться.

Признаюсь, его поведение — самое темное и непонятное для меня место во всей этой истории.

Теперь о Мэри. Мне удалось увидеть ее. Нам, правда, не разрешили разговаривать — она только смотрела на меня глубоким скорбным, любящим взглядом. Этот взгляд — самое драгоценное сокровище, оставленное мною на земле.

.....  
Что еще? Теперь я спокойно жду смерти. Я знаю, что начатое мною дело не погибнет. Пусть половина города уплыла по Неве, но зароненная мною искра зажжет пожар. Первый опыт научит их осторожности, первая неудача только укрепит руку, несущую карающий меч.

И я закончу эти записки выражением твердой веры в грядущее торжество того дела, которому я служил всю свою жизнь, в конечное торжество справедливости.

КОНЕЦ



## Пятое путешествие Лемюэля Гулливера ,

капитана воздушного корабля,  
в ЮБЕРАЛЛИЮ,  
лучшую из стран мира,  
называемую также страной  
лицемерия и лжи



*Эта книга содержит  
рассказ о том:*

как капитан Гулливер из Ноттингемшира, будучи преследуем по возвращении из страны гуингнмов церковью, спасается от ареста на воздушном корабле и, гонимый бурей, спускается в неведомой стране, называемой Юбераллией;

как Гулливер, будучи приговорен там к смерти, избегает казни и становится рассказчиком его величества короля, а затем и придворным летописцем великой и победоносной войны этого государства со своим исконным врагом — Узегундией;

как из-за невоздержности языка, потеряв милость императора, Гулливер признан был несуществующим;

как он вел в столице Юбераллии жизнь человека-невидимки и спасся на прибывшем из Бразилии корабле;

как затем он вернулся на родину и удивлял своими рассказами государственных людей Британии и континента.

*Здесь же рассказывается:*

о расовой совести,  
о добровольных казнях,  
о волшебном зеркале,  
о сожжении всех книг,

о превращении мужчины в женщину,  
разрешается вопрос о возможности невозможного и сообщается много других полезных и ценных сведений.

**Предисловие издателя**

Получив от тетки моей, мисс Элеоноры Симпсон в наследство небольшое имение в Ноттингемшире, где покойница доживала остаток дней, я должен был лично прибыть туда, чтобы привести в порядок довольно-таки запутанные дела по этому имению.

Желая расплатиться с кредиторами, не трогая участка земли, бывшего издавна собственностью фамилии Симпсонов, и не имея для этого свободных средств, я решил реализовать движимое имущество покойной, состоявшее из кое-каких драгоценностей и хранившихся в сундуках старых мехов и платья. Разбирая это имущество, я наткнулся на толстый портфель крокодиловой кожи с золотой монограммой «Л.Г.» и, не без труда справившись с замком, так как ключ от портфеля давным-давно был потерян, нашел довольно-таки объемистую рукопись, написанную почерком первой половины восемнадцатого столетия на бумаге, носившей водяные знаки того же времени, испещренную поправками, сделанными другой рукой.

Заинтересовавшись содержанием рукописи и с большим трудом одолев неразборчивый почерк, я доискался, что рукопись эта заключает в себе описание пятого, еще не известного никому, путешествия капитана Л. Гулливера, близкого родственника и друга предка моего Ричарда Симпсона\*, бывшего когда-то владельцем этого имения.

Указания на то, в силу каких причин рукопись, вполне подготовленная к печати, не увидела света, я не нашел ни в ней самой, ни в других документах фамильного архива. Вероятнее всего, сэр Ричард, умерший, как известно, в цветущих летах, не успел принять мер к ее опубликованию, а мистер Гулливер, в силу деликатности своего характера, не считал возможным беспокоить наследников требованием возврата рукописи.

Считая, что опубликование этой рукописи является моей, как последнего из фамилии Симпсонов, обязанностью, я осмеливаюсь представить ее на суд читателей, принося извинения за некоторые неровности этой, все еще не потерявшей интереса книги. Я нашел более правильным не восстанавливать, как это ныне принято с сочинениями старинных авторов, первоначального текста книги и издаю ее с поправками сэра Ричарда, на которые тот был уполномочен автором. Поправки, впрочем, касались лишь мелких погрешностей стиля, излишних длиннот и подробностей.

Пользуюсь случаем, чтобы отвести от покойного капитана выраженные некоторыми из моих друзей, познакомившихся с книгой по рукописи, обвинения в том, что он, изображая Юбераллию, имел в виду нынешнее правительство одной дружественной державы, расположенной на берегах Рейна, Эльбы и Одера. Считая излишним доказывать здесь всю нелепость этого предположения, ибо при известной всем проницательности капитан Гулливер все-таки не мог двести лет назад предвидеть осуществление изображенных им порядков правительством так называемой Третьей Империи, я, впрочем, не собираюсь ему запретить признать свое лицо в зеркале лучшей из стран, когда-либо существовавших на земле.

Право предоставить вашему милостивому вниманию полное и подробное, снабженное учеными примечаниями издание этой рукописи я оставляю за собой и своими наследниками.

*Чарльз Симпсон, эсквайр  
Ноттингем*

---

\*Ричард Симпсон — фантастический издатель романа Свифта «Путешествия Гулливера», сообщающий в предисловии к роману биографические сведения о Гулливере. (Здесь и далее примечания М.Козырева.)



## Глава первая

*Жизнь Гулливера в Ноттингемшире по возвращении из четвертого путешествия. Церковь преследует Гулливера. Гулливер принимает предложение быть капитаном воздушно-морского судна. Неожиданный отлет. Гулливер спускается в незнакомой стране и попадает в руки полиции.*

Читателю известно уже от родственника моего Ричарда Симпсона, что вссообщее любопытство к скромной моей личности заставило меня покинуть Редрифф и купить небольшой клочок земли с удобным домом близ Ньюарка в Ноттингемшире, на моей родине. Я перебрался туда с женой и детьми и, само собой разумеется, не забыл привезти туда и двух своих жеребцов, напоминавших мне о счастливой стране гуигнгнмов\*. Лучшим отдыхом для меня было уединение в конюшне с благородными животными, заставлявшими меня забывать все большие и маленькие неприятности, неизбежные в жизни каждого человека, даже такого, как я, наслаждавшегося почетом, славой, достатком и благословенного обширным и любящим семейством.

Три года наслаждался я тишиной и довольством. Но ничто не вечно, читатель, тем более счастье и покой человеческие. Ненависть злобных еху\*\* настигла меня и в этом уютном уголке.

Живя весьма скромно и уединенно, навещал я лишь старого священника, который закрыл глаза покойному родителю моему и ныне доживал век в маленькой хижине на опушке соснового леса. Вечерами, прогуливаясь меж вековых деревьев, вели мы длинные беседы, касаясь в них не столько житейских, сколько философических вопросов. Я не стеснялся высказывать перед ним издавна мучившее меня сомнение: действительно ли человек создан Богом, и не было ли при самом акте творения какой-либо пакости, проделанной отцом лжи и зла так умно и хитро, что старина Бог не заметил ошибки и, благословив семя дьявола, навсегда уклонился от какой-либо заботы об усовершенствовании своего создания.

Священник, проживший слишком длинную жизнь для того,

---

\**Гуигнгнмы* — лошади, населявшие страну, в которую Гулливер попал во время четвертого своего путешествия: это нравственно совершенные существа, в жизни которых Гулливер нашел образец добродетели и счастья.

\*\**Еху* — грубые животные, населявшие страну гуигнгнмов. В образе еху Гулливер карикатурно изображает человеческие недостатки.

чтобы не знать людских недостатков и слабостей, а также несовершенств нашей жизни, рассказами о подвигах святых, добродетельных и истинно великих людей направлял отравленный скептицизмом ум мой к той мысли, что заложенное в нас семя добра не умрет и некогда прорастет оно пышным цветком, заглушив все волчцы и все тернии. Не скажу, чтобы речи его убеждали меня, но общение с благочестивым старцем помогло преодолевать все более и более частые припадки мизантропии.

Но еще прежде, чем к старцу подкралась смерть, слабость здоровья заставила его покинуть кафедру и передать место молодому преемнику. Преемник этот посетил старика как раз в один из тех вечеров, когда мы вели наши беседы.

Молодой священник сразу же не понравился мне: низкий лоб, небольшие хищные и острые глазки и огромные челюсти напоминали о его слишком близком родстве с презренными *еху*. Обстоятельства подтвердили, что он и в самом деле недалеко ушел от этих животных.

— Ваши мысли,— сказал он мне,— я бы назвал еретическими и богохульными.

Тщетно мой старый друг пытался оправдать мои сомнения, ссылаясь на испытанные мною превратности судьбы: молодой священник не пощадил и добродушного старца, укорив его в плохом исполнении долга перед церковью, раз подобные мне еретики еще остались в его приходе.

Не желая вступать в излишние пререкания, я взял шляпу и покинул хижину, которую долгое время считал как бы вторым своим домом. Припадок мизантропии посетил меня: как всегда искал я утешения в конюшне, но ласковое ржание жеребцов не внесло мира в мою душу.

Старый священник через неделю скончался, оставив и дом и церковь на попечение своего недостойного преемника. Этот последний первую же проповедь посвятил моей ничтожной особе.

Говорил он в этой проповеди о волках в овечьей шкуре, о пшенице и плевелах и, приводя отрицательные примеры, довольно-таки прозрачно намекал на человека, побывавшего во всех странах мира, как существующих, так и несуществующих (он осмелился уличить меня во лжи), которого ни наставления родителей и пасторов, ни прирожденный ум, ни знания, ни полная испытаний жизнь не могли научить вере в начала премудрости и благодати Божией, а только ожесточили сердце, посеяв в нем семена безбожия. Он сказал даже, что этот человек чернокнижник и колдун, что он держит в своей конюшне демонов, обращен-

ных им в лошадей, и творит с ними по ночам бесовские действия.

Я ушел из церкви с тем, чтобы в ней никогда не появляться: но это навлекло на меня новые гонения. Не было такой клеветы, не было такой брани, которую не обрушил бы на меня этот служитель алтаря. И хотя соседи, прекрасно знавшие меня, не верили ни одному его слову, все же я не мог избежать подозрительных толков, косых взглядов и других признаков неприязни со стороны доверчивых людей, обманутых священником.

Жизнь в имении стала невыносимой. Все чаще и чаще уезжал я в город, где познакомился с одним чрезвычайно любопытным человеком. Это был Эдвард Джонс — корабельный архитектор. Лучшие из судов, которые до сих пор бороздят волны океана, построены этим замечательным человеком. Скопив своим трудом значительную сумму денег, он удалился от дел, посвятив все свое время физическим опытам. Целью этих опытов не было, однако, ни превращение металлов, ни отыскание философского камня: он исследовал возможности постройки быстроходных судов, не подверженных изменчивым волнениям океана. Долговременные размышления привели его к мысли, что таким судном может быть только судно, движущееся по воздуху.

Оно уже было построено, когда я познакомился с Джонсом. Узнав о моей, как капитана дальнего плавания, опытности, он на весьма выгодных условиях предложил мне командование этим судном.

Мне давно опостылела спокойная жизнь, и я с восторгом принял его предложение.

Судно представляло из себя лодку, привязанную тросами к большому наполненному разреженным воздухом шару. Джонс был уверен, что шар этот может поднять не только экипаж из двух человек, но и изрядное количество груза: то обстоятельство, что шар, будучи притянут к полу сарая, как только ослабляли веревки, немедленно поднимался к потолку, убедило меня в полной осуществимости плана. Мы даже попробовали подняться вдвоем и несколько минут плавали на высоте пяти футов, так как кровля сарая мешала подняться выше.

— Чего же нам ждать, — сказал я Джонсу, — нагрузим лодку провизией и полетим.

Хотя Джонс был осторожнее меня, но он согласился, и на 19 июля 1730 года был назначен первый пробный полет.

Оставив Джонса за приготовлениями к путешествию, я отправился в свое имение, чтобы сделать перед отъездом необхо-

димые распоряжения. Втайне я рассчитывал в случае удачи опыта убедить своего друга сразу же предпринять более или менее продолжительное путешествие.

Домашних своих я застал в чрезвычайном волнении и тревоге. Жена, дрожа и запинаясь, рассказала мне, что днем два раза приходил шериф, имевший будто бы уже приказ о моем аресте по обвинению в колдовстве и богохульстве.

— Если не хочешь попасть в тюрьму,— сказала она,— ради Бога, не ночуй дома.

Попасть в тюрьму, когда завтра, подобно птице, я собирался взмыть к облакам.

— Успокойся, друг мой,— сказал я,— шериф уже засел в карты, и даже пожар не заставит его оторваться от этого занятия.

До наступления ночи успел я сделать все: написал завещание, собрал необходимые для дороги вещи, причем не забыл набить небольшой мешок золотом для коммерческих операций, оставив семейству довольно-таки крупную сумму денег.

Как ни трогательны были слезы прощания, как ни жаль было семейству моему расставаться со мной — на этот раз никто не отговаривал меня от путешествия. Пользуясь ночной темнотой, а также тем, что окрестные собаки, зная мою честность, не лаяли на меня, я скрылся из родного угла, научив жену, как направить шерифа по ложному следу.

В назначенный день выволокли мы вместе с Джонсом нашу лодку на улицу удивленного городка и, привязав шар к дереву, начали погрузку. Но не окончив и половины дела, увидели мы шерифа, раздвигая толпу шествующего к нам в сопровождении двух полицейских.

Я в это время находился на борту лодки.

— Именем закона,— произнес шериф, увидев меня.

Полицейские готовы были выполнить приказание своего начальника, но я, выхватив нож, перерезал веревку и на глазах удивленной толпы и растерявшихся от неожиданности полицейских поднялся к облакам.

— Теперь побеседуем, — успел я крикнуть шерифу.

Полицейские стояли, беспомощно растопырив руки. Джонс что-то объяснял им, сильно жестикулируя. Кто-то из толпы попытался схватить покачивавшуюся футов в десяти от земли веревку — я тотчас же отрезал эту последнюю возможность, намотав ее на барабан.

Шериф скоро ушел, разочаровавшись в возможности выполнить приказ о моем аресте, а я продолжал плавать над городом на потеху местных зевак. Джонс что-то кричал мне с земли — вероятно, просил опуститься на землю, но, как ни старался я хоть на несколько футов снизить лодку, это не удавалось

мне. Я трогал всевозможные приборы и приспособления, открывал и закрывал какие-то клапаны — а шар мой, как на зло, поднимался все выше и выше.

Повернув какой-то рычаг, я неожиданно для себя развернул парус, и мою лодку с быстротой ветра стало относить от города. Я пытался свернуть парус, но, когда мне это удалось, мой воздушный корабль плавал уже над необозримым океаном.

Надежду на возвращение приходилось пока оставить. Надо было, изучив свойства судна, продолжать начатое путешествие. Одно лишь беспокоило меня: я невольно похитил у своего друга принадлежавшую ему собственность, но, надеясь на разум и честность жены, я справедливо полагал, что она не откажется возместить Джонсу понесенные им убытки, если сам я не сумею в скором времени вернуться в Ноттингемшир.

И я бы вернулся, так как очень скоро научился управлять кораблем: поднимать и опускать его, уменьшать и увеличивать скорость, но очень сильный ветер нес меня в противоположном направлении.

Так плыл я три дня и был уже в расстоянии сотен миль от своей родины, когда разразилась буря, подхватившая судно и помчавшая меня над бушующим, кипящим океаном. Благодаря легкости шар подчинялся малейшему движению ветра, что я справедливо относил к недостаткам его конструкции, о чем и решил сказать Джонсу при первой же встрече. Сильным порывом ветра лодка была перевернута вверх килем, и те из запасов, которые не были привинчены ко дну, упали в kloчущую бездну. Сам я повис на тросах, удерживаясь лишь силой своих мускулов.

Каждую секунду был я на волосок от гибели. Жилы мои напряглись, из-под ногтей сочилась кровь. Вспомнив в последние минуты о творце всего сущего, я посылал ему жаркие молитвы.

Когда ветер стих и я получил возможность передохнуть, оказалось, что остроумнейшая оснастка корабля была испорчена, и я находился в полном распоряжении стихии. Воды у меня не было, провизии тоже, и успокаивало лишь одно: океан остался в стороне, а шар мой скользил над плоской равниной, казавшейся издали сплошным зеленоватым пятном.

Вскоре я стал различать блестящие ленты рек, черные пятна пашен, группы построек и убедился, что медленно опускаюсь вниз. Увидав на горизонте обширный город, я рассчитал, что опущусь как раз на его окраине.

Я спасен. Возделанные поля, высокие каменные постройки — все говорило, что я не попаду к дикарям.

— Вероятно, это — Америка, — решил я.

Вот уже я плыву над поверхностью земли. Я вижу людей, сбегающих посмотреть на диковинное зрелище. Я делаю им знаки рукой, так как шляпа моя давно плавает по волнам неведомых морей. Я бросаю им конец веревки.

Десятки рук подхватывают канат, лодка моя на земле, меня обступают вооруженные люди. Отличив по одежде начальника, я обратился к нему с приветственной речью.

По-видимому, это была Южная Америка, так как начальник не понял ни одного моего слова. Насупившись, как индюк, он сурово смотрел на меня.

Растерявшись столько же от радости, сколько и от неприветливости встречи, я, забыв, что никто не понимает меня, громко объяснял собравшимся, что являюсь жертвой кораблекрушения, что самый вид моего корабля и отсутствие на нем вооружения говорят о мирных моих намерениях. Да и сам я — без шляпы, со следами крови на лице и на руках — разве похож я на грозного врага, стремящегося нарушить мир и спокойствие их отчины.

В подтверждение я достал из кармана королевский патент на право управления коммерческими кораблями. Начальник жадно схватил бумагу, показал ее сначала одному полицейскому — я догадался, что окружавшие меня солдаты — полицейская стража, — потом другому, пока не нашел одного, сумевшего кое-как разобраться в ее смысле.

— Чужестранец, — сказал тот, коверкая слова моего родного языка, — мы не можем признать этот документ действительным. На нем нет подписи его императорского величества.

Думая, что он говорит о его величестве короле Обеих Британий, я показал печать. Мне объяснили, что требуется подпись императора той страны, в которой я нахожусь.

— Только-то, — подумал я и выразил полную готовность повергнуть свое ходатайство к стопам их монарха и, если надо, уплатить установленные пошлины. С этими словами я достал из кармана золотую монету и подал ее начальнику отряда. Тот взял монету, осмотрел ее со всех сторон и положил в карман.

Тем временем лодка моя была убрана неизвестно куда, шар, привязанный к дереву, беспомощно болтался в воздухе. Я стоял окруженный полицейскими, кланялся, объяснял, но никто не слушал меня. После недолгого совещания начальник отряда произнес слова команды, полицейские плотным кольцом обступили меня, и мы двинулись в путь.

## Глава вторая

*Гулливвер узнает, что он находится в Юбераллии. Внешний вид столицы государства. Невероятное зрелище удивляет Гулливера перед дворцом императора. Суд и смертный приговор. Как Гулливер остался недоволен приговором и как это спасло ему жизнь.*

Шествуя в этом необычном окружении, я тщетно ломал голову, отыскивая причины столь нелюбезного приема. Я вспомнил даже шерифа — его грозное: «Именем закона», — неужели королевский суд успел сообщить обо мне и в это отдаленное государство.

Такое предположение было бы слишком нелепо, но других оснований я покамест не мог найти.

Миновав обширное предместье, занятое огородами, покосившимися набок хижинами и землянками, служившими, как я решил, жилищами огородникам и сторожам, которые прятались при нашем приближении, мы подошли к городской стене, ядов на двадцать возвышавшейся над окружающей местностью и построенной из серого дикого камня. Со стены уставились на нас огромные пушки, жерла таких же пушек зияли в бойницах круглых башен, вонзивших в небо свои черные зубы. По стене, переключаясь, ходили часовые.

Подойдя к узким, забранным железной решеткой воротам, мы остановились. Начальник произнес условный пароль и показал часовому пропуск. Дверь открылась, скрипя и повизгивая на ржавых петлях, и, пропустив нас, тотчас захлопнулась.

Широкая улица, на которую мы вышли, застроена была многоэтажными, громоздящимися друг на друга и довольно-таки непривлекательными на вид домами. Это были каменные коробки, лишенные каких бы то ни было украшений, если не считать решеток на маленьких подслеповатых окнах. Я принял эти дома за тюрьмы, в каком убеждении поддерживало меня и наличие часовых у дверей этих домов и пушек у их подъездов. Но чрезмерное обилие тюрем заставило сомневаться в правильности этого предположения.

Улица была не менее пустынная, чем предместье, но зато здесь то и дело встречались нам отряды войск, шедших под барабанный бой в походном порядке. Промчался отряд кавалеристов со штандартом, украшенным изображением какой-то птицы и крестом неправильной формы.

Мне показалось, что я нашел разгадку:

— Город осажден неприятелем — меня приняли за шпиона. Все равно, — решил я, — мне будет нетрудно оправдаться.

Улица привела нас в центральную часть города, узкие пере-

улки которой были сдавлены небольшими, большей частью двухэтажными домами, построенными из того же серого камня, что и городские стены; здесь было более оживленно. Стали попадаться пешеходы, кареты, всадники. Прошли мы мимо людного рынка, заставленного возами с хлебом и зеленью, миновали ряды невзрачных лавок, постоянных дворов, гостиниц и ресторанов. Я обратил внимание на полное отсутствие любопытных. Меня как будто никто не замечал, несмотря на то, что я шел под конвоем, как важный преступник, а одежда моя должна была бросаться в глаза жителям города, предпочитавшим темные тона и простую грубую ткань. Прохожие, мельком бросив взгляд в мою сторону, не останавливаясь, продолжали путь.

Многочисленные полицейские, вооруженные тяжелыми арбалетами, стояли на перекрестках и в особо людных местах. Изредка улицы прерывались площадями, обстроенными новыми домами той же архитектуры, что и виденные мною тюрьмы. Усталость моя была так велика, что на каждый из таких домов я смотрел с тайной надеждой:

— Меня посадят в эту тюрьму... В эту...

Тщетная надежда. Казалось, что городу нет конца, а я должен идти все дальше и дальше. Ноги мои уже отказывались служить.

— Где я нахожусь?— спросил я полицейского, который один из всех понимал мой язык.

— Вы в Юбераллии,— ответил он,— в лучшей из стран мира.

О такой стране я никогда не слышал.

Я знаю, что ни одно из названий стран не является пустым звуком, а должно иметь смысл на каком-нибудь из существующих языков: так Франция (Frankreich) — страна свободных людей, Эллада, так же, как и Deutschland, — божья страна. Ничего более подходящего к названию этой страны, как немецкое *über alles*, я не нашел, а значение этих слов — выше всего или лучше всего — как нельзя более соответствовало присвоенному ей эпитету.

— Куда же меня ведут?— спросил я.

— Вас никуда не ведут,— ответил полицейский и, заметив мое недоумение, пояснил:

— Вы идете просить милости императора, а так как не знаете дороги, мы провожаем вас.

Я мог бы возразить, что мне достаточно было бы и одного провожатого, притом безоружного, но воздержался. Я по опыту знал, что нет ничего опаснее для путешественника, как невольно нарушить существующие в стране обычаи. Одни при встрече снимают шляпы, другие сочтут непокрытую голову за знак горчайшей обиды; одни в знак приветст-



вия протягивают руку вперед, другие поднимают вверх и прикасаются к голове, третьи, наконец, опускают вниз и сгибаются при этом в три погибели. И если у нас в Европе право идти под конвоем предоставлено только преступникам и королям, то здесь, может быть, это составляет привилегию всех подданных. Поэтому я не стал отказываться от провожатых, заботливо охранявших меня во время этого длинного пути.

Дворец короля был расположен на обширном пустыре, потому что назвать площадью это застроенное временными деревянными сооружениями поле было нельзя. Внешность дворца отличалась особой мрачностью: он напоминал скорее крепость, чем резиденцию монарха. Его стены и башни нависали над площадью, не давая глазам зрителя ни малейшей отрады.

Пересекая площадь, мы прошли мимо деревянных подмостков, похожих на высокие узкие лавки или кобылы для гимнастических упражнений.

Здесь я был поражен невиданным зрелищем, заставившим меня на время забыть усталость. На одной из кобыл заметил я старика, который лежал, вытянувшись во весь рост, и длинным не очищенным от коры прутом наносил удары по своему костлявому заду. Плечи его при каждом ударе вздрагивали, грудь издавала глухой сдавленный стон. Спина была изрубцована до крови, а он продолжал отсчитывать удар за ударом.

Старик не был одинок. Почти все подмостки заняты были людьми, с увлечением предававшимся тому же занятию. Некоторые раздевались, некоторые пробовали крепость розог, заготовленных в большом количестве и лежавших в наполненных водой ямах. Полицейский спокойно прохаживался меж помостов, казалось, не обращая внимания на странное занятие этих людей, не помогая им, но и не останавливая.

Я предположил было, что вижу последователей секты самостязателей, каких мне нередко приходилось встречать на Востоке. Но те наносили себе удары во время религиозных процессий, под звуки валторн и бубнов, у тех были возбужденные фанатизмом лица, те не замечали боли — а эти делают свое дело методически, словно выбивают ковры, у них перекошенные от боли лица и нет-нет прорвется сдавленный стон.

— Что делают эти люди? — спросил я.

— Это преступники, приговоренные к наказанию розгами.

— Они... сами...

Полицейский с удивлением посмотрел на меня.

— А кто же? Ведь палачу надо платить, а так и лучше и дешевле.

Дешевизну этого способа у меня не было оснований оспаривать, но я не мог не выразить сомнения в его надежности.

— Ведь они могут хлопать лозой по помосту,— сказал я.

Вместо ответа спутник мой показал на окровавленные спины.

Я собирался было попросить более обстоятельных объяснений, но другое, превосходящее всякую вероятность зрелище отвлекло меня.

Высокий и худощавый длиннородый мужчина, взойдя на площадку с установленной на ней в виде глаголя виселицей, гортанным голосом прочел какую-то длинную бумагу, деловито прикрепил ее к подножию виселицы, поднялся по лесенке и всунул голову в заранее приготовленную петлю.

Будучи не в силах вынести это отвратительное зрелище, я твернулся. Но любопытство скоро превозмогло: пройдя шагов пять, я оглянулся назад и увидел покачивающийся наподобие маятника труп с длинной бородой, развевающейся по ветру.

Тем временем процессия наша подошла к дворцу.

Несколько подобных же групп уже стояло перед балконом, ступеней на десять возвышавшимся над площадью. На балконе за большим, заваленным толстыми фолиантами столом восседал император, недостаточно внушительная наружность которого возмещалась пышностью одежды. На нем был шитый золотом плащ, напоминавший одежды греческих священников, голову украшало нечто вроде папской тиары с золотым на ней крестом. Концы креста, украшавшего тиару императора, были согнуты вправо, словно какой-то изувер пытался сломать его. Такие же кресты были на груди восседавшего несколько ниже императора длинноносого судьи, на рукавах солдат и на касках полицейских.

— Король сам принимает просителей?— удивился я.

— Да,— ответил полицейский,— только император может оказать этим людям свое милостивое правосудие.

Просители подходили к ступенькам трона и, низко склонив головы, быстро и коротко излагали суть дела. Чиновник раскрывал книгу законов и показывал номер статьи. Король в знак согласия наклонял голову, а находившийся тут же глашатай громко объявлял приговор. Просители кланялись еще раз и отходили в сторону.

— Император оправдал их?— спросил я.

— Нет,— ответил полицейский и, заметив мое недоумение, пояснил:— Кого он может оправдать? Невинного. Но зачем невинный придет сюда? Только виновные обращаются к милосердию императора.

— Император простил их?— не унимался я.

— У нас никто не просит прощения. Лишь изредка сознание

тяжести вины заставляет преступника просить об усилении наказания, и то он может сделать это лишь стоя на эшафоте.

Я исполнился уважения к жителям этой страны. Мне все нравилось — и король, самолично судивший своих подданных, и простота судопроизводства, и забота преступников о том, чтобы наказание соответствовало степени их виновности, и, наконец, добровольное выполнение приговоров суда.

— Ваша страна по праву называется лучшей из стран мира, — сказал я.

Полицейский с гордостью принял эту похвалу.

Подошла моя очередь. Я тоже низко склонил голову, но, не зная за собой вины, не произнес ни слова. На помощь мне пришел полицейский, устами которого я сказал приблизительно следующее:

— Великий и всемогущий император. Спаситель человечества, повелитель всех народов, населяющих мир, князь света, наследник солнца, властитель звезд и луны, охранитель всех тварей, царь животных, рыб и плодов. Я, чужестранец, недостойный лицедреть все величие вашей священной персоны, совершил чудовищное преступление, перейдя без милостивого вашего разрешения границу ваших владений. Сознавая всю тяжесть совершенного мною преступления и гонимый укорами совести, я прошу ваше величество назначить мне высшее из наказаний, чтобы я впредь не смог нарушать установленных вами законов.

Я чуть было не нарушил правил, попытавшись по европейской привычке, внедренной в нас долгими веками сутяжничества, оправдать свой недопустимый проступок несчастной случайностью, но один из полицейских так предупредительно толкнул меня в бок, что, навёрное, ушиб свой кулак о мои недостойные ребра. Я поблагодарил его, поняв всю нетактичность нарушения обычаев страны.

Император, как мне показалось, с любопытством разглядывал меня, и по выражению его стариковски хитрых прищуренных глаз я понял, что он не прочь бы задать мне несколько лишних вопросов, но не хотел менять раз установленного порядка. Все это я успел учесть с практичностью британца и опытного путешественника по необыкновенным странам, чтобы не замедлить при случае воспользоваться наблюдениями.

Суд, однако, шел своим чередом. Чиновник показал статью закона, император кивнул головой, глашатай громко объявил приговор.

Я был приговорен к самоубийству посредством лишения головы. Полицейский искренне поздравлял меня с необычной милостью, так как способ этот применялся редко ввиду дорого-

визны приспособления, и любезно объяснил мне несложную механику этой операции.

— Это очень просто,— сказал он, подводя меня к эшафоту с установленной на нем машиной, основной частью которой был топор, ярко блестящий на летнем солнце.— Вы поднимаетесь по ступенькам, кладете шею вот на это возвышение и тихонько развязываете узелок — он будет у вас как раз под руками. А остальное без вашего участия сделает машина.

Надо ли говорить, что решение суда было для меня полной неожиданностью. Я был ошеломлен подобно быку, которого ударили вдруг обухом по лбу.

— А еще что?— спросил я, бессмысленно глядя на эшафот.

— Об остальном вам не надо заботиться,— ответил полицейский,— все сделают слуги его величества короля.

Признаюсь, я и не подумал о том, что после меня останется много грязи: кровь, отрубленная голова — и что весь этот мусор кому-то придется убирать.

Я понял, что надо поблагодарить за заботливость.

— Кто будет убирать?— состязался я в вежливости с полицейским.— Покажите мне. Я заплачу ему за работу.

— Его величество милостиво принимает этот расход на себя, так же, как и снабжение необходимыми орудиями и материалом. Впрочем, если вы хотите, то можете за особую плату заказать панихиду по обрядам вашей религии.

Не имея особого пристрастия к церкви и ее служителям, я предпочел оставить деньги при себе. Как истинный христианин, я верил в загробную жизнь и предпочитал явиться на тот свет с деньгами в кармане.

— Счастливо оставаться,— сказал полицейский, покидая меня перед орудием казни.

Я оценил и этот прекрасный обычай: никто не мешал преступнику с полным комфортом расположиться на эшафоте. Ему предоставлялась возможность еще раз раскаяться в своих преступлениях и даже зажаться никогда больше не совершать их.

Я воспользовался этими минутами иначе.

Не потеряв самообладания, я не прежде вступил на тряские ступеньки эшафота, чем план дальнейших действий был обдуман мною до мельчайших деталей.

Беспокойство все-таки я чувствовал нешуточное. Отточенное острие топора со следами запекшейся на нем крови не могло произвести на меня особо успокаивающего действия. Шнурок, поддерживающий топор, показался мне слишком тонким: а вдруг он порвется раньше времени, и я нечаянно окажусь под топором.

Полицейский стоял в стороне, внимательно следил за каждым моим движением и, казалось, был недоволен моей медли-

тельностью. Что как он из вежливости поможет мне поскорее справиться с этой несложной работой.

Медлить было нельзя. Я вытянул руки вперед и, собрав последние силы, громко закричал:

— Прошу правосудия императора.

Я не слышал своего голоса. Я не заметил даже, как неловким движением оборвал шнурок, и топор, опустившись, отрезал кусок полы от моего кафтана. Придя в себя, я увидел, что эшафот окружен стражей, готовой насильно произвести ту экзекуцию, от добровольного выполнения которой я отказался.

Может быть, так и было бы, если бы я не порвал шнурка.

Страже пришлось исправлять машину, поднимать топор, привязывать шнурок, и эта оттяжка спасла меня. Император заметил беспорядок и обратил взгляд в мою сторону. Судья раскрыл книгу и показал статью закона. Император кивнул головой, и я опять очутился перед тронем его величества.

Смерть моя была отсрочена на несколько минут.

Я снова стоял в очереди, ожидая, пока король отпустит последнего из подсудимых. Наконец он обратился ко мне.

— Чужестранец, — спросил он, — чего ты хочешь от милости императора?

Я успел все обдумать.

— Великий государь, — сказал я, безбожно перевирая титул, — отец солнца, царь луны, зажигатель звезд, князь тьмы, спаситель всех птиц, зверей и китов. Я, ничтожный путешественник Лемюэль Гулливер из Ноттингемшира в Англии, необыкновенные приключения которого известны всему миру, прошу разрешения удивиться великой милости, оказанной мне вашим несравненным правосудием. Чувствуя, что голова моя сейчас отделится от моего недостойного туловища и уста сомкнутся, я подумал: а кто же выразит благодарность его величеству за неизреченную милость, проявленную ко мне. И я решил прервать для этого трижды заслуженную мною казнь.

Речь моя понравилась императору. Лукавые глазки его засветились улыбкой.

— Чужестранец, — продолжал он, — в чем же ты видишь эту милость?

— Император, — отвечал я, — путешествуя по всем странам мира — а я был в Китае, в Персии, в Японии, Татарии, Турции и на острове Борнео, — видел я, как тамошние короли и власти, которые не годятся подметать пол в том доме, где находитеесь вы, милостивый император, даже менее тяжкие преступления, чем мое, наказывали вдвое сильнее.

Я рассказал императору обо всех способах казни, которые я

видел сам и о которых читал у заслуживающих доверия путешественников. Рассказал, как сажают на кол, подвешивают за ребро, растягивают на дыбе, поджаривают на огне, сжигают на костре, живыми закапывают в землю.

Рассказ мой понравился королю.

— Ни одна из этих казней не минет тебя, чужестранец,— сказал он.— Но ты, я вижу, много видел. Тебя любопытно слушать. Иди во дворец и после обеда расскажешь нам о своих приключениях.

### Глава третья

*Чудесное зеркало выручает Гулливера из щекотливого положения. Императорский обед. Гулливер удивляет короля рассказами о своих приключениях. Приятные разговоры, которые вел Гулливер с придворными императора. Гулливеру отводят помещение во дворце.*

До обеда оставалось еще часа два. Можно было смыть с лица следы крови и грязи, подкрепить себя глотком вина, куском говядины и черным хлебом. Это простое кушанье показалось мне настолько вкусным, что я не променял бы его ни на одно из самых изысканных блюд французской кухни. Впоследствии я понял, что кормили меня для того, чтобы я не слишком много ел за королевским столом, но тогда я был очень далек от подобных предположений.

Ухаживала за мной молоденькая и очень веселая горничная, которая почему-то не могла смотреть на меня без смеха.

— Что ты находишь во мне смешного?— спросил я, стараясь схватить ее за подбородок. Но она фыркнула и убежала.

Непосредственное веселье этой милой девушки нимало не гармонировало с мрачными, лишенными всяких украшений стенами дворца, обставленного тяжелой, словно прикованной к полу мебелью. Не могу не сознаться, что ее неподдельно радостный смех, раздававшийся то тут то там в пустых и темных анфиладах дворца, возвратил мне то уверенное в себе спокойствие, ощущая которое я всю жизнь с честью выходил из самых тяжелых испытаний.

— Здесь, право, недурно,— решил я, развалившись на кушетке, обитой когда-то дорогой, но сейчас грязной и рваной материей, и, забыв все потрясающие события этого утра, заснул мертвым сном, и, наверное, проспал бы до вечера, если бы та

же девушка не разбудила меня через полчаса, сказав, что пора идти к обеденному столу.

— Но позвольте,— сказал я, забыв, что горничная не понимает моего языка,— разве можно явиться к столу в таком наряде?

Действительно, мой кафтан был сильно помят и потерт, левая пола отрезана гильотиной, панталоны разорваны в нескольких местах, а сквозь дырку башмака выглядывал не особенно чистый чулок.

Но если горничная не понимала слов, то она отлично поняла мои жесты. Ни слова не говоря, она выбежала из комнаты и вернулась с большим зеркалом. Я пытался объяснить ей, что нуждаюсь больше в игле и нитке, но она, смеясь, подсовывала мне все то же зеркало.

Я взял его — и чуть не выронил из рук.

Да, несомненно, это был я: это мой нос — точно с таким носом изобразил меня < ... > через сто лет после моей смерти. Это мои глаза, мой рот, мои волосы. Но где морщины на лбу и у рта, где седина на висках, кто успел так прекрасно завить и причесать меня?

Я в недоумении посмотрел на горничную — та снова захохотала. Чувствуя что-то неладное, я опять посмотрелся в зеркало, обратив внимание на свою одежду,— и чудо. Кафтан мой оказался столь же новым, как и десять лет назад, когда я получил его от портного. Мой кружевной воротничок приобрел снежную белизну, и даже мои башмаки оказались сшитыми из лучшего русского сафьяна.

— Прекрасное зеркало,— сказал я,— но...

И опять показал на зияющие дыры своего костюма. Горничная покачала головой, словно хотела сказать:

— Ничего не вижу,— и тотчас же повела меня к столу.

Беспокоился я напрасно. Все приглашенные были в будничном платье — правда, ни у кого не было таких дыр на штанах, но зато качеством материала кафтан мой мог соперничать с одеждой любого из приглашенных. А самое главное — никто не дал мне понять, что находит в моей одежде какие-нибудь изъяны.

— А может быть, они видят то же, что видел я в волшебном зеркале?

Это соображение успокоило меня, и, быстро освоившись, я приобрел обычную развязность.

Место мне было отведено на конце стола, где сидели провинциальные чиновники, приехавшие с докладом к государю. Среднюю часть стола занимали придворные особы, ведущие личное хозяйство императора и жившие постоянно во дворце. Ближе к королю сидели министры, главный судья, которого я узнал по длинному носу, правители областей и военачальники.

Из женщин, кроме королевы, довольно молодой и красивой, и ее фрейлин, была только кубышкообразная жена военного министра.

Кушанья подносились не всем одинаковые, а от некоторых, особенно дорогих и вкусных, на нашем конце стола считалось хорошим тоном отказываться. Я не знал этого обычая и брал все, что мне предлагали, а какой-то особо вкусной рыбы наложил на свою тарелку так много, что этого кушанья хватило не всем.

Кухня императора не отличалась ни обилием, ни утонченностью. Предпочиталось жареное мясо и рыба, а на наш конец подавали колбасы, очень вкусно приготовленные и гарнированные капустой, которую они умели готовить 120 различными способами.

Пили из больших и тяжелых кружек напитков, по вкусу напоминающий эль и тоже довольно вкусный. Не меньше понравилось мне и вино, схожее по запаху с лучшим бургундским,— я чуть было не осушил полной бутылки, если бы лакей предусмотрительно не отнял ее. Оказалось, что на нашем конце стола бутылка эта выполняла чисто декоративную роль.

Не заметил я здесь и роскоши, свойственной королевским дворцам Европы. Золото вовсе не употреблялось, серебро только на королевском конце, а большинство довольствовалось оловянной и глиняной посудой.

Не обошлось и без странностей. Так, сначала было подано сладкое, потом мясные и рыбные блюда, затем уже суп, а напоследок соленая рыба. Такой порядок не мог не показаться мне неестественным, но спросить объяснения было не у кого, так как переводчик сидел далеко от меня. Впоследствии я узнал, что таков был обычай дворца, и мне пришлось из-за этого пережить немало неприятностей. Дело в том, что сладкое перед обедом портило мне аппетит, а есть суп после обеда просто не хотелось. Сладкое я старался обычно подсунуть соседу, а от супа отговаривался нашим английским обычаем обходиться без первого блюда; эти уловки сходили до поры до времени благополучно, но в свое время враги припомнили их.

После обеда все подходило к королю и королеве и благодарили их, целуя большой палец руки. Некоторых, в том числе и меня, король задержал в зале. Я прождал несколько минут, пока он разговаривал с придворным, судя по знакам отличия, занимавшим большой пост. Как я потом узнал, это был первый министр и ближайший советник императора, человек еще молодой, высокий и статный, с красивым лицом, обрамленным белокурой бородкой и бакенбардами.

Говорил, собственно, министр, а король только кивал головой, причем несколько раз взглянул на меня: из этого я



понял, что речь шла о моей особе. Кончился разговор вполне благополучно, потому что первый министр, подойдя ко мне, с мягкой улыбкой произнес несколько непонятных слов, после чего подошел переводчик и мы прошли в спальню короля.

Царственная чета расположилась в уютных креслах, я сел на стул посреди комнаты, переводчик — рядом со мною.

— Рассказывай,— приказал король.

Я постарался для первого раза не ударить лицом в грязь, зная, что от успеха моих рассказов зависит все. Я рассказал им о стране маленьких людей — лилипутов, о которых читатель знает из первой части моего путешествия, но при этом напирал на такие подробности, которые по совету Ричарда Симпсона я предпочел опустить в печатном издании; я заметил, что императору и королеве такие подробности пришлись больше всего по вкусу. Император много смеялся, слушая мой рассказ об остроумном способе тушения пожара, даже задал несколько вопросов. Привести эти вопросы я не могу, так как они касались вещей, о которых не принято говорить в обществе.

Когда внимание слушателей утомилось, а король заснул, сидя в кресле, королева, удостоив меня милостивой улыбки, сказала:

— Иди куда хочешь, иностранец. Император отсрочил тебе свою милость. Но, чтобы не лишиться ее, приходи каждый день к обеду и продолжай свои рассказы, которые так понравились нам.

Я поклонился и поцеловал туфли своей госпожи.

Признаться, я очень устал и рад был немедленно устроиться где-нибудь на ночлег, но, выйдя от короля, оказался окруженным толпой придворных: некоторых я видел во время суда, некоторых за обедом — все они наперерыв старались сказать мне какую-нибудь любезность.

Мужчины удивлялись моему уму, женщины — красоте, все вместе — оригинальности моего костюма. Меня поразила одна особенность в обращении этих людей — склонность к преувеличениям, доходившая иной раз до смешного. Так, дворец они называли величайшим в мире, хотя я видел здания, своей обширностью раз в десять его превосходящие; нелепую мазню, украшавшую стены гостиной, — шедеврами живописного искусства; давно потерявшего голос первого королевского тенора — гениальным певцом; сильно подкрашенную пятидесятилетнюю даму — весенним цветком; кислое вино — нектаром богов, и даже облезлый кот был назван прекраснейшим представителем животного царства.

Если бы я по опыту не знал, что при всех дворах мира принята в обычай лесть, я бы предположил, что придворные виде-

ли жизнь в волшебном зеркале моей веселой горничной. Они не понимали даже, что грубая лесть переходит в иронию, а похвала — в насмешку.

Не остался в долгу и я. Выразив восхищение красотой дворца и обширностью города, украшенного перлами архитектуры (я имел в виду уже описанные выше тюрьмы), я назвал деревянные эшафоты и виселицы лучшим украшением столицы. Я удивился остроумию мастера, придумавшего прекрасный аппарат для моментального отделения от туловища непокорных голов, выразив сожаление, что не успел испытать на себе его действия. Я похвалил обычай начинать обед со сладкого, сказав, что эта система сильно сокращает расходы императора на угощение незваных гостей, и даже выразил признательность лакею, отнявшему у меня бутылку дорогого вина, вероятно, с той целью, чтобы предохранить меня от возможной в моем возрасте подагры.

Я поразился стройности жены военного министра, станом своим напоминавшей тыкву, похвалил нос главного судьи и пожалел при этом, что сам не обладаю таким же, иначе в нашей стране я немедленно занял бы подобный же пост, так как при помощи такого носа очень удобно копаться в своде законов. Плешивому министру финансов я сказал, что его лысина напоминает мне луну, восходящую над берегами Атлантического океана. И многое я еще мог бы сказать этим любезным людям, если бы меня не клонило ко сну в такой степени, что, не побоявшись нарушить этикета, я откровенно сознался, что не спал три ночи подряд.

Мне тотчас же была отведена тесная каморка под входной лестницей дворца, которую квартирмейстер назвал моими апартаментами. Устраивая меня на жестком ложе, он совершенно серьезно заявил:

— Император так заботится о вашем покое, что приказал поставить к дверям часового.

Напрасно я доказывал, что в стенах царского дворца я и безо всякой охраны чувствую себя в полной безопасности,— всю ночь у моей двери дежурил вооруженный солдат, готовый каждую минуту защитить меня от вражеского нападения. В самых изысканных выражениях я поблагодарил квартирмейстера за эту заботливость, заявив, что еще нигде в мире не встречал такого приема.

Это, впрочем, было недалеко от истины.

Несмотря на жесткую постель, духоту, большое количество клопов и другие неудобства, я спал так, как не спал еще никогда в жизни.

## Глава четвертая

*Гулливер изучает язык страны и исполняет должность королевского рассказчика. Первые сведения о государственном устройстве и населении Юбераллии. Религия юбералльцев. Почему император носит титул спасителя.*

Проснувшись и по мере возможности приведя в порядок свою одежду, я попытался было выйти на улицу, чтобы по усвоенной мною еще в Англии привычке немножко пройтись перед завтраком. Я открыл было дверь, но часовой безмолвно загородил дорогу. Так как он был вооружен огромным арбалетом и на поясе у него, кроме того, болталась шашка, я счел всякие препирательства излишними. Зная, что сила есть убедительнейший из доводов, я предпочел молчаливо покориться своей участи. Терзаясь муками одиночества, голода — мне забыли принести завтрак — и вынужденного бездействия, я смотрел сквозь тусклые стекла окна на небольшой грязный угол двора с выгребной ямой и чахлым полузасохшим деревцем, который только и был виден из моей комнаты.

Но перебрав в памяти все события вчерашнего дня, вспомнив, какой опасности мне удалось избежать, вспомнив милостивые слова королевы, я решил терпеливо переносить заключение, спокойно ожидая дальнейших событий.

Незадолго до обеда я был порадован появлением горничной, которая предложила мне починить мой костюм. Она просидела в моей комнате около часа, ловко работая иглой и еще лучше — языком. Я воспользовался ее присутствием, чтобы перенять от нее несколько самых необходимых фраз и названий обыденных предметов. Так же, как и вчера, она провела меня к обеду, который, кроме, пожалуй, худшего качества, ничем не отличался от вчерашнего.

Так прожил я по крайней мере месяц.

Король из чрезмерной заботливости о моей безопасности не распорядился снять с моей комнаты охрану, завтрак и ужин мне приносила та же горничная, а во внутренних покоях дворца я появлялся только в часы обеда. Читатель, который по прежним моим путешествиям знает о моей любознательности, конечно, догадается, что затворнический образ жизни не мог удовлетворить меня. Уже через два дня я заявил первому министру о своем желании поближе познакомиться с лучшей из стран, осмотреть достопримечательности города, изучить порядки страны, быт и нравы ее жителей.

— Не сделав этого, — сказал я, — я буду считать свое время преступно потерянным.

— Что скажет император, если вы уйдете и не вернетесь? — возразил министр. — Ведь вы не знаете языка и легко можете заблудиться.

Я ответил, что изучить их язык — первое мое желание, тем более, что самому императору будет приятно выслушивать мои рассказы непосредственно от меня, без помощи переводчика.

Первый министр ничего не мог возразить и прислал мне учителя, с помощью которого я быстро усвоил язык страны и скоро мог без посторонней помощи выполнять должность королевского рассказчика.

Прежде всего я рассказал императору обо всех своих путешествиях, немало насмешив его похождениями в стране Бробдиннег, причем король заметил, что точно так же должен себя чувствовать человек в моем положении, попавший в общество людей, принадлежащих к высшей нации. Я поспешил согласиться, хотя только впоследствии понял истинный смысл этих слов. Понравился ему также летающий остров, хотя в его существование, несмотря на все мои клятвы, император не поверил, склоняясь к аллегорическому объяснению. Но на всякий случай он очень подробно выспрашивал, где находятся обе эти заинтересовавшие его страны, и вызвав военного министра, приказал тому разработать проект экспедиции и представить точную смету расходов и количества войск, необходимых для их завоевания.

О путешествии в страну гуингнмов я предпочел не рассказывать, зная по опыту, что жестокая правда, которую я узнал в этой стране, неприятна всем людям, а в особенности королям.

Исчерпав эти темы, я поневоле принужден был прибегнуть к заимствованиям. Как мог передал я содержание бессмертного творения Рабле, «Золотого осла» Апулея, «Сатирикон» Петрония, остроумнейшие из новелл Декамерона, причем рассказ о том, как монах боролся с дьяволом, повергая его в преисподнюю, король заставил повторить три раза, некоторые из сказок Маргариты, королевы Наваррской и превосходнейшие из «Фацетий» Браччолини.

Наибольшим успехом у короля пользовались, однако, скабрезные анекдоты и сценки, из которых он в особенности предпочитал анонимные французские сочинения, печатавшиеся в Амстердаме без обозначения имен издателя и типографщика. Любил он также описания путешествий и кораблекрушений, прослушал с огромным вниманием историю Робинзона Крузо, но в особенности интересовали его описания различных казней и пыток, применяемых европейскими и азиатскими государями. Однажды, когда рассказ мой был посвящен этому предмету, государь пригласил длинноносого судью и, как я узнал впоследствии, рас

сказы мои послужили поводом для обогащения законодательства страны самыми утонченными из этих наказаний. Сведениями политического характера государь не интересовался, хотя анекдоты из жизни европейских властителей выслушивал весьма охотно.

Королеве нравились любовные приключения, особенно те, героини которых обманывают старых мужей. Слушая их, она краснела и вздыхала, и так как я, как и все рассказчики, имел обыкновение выдавать себя за героя этих приключений, она стала изредка взглядывать на меня задумчивыми глазами. Понятно, что я не оставался в долгу, и если бы не память о жене и детях, оставленных в Ньюарке, у нас мог бы начаться роман. И, пожалуй, пусть не укоряют меня суровые мои соотечественники, я не прочь был бы завести более близкие отношения со своей повелительницей, если бы меня не страшили изменения, введенные после моего прибытия в уголовный кодекс империи.

Единственным моим развлечением в остальное время было созерцание из окон дворца многочисленных просителей, стоявших на площади, понутив головы, в ожидании королевской милости. Мне посчастливилось даже увидеть в действии мою гильотину, чем я был особенно доволен, памятуя, что рано или поздно мне придется иметь с ней дело, и боясь второй раз опозорить себя неумелым с ней обращением.

Я попросил было книг из дворцовой библиотеки, но квартирмейстер даже не понял моей просьбы: чтение, очевидно, не было в обычае при дворе. Единственной книгой, с которой я познакомился в это время, был краткий учебник грамматики: там мое любопытство могла удовлетворить только заключительная статья в довольно-таки напыщенном стиле, дававшая сведения о стране, в которой я очутился. Я узнал из этой книги, что нахожусь в Юбераллии, лучшей из стран мира, населенной высшей из всех существующих наций, принадлежность к которой только и дает право на звание человека, так как все другие нации являются разновидностью обезьян.

К высшей расе принадлежит далеко не все население Юбераллии, а лишь те лица, которые сохранили чистоту своей крови, не смешиваясь с другими народами. Им принадлежит вся власть, почет и богатство, они составляют высшее сословие государства.

Юбераллия называется лучшей из стран мира, потому что только в ней существует мудрое правление, обеспечивающее полное благополучие подданных, их свободу и безопасность, так как только она находится под скипетром его величества императора, которого дал юбералльцам сам господь Бог, почивший по-

сле этого от дел творения и больше ничего не предпринимающий вновь.

В таком же стиле говорилось дальше, что император дал юбералльцам во владение ту страну, которую они сейчас населяют, со всеми реками, морями, лесами, озерами и полями, птицами в воздухе, рыбами в воде, зверями в лесах, стадами на лугах и злаками на полях, построил города и села и до сих пор охраняет, питает и одевает их, чтобы они ни в чем не чувствовали недостатка.

Все эти сведения не подтверждались ни примерами, ни рассуждениями, так что мне, зараженному свойственным нашему веку скептицизмом, эта книга ничего дать не могла. Да и как я, сталкиваясь ежедневно с императором, мог поверить тому, что этот хитрый, жестокий и похотливый старик, большой любитель скабрзных анекдотов, казней и пыток, был чем-то вроде полубога, если не представителем самого Творца на земле юбералльцев.

Каков же тогда по их понятиям сам Творец?

Порывшись в грамматике, я нашел и некоторые сведения о религии юбералльцев и должен довести до сведения англиканских миссионеров и святого папского престола, что здесь еще не найдется непочатый край работы. Свет христовой веры еще не просветил эту отдаленную страну: признавая единого Бога-творца, они рядом с ним признают и других богов, олицетворяющих силы природы. Обитают эти боги в особом, подобном древнему Олимпу, жилище, ведут войны, ходят на охоту, ловят рыбу, устраивают пиры, попойки и драки, словом, пользуются теми же благами, что и люди, хотя и в удесятеренном размере. Одного из земных благ недостает им — мудрого управления императора. Отец богов представил это преимущество только высшей расе, населяющей Юбераллию, почему боги завидуют юбералльцам и вечно стараются подстроить им какую-нибудь пакость.

Насколько я мог понять, император склонен был самого себя считать выше всех богов и равным только создателю и властелину вселенной. Такого же мнения придерживались о его особе и придворные, и знать, посещавшая дворец: они нередко называли императора Спасителем, как мы называем Иисуса Христа.

Один престарелый герцог, от которого я первый раз услышал этот титул, с необычной при дворе искренностью и волнением сказал мне:

— Я старый человек, много помню и скажу: если бы не император, не знаю, где бы мы теперь были.

И, сделав весьма красноречивый жест вокруг шеи, добавил:

— Он спас мир, раздавив главу Змия. Он одолел Дявола, и тот лижет теперь его ноги.

О каком дьяволе шла речь, я не понял, но если уж идти на догадки, то самой достоверной была бы та, что Дьявол после победы над ним воплотился во всех этих герцогов, графов, лордов, банкиров и промышленников, которые в буквальном смысле слова лизали ноги императору: такого раболепства и низкопоклонничества, какое царствовало во дворце, по крайней мере в часы официальных приемов и торжественных обедов, я не видел нигде, исключая, правда, Тральрегдаб\*.

Когда я высказал эту догадку первому министру, он нашел ее остроумной, но объяснил, что под дьяволом следует понимать нечто другое — а именно: склонность к мудрствованиям и неверие в авторитет. Я понял эти слова как дружеское замечание и впредь воздерживался от высказывания неуместных догадок и предположений.

## Глава пятая

*Продолжение знакомства со страной. Голос крови взамен законов и совесть вместо полиции. Преданность населения правителям. Единомыслие, господствующее в стране. Восхищение Гулливера порядками Юбераллии. Пример всемогущества императора. Размеры страны. Император снимает караул с комнаты Гулливера.*

Не оставив мысли поближе познакомиться со страной, в которой по воле судеб предстояло мне пробыть неопределенно долгое время, я, не имея других источников, принужден был в дальнейшем собирать сведения от случая к случаю, пользуясь словоохотливостью придворных или посетителей дворца, которые достаивали меня своим вниманием. Я подробно записывал эти беседы, но считаю излишним приводить их здесь в полном виде и ограничусь лишь кратким и по возможности связным их изложением.

Прежде всего я узнал из этих бесед, что не простое самомнение правителей дало Юбераллии название лучшей из стран мира: здесь было осуществлено все лучшее из мечтаний поэтов, законодателей и философов всех стран и народов. Божествен-

---

\*Тральрегдаб или Трильдогриб — это слово произносится двояко — один из городов, которые Гулливер посетил во время своего третьего путешествия. В этом городе все представляющиеся королю должны были лизать пыль у подножия его трона, причем плевать и вытирать рот во время аудиенции считалось большим преступлением.

ный Платон\*, если бы он мог увидеть Юбераллию, никогда не написал бы своего трактата о государстве, а мой соотечественник Томас Мор\*\* не пожелал бы жить в измышленной им «Утопии»: всякое воображение блекло перед действительностью лучшей из стран мира.

Дело в том, что все мечтавшие вернуть людям потерянный рай, не мыслили этого рая без применения принудительных мер; только Юбераллия в своем государственном строе достигла полного отсутствия принуждения и, следовательно, совершенной свободы.

— Население нашей страны, — сказал мне главный судья, — и без этих мер выполняет все установленные нами правила и законы.

Меня, привыкшего на своей родине к той мысли, что хит-

---

\*По учению греческого философа Платона (430 — 348 гг. до Р.Х.), именованному в средние века «божественным», изложенному в его трактате о «Государстве», нормальное человеческое общество состоит из трех наследственных классов: 1) философы (аристократия духовная), управляющие государством; их добродетель — мудрость; 2) военные — охранители и защитники государства; их добродетель — мужество; 3) низшие классы, занятые физическим трудом; их добродетель — умеренность и воздержание.

Платон, или, вернее, итальянский писатель времен Возрождения, прикрывшийся этим именем, идеализирует в этом трактате средневековый государственный строй (первый класс — духовенство, пытавшееся властвовать над светскими государями, второй — рыцарство, третий — крепостные крестьяне), и так как строй этот в эпоху развития торгового капитализма явно клонился к упадку, выдвигает грубый коммунизм (общность имущества, жен и детей) в высших условиях как меру его спасения. Государство Платона носит явно рабовладельческий характер, низшие сословия он обрекает на абсолютную покорность высшим и вечную нищету. Профессии, по его мнению, носят прирожденный физиологический характер: для сознательного отбора людей Платон рекомендует уничтожение людей с физическими недостатками и специальные браки для военного сословия, где наилучшие самцы соединяются с наилучшими самками.

Идеи Платона в настоящее время являются основой национал-социалистического учения о государстве, идеальное государство Платона считается фашистскими государствоведами возвышенным образцом целостного (тотального) государства, призванного спасти буржуазный строй.

\*\*Томас Мор (1478 — 1535) — автор «Утопии» — первый социалист-утопист, поставивший вопрос общественного производства в государственном масштабе и в эпоху зарождения капитализма давший критику его хищнической сущности. Социализм Мора носит производственный, а не потребительский характер, государственный строй «Утопии», несмотря на наличие монарха, — демократический.

Мировоззрение Мора резко отличается от крепостнических идей Платона своим гуманистическим характером, защитой низших классов населения от произвола и эксплуатации высших.



рость и изворотливость, выработанные поколениями наших предков в их борьбе с дикими зверями и стихиями, направлены ныне на одну цель — обойти закон и обмануть правительство, не могли не удивить столь высокие добродетели населения этой страны.

Я сказал судье, что у нас в Британии, где королевское правительство, имея в своем распоряжении полицию и суды, постоянно занято раскрытием преступлений и нарушений законов, все равно самые хитрые и злостные из преступников избегают наказания. Убийца у нас сплошь и рядом пользуется награбленным у своей жертвы богатством или властью, добытой злодеянием; вор и грабитель, сумевший скрыть преступление или откупиться от суда и полиции, считается добропорядочным человеком и пользуется по гроб всеобщим почетом и уважением. Даже величайший из философов нового века и тот не погнушался изредка запускать свою руку в не принадлежащие ему сундуки государственного казначейства.

— А что было бы, если бы государство не принуждало нас выполнять законы? И где бы оно взяло средства для управления страной и отражения неприятельских нашествий, если бы в принудительном порядке не собирало установленных налогов и пошлин?

Судья не скрыл глубокого удивления варварству нашей Британии, которую я склонен был считать, как и юбераллыцы свою, лучшей из стран мира.

— Ваши законы,— сказал он,— устанавливаются по произволу недостойных правителей, и вполне понятно, что их никто не хочет исполнять добровольно. Наши законы — это выражение совести каждого из подданных, это голос их крови, против которого, если бы они и хотели, они не могли бы пойти. Вы, наверное,— пояснил судья,— мало заботились о чистоте вашей нации, допустили засорение своей крови кровью чуждых и низших народов, и потому нация ваша не обладает единой душой. У нас, подданных великого государя Юбераллии, одни мысли, одни чувства, одни суждения; эти мысли, чувства и суждения и выражают наши законы. Если бы завтра,— с гордостью добавил он,— пожар уничтожил все книги, в которых эти законы содержатся, то любой из наших подданных, прислушиваясь только к голосу своей совести, восстановил бы их, не изменив при этом ни единой буквы.

Прислушиваясь к голосу своей совести, каждый подданный прекрасно знал, когда надо платить налоги и в каком размере, как охранять порядок на улицах, когда надо вступать в ряды армии и сколько времени там оставаться, когда и как провинившемуся следует явиться на суд.

— Да, конечно, у нас тоже совершаются преступления, но, в отличие от вашего отечества, преступник не может их долго скрывать. Мучения совести заставят его рано или поздно явиться ко дворцу и просить милости императора.

Определение меры наказания оставлено за императором, так как преступник в раскаянии склонен преувеличивать свою вину, государь же проявляет в этом случае присущее ему милосердие.

Вспомнив о большом количестве виденных мною в городе полицейских, я спросил:

— Зачем же в таком случае полиция?

— А кто поможет заблудившемуся найти дорогу, слепому перейти улицу, утешить плачущего, успокоить убитого горем? Она нужна уже и потому, что подданные все время просят об увеличении стражи, а малейшее уменьшение количества полицейских вызывает возмущения и даже бунты.

Все население страны живет одной семьей в мире и любви друг с другом. Как и во всякой семье, каждый из членов ее несет свои обязанности: одни — герцоги, графы, лорды — несут труды по управлению областями, чиновники выполняют указы правительства и принимают от населения налоги и добровольные приношения, помещики пекутся о благосостоянии фермеров, живущих на их земле, владельцы мануфактур — о счастье своих работников. Население не проявляет по отношению к правящим низкого чувства неблагодарности, вознаграждая их по заслугам богатством и почетом. Фермеры добровольно несут своим помещикам все плоды своей земли, а помещик дает им все необходимое, чтобы они вечно благодарили своего господина. Работники и батраки никогда не жалуется на размеры получаемой от хозяина платы.

— Как вы добились этого? — спрашивал я. — В нашей стране только угроза выселения с участка заставляет фермера платить аренду, а работник всегда считает недостаточной получаемую им плату. И чем дальше, — пояснил я, — тем чаще и чаще возникают недоразумения между работниками и хозяевами, так что в скором времени стране грозит опасность разделиться на два враждующих лагеря, ненавидящих друг друга, как смертельные враги.

С глубоким сожалением слушали придворные государя такие рассказы. Варварство Британии потрясало их, а военный министр даже не раз выразил желание поскорее подчинить мое отечество скипетру мудрого государя Юбераллии.

— У нас тоже бывают недоразумения, — объяснили мне, — но иного характера. Фермеры стараются отдать своим

господам больше, чем требуется, работники добровольно уменьшают размеры получаемой платы. Эти случаи разбирает сам император — плата, которую устанавливает он, не может не быть справедливой.

Каждый из подданных знает, что смысл его существования в подчинении высшим, и всегда готов на всякие жертвы. Денно и ночью мечтают они о выполнении своих обязанностей, ежечасно выражая преданность императору и покорность высшим сословиям, без которых низшие не могли бы существовать.

— Если лорд,— говорили мне,— не будет давать фермеру хлеба, тот умрет с голода.

Я осмелился возразить, что фермер может и сам скушать собранный им хлеб, не отдавая его помещику.

— Может быть, так и бывает в вашей варварской стране,— ответили мне,— но у нас каждый твердо знает свой долг. Долг фермера — обрабатывать землю, а долг помещика — есть самому и кормить своих фермеров.

Подданные его величества настолько проникнуты чувством любви к императору и высшим сословиям, что часто, как влюбленные, забывают об обеде.

— Некоторые не обедают по две недели, потому что желудок не господин их, а раб.

Хотя в этом не ощущается особенной надобности, члены низших сословий во всем ограничивают себя. Они не любят роскошных одежд, сытных и жирных блюд, просторных и теплых жилищ, свинине они предпочитают вареную картошку, а большим домам и дворцам — тесные землянки. Меня уверяли даже, что если бы правительство вздумало внедрить в нравы низших сословий привычку к обильной пище, теплой одежде и просторным квартирам, то неминуемо вспыхнула бы революция.

— Мы терпим добровольную бедность, потому что не хотим применять насилия.

Предваряя дальнейшее, приведу здесь один случай, как нельзя более иллюстрирующий истину этих слов. Выйдя однажды с провожатым на улицу, я спросил нищего, стоявшего с протянутой рукой на площади перед дворцом:

— Что заставило тебя просить милостыню?

— Я — лентяй,— ответил нищий,— и вдобавок отягощен пороками. Не давайте мне ни одного *леера*, я все равно пропью.

По-видимому, сознание своей порочности причиняло большие страдания этому представителю высшей из существующих в мире наций. Об этом говорили его изможденное лицо, впавшие глаза и вся его исхудалая фигура.

Его искренность умилила меня, и я дал ему монету в три *леера*.

— Возьми,— сказал я,— и пропей. Выпей за здоровье его величества императора.

Мой провожатый не одобрил моего поступка и весьма укоризненно взглянул на нищего. Нищий немедленно подошел к полицейскому и отдал полученные от меня деньги со словами:

— Дарю эту монету своему императору.

Я спросил провожатого:

— А полицейский не присвоит этих денег?

— Никогда. Он оказался бы недостойным своей должности и завтра же, как преступник, пришел ко дворцу просить милости государя.

Таковы были и все чиновники лучшей из стран. Никто не брал взятки, не притеснял подчиненных, не превышал власти, не пользовался своим положением в корыстных целях. Недостойный администратор сам отказывался от должности, так что император не принимал жалоб на действия своих чиновников.

— Для чего? Если чиновник виноват — он сам покается, а если он не кается, значит, не виноват.

Поразительно было полное единомыслие жителей государства в наиболее важных вопросах. Разногласия существовали только в мелких житейских делах: в отношении пищи, архитектуры жилищ, обстановки комнат. Так, во время моего пребывания в стране дебатировались два основных вопроса:

— Какие юбки должны носить женщины?

И второй:

— В каком порядке подавать кушанья за обедом?

В отношении первого вопроса существовало несколько мнений. Одни считали, что следует носить короткие юбки выше колен, другие предпочитали юбки со шлейфом, третьи всячески пропагандировали кринолины, четвертые высказывались за восточные шаровары. Каждая женщина имела право выбрать любую юбку, что лишний раз подтверждало отсутствие принуждения; в Европе этот важнейший для женщин вопрос разрешают фабриканты сукон и портные, мнение которых, называемое *модой*, носит принудительный характер.

Но этот вопрос не так занимал население, как второй. Здесь было только две партии: одни утверждали, что надо так же, как и у нас в Европе, начинать с легкой закуски и заканчивать сладким, другая — наоборот. Король отдавал предпочтение второй партии, в чем я убедился за первым же обедом, но никого не принуждал покамест принять свое мнение: споры продолжались.

Я сам видел, как двое три часа спорили и не садились за стол: они не могли договориться, с чего начинать обед. Когда же они сели, оказалось, что на обед у них имеется всего-навсего картошка с хлебом, и спорили они, собственно, впустую.

Не так ли бывает и у нас, когда мы спорим о политике?

То, что у нас в Британии называется политикой, отсутствовало совершенно. И к чему, если все были довольны правительством, управлением императора, его министров и чиновников; никто не думал о том, чтобы сместить их и самому занять освободившееся место. А ведь только борьба за теплые места заставляет британцев так много времени отдавать этому бессмысленному занятию. Член парламента надрыгает свой голос, думая, что это приведет его к министерскому портфелю, кандидат в парламент расходует время и деньги, чтобы в качестве депутата с лихвой возместить свои расходы, избиратель хлопочет за своего кандидата, ожидая от него в будущем каких-нибудь привилегий.

Не было политики — не нужны были и газеты. Их заменял официальный бюллетень, помещавший отчеты о приемах и обедах императора и заявления подданных, благодаривших императора и министров за мудрое управление страной.

Слушая все эти рассказы, я вспоминал об Англии с ее разбойниками, депутатами, карманными ворами, шерифами, палачами, священниками, убийствами, воровством, мошенничеством, взяточничеством и благодарил Бога, что он привел меня в эту благословенную страну.

Полное отсутствие принуждения удивительным образом сочеталось с неограниченной властью императора, которой не было поставлено никаких пределов. Конечно, не было в этой стране ни парламента, ни выборов, ни голосований.

— Что может дать голосование,— совершенно справедливо говорили мне,— если вопросы ясны и так, их незачем обсуждать и голосовать. А если вопросы не ясны императору и его министрам, то как они могут быть ясны кому-нибудь из подданных?

Мои рассказы о выборных судьях и губернаторах вызывали смех.

— Как может убийца выбирать судью, плательщик налога — сборщика? Может быть, вы разрешите и собаке выбирать ту цель, на которую ее посадят? Выборы есть и у нас, но выбирает тот, кто не может ошибаться, — его величество император.

Всемогуществу императора не было границ. Я сам скоро убедился в этом. Однажды по его желанию я познакомил императора с нашим государственным строем и в заключение сказал, что парламента в Англии все может сделать — не может только сделать мужчину женщиной и наоборот.

— А я могу,— сказал император.

И тотчас же, вызвав придворного, который чем-то заслужил его немилость, сказал:

— Отныне ты — женщина.

И что же? Назавтра этот придворный явился к обеду в женском платье с большим декольте и стал говорить весьма приятным сопрано. Очень скоро он был выдан замуж за одного офицера личной гвардии императора.

Сначала подобное превращение показалось мне несовместимым с законами природы, но, поразмыслив, я не нашел в этом факте ничего сверхъестественного. В самом деле, если у нас в Англии король или лорд, герцог или министр, банкир или богатый купец признают человека умным и талантливым, тотчас же человек этот становится таким в глазах всего общества. Почему же, предоставляя сильным мира право раздачи умственных качеств, мы отрицаем это право в отношении качеств физических? Не потому ли, что, придавая большую цену уму, мы только в этом отношении постарались поскорее освободиться от слепого произвола природы.

Как велика была страна, пользовавшаяся столь мудрым управлением? Обратившись к географической карте, я увидел, что она занимает весь мир.

— Не попал ли я на другую планету?

Узнав, однако, по очертаниям извилистые берега Европы и подвешенную к ней грушу африканского материка, я сообразил, что нахожусь на земном шаре. Но тогда, судя по цвету, в который эти страны были окрашены, и Англия, и Франция, и Польша, и Московия, и Татария, и даже Китай являются колониями лучшей из стран мира. Успокоило меня только примечание, гласившее, что эти колонии в незапамятные времена отпали от Юбераллии и покамест считают себя самостоятельными, что, однако, их не избавит в будущем от благоденствия под скипетром мудрого монарха этой страны. Дело в том, что, по принятому здесь мнению, Бог, создавая землю, предназначил ее исключительно для юбералльцев, которые и должны были господствовать над всем миром. Но до воцарения нынешнего императора юбералльцы мало заботились о выполнении этой миссии и в наказание Бог отнял от них большую часть владений, которую они и должны сейчас при помощи военной силы отнять от недостойных представителей низших рас.

Но пока военной силы было недостаточно для выполнения божественной воли, император и двор твердили о своем миролюбии и уверяли меня, что карта была ошибочно раскрашена литографом, который, чтобы скрыть ошибку, составил примечание к карте. Тем не менее, эта явно ошибочная карта служила руководством во всех школах страны, и каждое новое издание воспроизводило ту же самую ошибку.

Все, что узнал я, живучи во дворце, о Юбераллии, возбудило во мне страстное желание своими глазами видеть жизнь избранного народа, тем более что многие из сведений явно противоре-

чили тому, что я увидел в первый же день своего пребывания в стране. Однажды, развеселив императора своими рассказами, я в почтительной форме выразил свое желание.

— Тебе предоставлена высшая милость,— сказал государь,— жить при дворце. Зачем же ты просишь худшего?

Но все-таки караул с моей комнаты был снят, и я получил разрешение на ежедневные прогулки по городу. Мне запрещено было лишь выходить за городские стены.

## Глава шестая

*Гулливер первый раз выходит на улицы столицы. Посещение таверны. Волшебное зеркало исправляет неблагоприятное впечатление, полученное Гулливером от посетителей трактира. Гулливер узнает о разногласиях среди жителей Юбераллии и о врагах императора. Бородатый вопрос и его разрешение. Какими средствами достигается полное единодушие в стране. Гулливер перестает восхищаться.*

Признаюсь, с некоторым трепетом вступил я на камни, одевавшие просторную площадь перед императорским дворцом. Жива была еще память о первом дне моего пребывания в стране. Я поторопился миновать толпы просителей, ожидавших выхода государя,— а вдруг чья-то чуждая воля направит меня к ступенькам трона и заставит раскаяться в не совершенных мною преступлениях. А вдруг полицейский, мирно созерцающий картину самоэзекуций, возьмет меня за руку и вежливо подведет к одной из страшных машин...

Успокоился я, только очутившись на узкой городской улице, лишь сравнительной малолюдностью отличавшейся от большинства европейских городов.

Прежде всего я зашел в лавку торговца готовым платьем, чтобы приобрести недостающий мне головной убор. Золотая монета, которую я дал торговцу, вызвала в нем некоторое любопытство и отчасти сомнение, но раздумывал он недолго. Бросив монету на весы, он дал мне в качестве сдачи несколько железных монет с грубо отчеканенным на них портретом императора. Монеты эти принимались во всей Юбераллии наравне с золотыми, денежной единицей был *леер*, равный приблизительно шиллингу.

Королевские обеды, кстати сказать, ухудшавшиеся с каждым днем, особенно на нашем конце стола, мало удовлетворяли меня, склонного, как и многие мои соотечественники, к пороку чревоугодия. Первым же выходом я воспользовался с тем, чтобы, зайдя в трактир, вознаградить себя за долговременное воз-

держание. Трактирщик, убедившись, что я могу хорошо заплатить, подал мне лучшего вина и приготовил поросенка под хреном.

Обстановка трактира мало отличалась от обстановки наших портовых таверн, посещаемых матросами и их подругами. Нравы были те же: так, при мне один из посетителей, довольно-таки невзрачный и оборванный субъект, пользуясь невнимательностью хозяина, ухитрился стащить с прилавка кусок колбасы. Трактирщик изгнал воришку, применив для этой цели не методы убеждения, как я предполагал, а довольно-таки крепкие кулаки, причем пользовался этим орудием по всем правилам бокса.

На мой вопрос, что это за человек, трактирщик объяснил, что это бродяга и что о нем давно плачет веревка.

— Почему же, сознавая свою порочность, он не идет ко дворцу просить милости императора?— спросил я.

Трактирщик пробормотал что-то не совсем понятное, вроде того, что человека тоже кормить нужно, что для работы нужны здоровые руки, а больного и в тюрьме даром кормить не станут. Я, признаться, не понял смысла этого рассуждения, но от дальнейших вопросов воздержался.

Роскошный обед мой привлек всеобщее внимание: посетители, большинство которых довольствовались своим любимым блюдом — картошкой, с завистью смотрели на меня, а один даже подошел к моему столу и остановился в позе просящего подачки.

— Вы голодны?— вежливо спросил я.

— Нет!— твердо ответил он.— В нашей стране нет голодных.

Мне очень понравился этот ответ, и я, положив на тарелку порядочный кусок поросенка, угостил бедняка. Другой посетитель, увидев мою щедрость, последовал примеру товарища и получил стакан вина. Я полюбопытствовал, что это за люди.

Это были работники военных мастерских императора.

— У вас большая семья и вам не хватает заработка?— спросил я одного из них.

Он побледнел, опасливо оглядел присутствующих и громко отрапортовал:

— Нет, благодаря щедрости его величества я получаю гораздо больше, чем нужно для содержания семьи. Я живу хорошо и ни в чем не ощущаю недостатка.

— А почему же,— спросил я, разглядывая его запатанный камзол и деревянные башмаки,— почему вы так плохо одеты?

Он смутился, прикрыл ладонью видневшуюся из-под рваной рубахи волосатую грудь и, псвернувшись к висевшему на противоположной стене большому зеркалу, ответил:



— По щедрости императора мы все прекрасно одеты.

Зеркала я до сих пор не замечал. Но, посмотрев на него, я еще раз удивился прекрасным качествам этого гениальнейшего из изобретений лучшей из стран мира. Оказалось, если верить зеркалу, я разговаривал не с оборванным бродягой, а по меньшей мере с лондонским джентльменом, так изящен был отраженный зеркалом костюм моего собеседника.

Оторваться от зеркала я уже не имел сил.

Мало того, что моя собственная особа выглядела в нем во всей свойственной ей красоте и великолепии — я думаю, что в этом случае оно никого не хотело обмануть,— но преобразилась вся обстановка трактира, его стены, мебель, посуда. Я завтракал в первом классе парижского отеля, плохонький эль в глиняных кружках выглядел в этом зеркале, как янтарное вино в дорогом хрустале, и даже картошка казалась каким-то невиданным лакомством, достойным жилища са-мих богов.

Сколько бы времени наслаждался я этим зрелищем — не знаю, если бы из глубины зеркала медленной и важной походкой не двинулась ко мне бородатая фигура представительного человека, манерами напоминающего по крайней мере владельца арабского шейха, какими они изображены в сказках Шехерезады. Фигура эта скоро заполнила все зеркало и, заслонив его, выросла перед моим столом в виде низкорослого трактирщика с красным носом и растрепанной выщипанной бородкой.

— Не слушайте этих бездельников, ваше сиятельство,— сказал он, грубо отогнав от моего стола попрошайек.— Попробуйте накормить одного — наберется сотня. Разве накормишь такую свору?

— Неужели у вас так много голодных?— спросил я.

Трактирщик побледнел так же, как побледнел перед тем рабочий, и так же твердо отчеканил:

— В нашей стране нет голодных. Император кормит всех нас, и мы вполне довольны нашей жизнью, ваше сиятельство.

И тотчас же, позабыв о своей декларации, добавил:

— Держать трактир с таким народом. Ей-богу, больше со-прут, чем купят.

Слова этих людей были подобны штанам на огородных пугалах: под ними не ощущалось живого тела.

Выйдя из трактира, я хотел было зайти в театр, но оказалось, что подобного рода развлечения неизвестны жителям этого города. Полицейский даже не понял, о чем я спрашиваю, и мне поневоле пришлось бесцельно бродить по улицам, полупустым и мрачным, как беднейшие кварталы Лондона.

Я видел оборванных, грязных и злых людей, завистливо осматривавших мой кафтан, казавшийся им щегольским. Я ви-

дел сотни изнуренных голодом и лишениями чернорабочих, через силу тащивших тяжелые тачки на постройке какого-то военного укрепления. Я видел распоряжавшихся ими надсмотрщиков, управлявших бичами не хуже своих коллег на американских плантациях. Я видел избушки без крыш на окраине города, голых ребятишек с раздутыми животами, женщин, надорванных непосильной работой. Я видел преступников, выглядывавших из-за решеток огромных домов, и, наконец, видел золоченые кареты, разодетых дам, праздных господ, драгоценные безделушки в окнах у ювелиров, переполненные посетителями шантаны. В порту слонялись безработные докеры, на рынках шмыгали мелкие воришки, на бульварах сидели непотребные женщины, нахально предлагавшие свои услуги.

Нищета, преступления, роскошь — все особенности больших городов Европы были свойственны и этому городу. Ничто не говорило о том, что я нахожусь в стране, осуществившей все лучшие мечты человечества.

Поражало обилие военных: черные, коричневые, серые мундиры, повязки, украшенные ломаным крестом, встречались всюду; бульвары, рестораны, улицы были переполнены ими. Держались военные полными хозяевами, третиrowали штатских, как это бывает и у нас в Британии во время войны.

Но войны, сколько я знал, Юбераллия ни с кем не вела.

Не менее многочисленна была и полиция, зорко следившая за порядком. Стоило задержаться на углу улицы, стоило начать слишком громкий разговор, чтобы это вызвало внимание заботливого стража. Стоило нескольким в особенности плохо одетым людям остановиться у дверей кабачка или на перекрестке, чтобы полицейский немедленно же попросил их разойтись. Мой опытный глаз не мог также не заметить большого количества слишком внимательных штатских, державшихся преимущественно в особо людных местах.

Одним словом, ничто не подтверждало сведений, которые я получил во дворце. Теряясь в противоречивых догадках и предположениях, я заготовил целый ряд вопросов, чтобы при случае задать их придворным.

Вернувшись во дворец к обеду, я узнал, что мне не поставили прибора.

— Разве вы не пообедали в городе? — схидно спросил меня заведующий королевским столом.

Я понял, что посещение трактира истолковано здесь, как косвенный упрек в скупости.

Несмотря на то, что я вышел без провожатого и за мной, как мне казалось, никто не следил, императору были известны все подробности моего путешествия. Он знал, где я был, что делал, что говорил, — он не знал только, о чем я думал.

Длинноносый судья восполнил и этот пробел: от его прозорливости не укрылись даже мои мысли. Он счел, впрочем, своим долгом только дружески предупредить меня:

— Будьте осторожны, чужестранец, — сказал он. — Вы можете сделаться жертвой обмана наших врагов, старающихся всячески очернить мудрое правление его величества.

Я поспешил выразить удивление, что столь мудрое правительство может иметь врагов.

Судья вздохнул.

— Они завидуют счастью наших подданных и делают все, чтобы смутить их. Вы знаете, что может сделать мелкая злоба и зависть. Вы видели голодных, нищих, замученных тяжелой работой. Не верьте этим притворщикам. Спросите, чем они недовольны, и они сами признаются, что им нечего желать. Они могут только благодарить императора.

Многое мог бы я возразить своему собеседнику, если бы не боялся, что в качестве последнего аргумента он выдвинет ту чудесную машину, которая каждый день сбрасывает непокорные головы на камни площади у императорского дворца.

Хотя я едва не навлек на себя немилость императора, все же я был доволен своей прогулкой. Она позволила мне узнать о жизни страны больше, чем двухмесячное пребывание в стенах дворца. Придворные, правда, по-прежнему старались внушить мне, что население страны пользуется исключительным благополучием, но скрыть наличия недовольных уже не могли.

Вот что я узнал от придворных.

Было время, когда Юбераллию раздирали междоусобицы. Как и у нас в Британии, разнообразные партии стремились захватить власть над государством, разнообразные теории и верования стремились властвовать над умами. Основным вопросом, заставившим больше всего пролить крови и чернил, был, по словам придворных, вопрос о том, какие бороды следует носить истинным юбералльцам — длинные или короткие. Вздорность предмета разногласий не могла смутить меня: достаточно было вспомнить о непримиримой вражде остроконечников и тупоконечников в Лилипутии, о партиях низких и высоких каблуков там же, борьбу сторонников веры без дел и дел без веры у нас в Европе, чтобы не слишком удивляться особой заботе, проявленной населением Юбераллии к этому природному украшению мужской половины человеческого рода. Ведь даже такой умный человек, как мой предшественник по путешествиям в необыкновенные страны Томас Мор, и тот сложил голову на плахе, защищая привилегию свя-

щенников на внебрачное сожителство со своими экономками\*.

Как бы то ни было, скоро все население страны разделилось на два враждующих лагеря. К одному принадлежали лучшие люди страны, все те, кого благородство, богатство и знатность поставили во главе нации — они считали, что следует носить длинные бороды; к другому лагерю, объединявшему главным образом нищее и необразованное население, ремесленников, фермеров, батраков и черноработых, принадлежали сторонники коротких бород.

Нынешний император, вступивший на престол после того, как его предшественник был благодаря проискам короткобородых изгнан из страны, не оправдал ожиданий этой партии, помогавшей ему добиться власти. Получив императорский скипетр, он отрекся от своих заблуждений и, объявив себя сторонником длинных бород, предписал всем своим подданным в трехдневный срок переменить свои убеждения. Большинство населения поспешило выполнить это мудрое предписание, и длинная борода восторжествовала. По приказу императора никому не разрешалось стричь бороду короче десяти *куртов*, кроме преступников, выбритый подбородок которых свидетельствовал о их принадлежности к самому презренному из сословий государства.

Длинная и окладистая борода стала считаться признаком высшей расы. Короткобородые, открыто выступившие против императора, были разбиты, многие из них казнены, многие заключены в тюрьмах, многие скрылись в соседней стране — Узегундии, а те из них, которые остались на свободе, были весьма существенно урезаны в своих правах. Чтобы быть последовательным, император лишил также всяких прав тех лиц, борода коих не доросла до установленной нормы, а молодых людей из низших сословий причислил прямо к сословию преступников, и они отбывали на принудительных работах несколько лет, пока их подбородки не приобретали достойного высшей расы украшения.

Большие затруднения доставили императору женщины. Но так как они не могли при всем желании отрастить бороды в установленный императором срок, то все они, не будучи формально зачислены в сословие преступников, приравнивались к ним в правах: так, они не могли иметь имущества, свидетельствовать на суде, наследовать, заниматься торговлей, и являлись полной собственностью тех лиц, чья судьба сделала их мужьями. Но, к чести правителей Юбераллии, нужно сказать, что эти ограничения считались времен-

---

\*Томас Мор, автор «Утопии», был казнен в борьбе за католицизм, на учение которого о безбрачии духовенства намекает Гулливер.

ными и действовали лишь до тех пор, пока у женщин не вырастет борода.

Все эти меры не замедлили оказать свое благотворное действие. И страна наслаждалась бы полным счастьем, если бы оставшиеся на свободе тайные сторонники короткобородых не продолжали смущать простых и доверчивых людей, распространяя среди них нелепицы и небылицы.

Так, они утверждают, что установленные императором порядки привели народ к голоду и нищете, они внушают фермерам и батракам, что те получают от своих трудов только ничтожные крохи, они отрицают, что провозглашенное императором единомыслие и единодушие населения основано на единстве расы и крови, и смеют говорить об угнетении и зажимании рта. Они не хотят верить, что законы страны являются выражением совести подданных, и, отрицая добровольность выполнения этих законов, называют лучшую из стран страной мракобесия, лицемерия и лжи.

— Мы боремся с ними до сих пор, — сказал судья, — и очень успешно. Из ста преступников, являющихся ко дворцу, девяносто пять — короткобородые или их обманутые приспешники.

— И эти враги приходят ко дворцу добровольно? — спросил я.

Судья смутился, и я в этот момент заметил на его лице то же выражение, какое не раз наблюдал у своих случайных уличных собеседников, и даже таким же нарочито твердым тоном он отрапортовал:

— Как бы низко ни пал человек, кровь высшей расы рано или поздно заговорит в нем.

Не доверяя тому, что одни мучения совести могут заставить преступника добровольно положить свою голову под топор гильотины, я потратил немало настойчивости и остроумия, чтобы добиться разрешения этого вопроса, и в конце концов узнал, что без особых поощрительных мер голос крови не говорит в преступнике. Почти всегда приходится прибегать к «отеческому внушению», заменяющему нераскаянному его потерянную совесть.

Органом, выполнявшим эту важнейшую функцию, был так называемый «совет отцов», состоявший из виднейших сановников государства. Сотни чиновников, находящихся в распоряжении этого совета, имели каждый по сотне тайных агентов. Агенты эти должны были ежедневно сообщать чиновникам обо всех как совершенных, так и задуманных преступлениях, и чтобы не пропустить ни одного, пользовались услугами осведомителей, которых было так много, что из троих собравшихся в общественном месте людей двое, во всяком случае, были из их числа.

Так как никто не знал ни агентов, ни осведомителей, а следовательно, никому не было известно, кто из троих собравшихся обязан, под страхом тяжелого наказания, донести о преступлении, то доносили обычно все трое. Страх наказания за недонесение являлся и вознаграждением осведомителей, так что вся эта обширнейшая и полезнейшая организация ничего не стоила государству.

Донесения рассматривались чиновниками, самые важные — советом отцов, который и определял меру наказания и внушал преступнику мысль явиться перед дворцом и просить милости императора. Многочисленная полиция в случае сопротивления могла очень вескими доводами подтвердить внушение совета отцов или чиновника, могла, наконец, проводить ко дворцу преступника, забывшего туда дорогу.

Продолжая пользоваться предоставленной мне льготой, я ежедневно выходил на городские улицы, но уже не пытался больше разговаривать с незнакомыми людьми или заходить в таверны и рестораны. Наблюдениями своими я тоже ни с кем не делился, зная, что это принесло бы мне непоправимый вред.

Правда, нового я узнал мало. Заметил я лишь одно, не замеченное мною прежде, — обилие тупых физиономий. Туп был половой в трактире, туп был кучер наемного экипажа, туп был лавочник, продававший хлеб и колбасу, тупы были парикмахер и хозяин трактира, хотя обе эти последние профессии у нас в Европе славятся своим остроумием.

Зная, что каждый из этих людей мог в любую минуту, повинувшись голосу своей совести или отеческому внушению, добровольно пойти на виселицу, я не удивлялся их тупости. Я понимал, что это была маска, под которой они могли чувствовать себя в сравнительной безопасности, маска, от долгого употребления ставшая как бы вторым лицом.

В подтверждение приведу следующий поразительный разговор.

Я как-то спросил у фермера, пришедшего к королю с просьбой о наказании за утайку от помещика двух бушелей пшеницы, что заставило его прийти сюда.

— Голос моей совести, — ответил он.

— Так тебя же повесят, — не унимался я.

— Никто не может меня повесить, кроме меня самого.

— А тебе хочется быть повешенным? — в упор спросил я.

— Да, — ответил он, низко склонив голову и не глядя мне в лицо. — Да, если такова будет милость императора.

## Глава седьмая

*Неосмотрительность едва не навлекла на Гулливера тяжелой кары. Законы о браке. Гулливеру делают исследование крови, и он добивается полного оправдания. Придворные развлечения, музыка и танцы.*

Рассказывая по порядку обо всех приключениях, которые довелось мне испытать в этой удивительной стране, я не скрою и таких, которые суровый читатель может счесть компрометирующими меня. Мое посещение Гуигнгнмии позволило мне раз навсегда отделаться от адской привычки к лжи, лукавству, обману и двуличию, глубоко коренящейся в естестве всей человеческой породы; эта правдивость и заставляет меня, ничего не скрывая и не прикрашивая, изложить один эпизод, когда я по простой неосмотрительности чуть не навлек на себя наказания, последствия которого давали бы о себе знать до самой моей смерти.

Я уже рассказывал о горничной, когда-то удивившей меня своим волшебным зеркалом. Кстати в Юбераллии не было других зеркал; волшебные зеркала висели в гостиницах и ресторанах, на перекрестках людных улиц, во дворцах богачей и в хижинах бедняков. Это прекрасное изобретение, способное украсить скучную радостями человеческую жизнь, не мешало бы поизмываться и нам.

На горничную возложены были несложные заботы обо мне: она убирала мою комнату, отдавала в стирку мое белье, зашивала кафтан и иногда ходила в лавку по моим поручениям — словом, она по мере возможности облегчала мне тяжесть жизни на чужбине, вдали от родных и друзей.

Это была веселая и миловидная девушка, в ее лице даже не было следа той тупости, которая была свойственна большинству населения лучшей из стран. Появляясь в темной моей комнате, она вносила радость и свет в это невзрачное помещение. Наконец, она еще не потеряла способности понимать шутки — словом, она нравилась мне больше всех остальных обитателей дворца.

Не зная обычаев страны и не имея ни малейшего представления о том, что делает здесь мужчина, желая показать, что какая-либо из женщин ему не противна, я по английскому обычаю попытался поцеловать ее, крепко прижав для этой цели к дверному косяку.

Вместо того, как сделала бы на ее месте любая дама Англии и континента, чтобы покраснеть и прошептать: «Ах, оставьте, оставьте» — и в то же время как бы невзначай еще крепче прижаться ко мне, она закричала так, словно по крайней мере шай-

ка разбойников вломилась во дворец. И она в самом деле, как признавалась потом, подумала, что я хочу ее задушить, потому что ласка у этого народа выражалась совсем другими приемами. Для этой цели они . . . . .

Сэр Ричард Симпсон вряд ли пропустит эти строки — и напрасно: ведь в них я только с беспристрастием ученого описал нравы и обычаи неведомой страны.

На крик прибежал привратник.

Коли бы дело было в Англии, я дал бы привратнику шиллинг, разъяснил бы недоразумение, и все обошлось бы благополучно. Но здесь, где все знали, что из троих по крайней мере двое должны донести совету отцов о совершенном преступлении, мы, не зная, кто из нас донесет, донесли все трое.

Дело оказалось нешуточным. Оно возбудило при дворе и в городе самые разнообразные толки, а враги, — я впервые узнал, что у меня есть враги, — воспользовались этим случаем, чтобы, оклеветав меня в глазах государя, добиться моей окончательной гибели.

Таким врагом оказался первый тенор империи, певший хриплым петушиным голосом и завидовавший мне как конкуренту. Почему он назывался первым тенором, я не знаю — в сущности, он был единственным, так как с воцарением нынешнего императора и по его приказу все население страны стало петь басом. Но пусть не подумает читатель, что я коварными и низкими происками оттолкнул великого артиста от императорского трона, — он виноват сам. Дело в том, что мои рассказы действительно помогали императору заснуть во время послеобеденного отдыха, в то время как петушиное пение моего конкурента способно было только нарушить его дремоту. Вторым врагом оказалась жена военного министра, неизвестно почему принявшая за насмешку мою похвалу ее стройному стану; впрочем, это делает честь ее мужу, так как здесь мало кто понимал иронию.

Эти враги, узнав о моем проступке, постарались очернить меня в глазах государя. Так, они донесли, что я не ем сладкого, разделяя вредное заблуждение, что это блюдо перед обедом портит аппетит. Не значит ли это, что я втайне являюсь сторонни-



ком коротких бород? А самое главное, ссылаясь на неизвестность моего происхождения и странный способ, избранный мною для путешествия в страну, они обвинили меня в том, что, принадлежа к низшей расе и притом к самому вредному и злобному ее племени, представители которого указом императора были навеки изгнаны из пределов страны, я покушался контрабандным путем заразить через посредство горничной своей нечистой кровью кровь высшей расы, нарушив тем самым благодетельное единомыслие и единодушие жителей государства.

Серьезность этого обвинения будет ясна читателю, если он примет во внимание, что законодательство Юбераллии, оберегая чистоту крови своей нации, запретило все смешанные браки, а браки с представителями изгнанной национальности объявило недействительными и подлежащими очень суровому наказанию. Самый брак обставлен был весьма затруднительными церемониями: требовалось медицинское свидетельство о здоровье жениха и невесты и их родителей, родословный список пяти предшествующих поколений для выяснения, не было ли в числе предков одного из брачующихся представителей изгнанного племени. Требовалось соответствие цвета волос, глаз и ширины плеч, а для невесты также определенная ширина бедер. Браки между лицами, принадлежащими к разным сословиям, не разрешались вовсе.

Утверждались браки министерством народонаселения, следившим за тем, чтобы они давали здоровое и чистокровное потомство. Основными качествами, которых требовало министерство, были: белокурые волосы, голубые глаза и преданность императору. Как устанавливалась в ребенке наличность последнего качества, я не знаю, но догадываюсь, что таковым и являлась та особенность физиономии, которую я по неведению наименовал тупостью. Дети высших сословий, не удовлетворявшие этим качествам, зачислялись в низшее.

Позднейшие мои исследования выяснили происхождение этих законов. Император, будучи в молодости кавалеристом, вступив на престол, окружил себя кавалерийскими генералами, те по естественной склонности привлекли к делу управления страной коннозаводчиков, которые, заняв вакантные места в академии наук, выработали учение о чистоте расы и вместе с тем правила для вступления в брак. Не знаю, каких лошадей выращивали на своих конюшнях эти академики и министр народонаселения, но дети, которых я видел в городе, имели явную тенденцию к измельчанию. Я склонен объяснить этот факт преистрастием населения к вареной картошке.

И вот на основании всех этих законов и правил мне было предъявлено обвинение, что я ухаживал (что было доказано) за представительницей высшей расы, принадлежа сам (что еще не

было доказано) к низшей расе, да еще к изгнанному из государства племени. Последствия этого преступления заключались в том, что я, как нарушивший закон размножения, должен был добровольно лишиться себя способности совершать подобные преступления в дальнейшем.

Читатели, а надеюсь, и в особенности читательницы, поймут, какво было мне даже подумать об этом, мне, который в глазах королевы зарекомендовал себя таким неисправимым ловеласом. И что бы осталось от моего положения при дворе, так как после этой операции, которой, правда, подвергались, и тоже добровольно, многие святые люди, память которых чтит христианская церковь, стала ли бы так милостиво относиться ко мне королева?

Впрочем, даже сейчас, вспоминая об этом, я волнуюсь, и читатель Бог знает что подумает обо мне.

Что бы вам ни говорили — все это клевета, распространенная моими врагами.

В ближайший же день я явился на суд императора. Он милостиво выслушал меня и, не поверив наветам врагов, приказал выяснить, действительно ли моя кровь заражена примесью крови ненавистной расы. А так как при всем желании представить родословные списки я не мог, приказано было произвести исследование моей крови.

Доктор явился ко мне в сопровождении фельдшера и принес соответствующие инструменты. Будучи хирургом, я не мог не обратить внимания на то, что инструменты эти недостаточно чисты, и предпочел собственной бритвой сделать надрезы на всех тех частях тела, которые были указаны доктором. Кровь была взята из правой руки, левого бедра и из груди, как раз против сердца.

Как производилось исследование, какие для этой цели употреблялись аппараты, я не знаю. Только через день мне было торжественно сообщено, что кровь моя чиста от всяких нежелательных примесей, и даже больше — я принадлежу к одной из самых близких аборигенам страны наций — чуть ли не потомкам древних юбералльцев, некогда властвовавших нашей страной. Но так как, не пользуясь счастьем жить под мудрым владычеством здешнего императора, предки мои допускали изредка браки с лицами, принадлежавшими к низшим расам, кровь моя все-таки ставила предел моему возвышению: так, я не мог исполнять обязанностей министра, не мог входить в состав личной гвардии короля, не мог также быть императором, хотя о последнем я, признаться, и не мечтал.

Подвергся также специальному исследованию цвет моих волос, объем черепа и его строение. Отзыв был положительный, и я был признан способным вступить в брак с любой представи-

гельницей расы, кроме дочерей первого министра и короля. От этого я терял очень мало, так как ни у того, ни у другого дочерей не было.

Тем более никто теперь не мог мне запретить ухаживать за горничной его величества, которая была весьма напугана всей этой историей и очень волновалась за меня. Зато радость ее, когда я с честью вышел из затруднений, вполне вознаградила эту честную и достойную девушку за все пережитые ею неприятности.

Добившись, несмотря на происки врагов, полного оправдания и даже возвысившись до звания члена высшей из существующих на земле наций, я почувствовал себя во дворце еще крепче прежнего. Приключение это, столь неприятное во всех других отношениях, сблизило меня с населением дворца и многих заставило держаться со мною на равной ноге. Я полагаю, что тайной причиной этого была их неуверенность в том, смогли бы они в одинаковом со мной положении с такой же честью, как я, доказать чистоту своего происхождения.

Я уже не жил затворником под лестницей дворца: я участвовал теперь во всех увеселениях, устраиваемых при дворе почти ежедневно. Я посещал придворные балы, причем научился прекрасно танцевать неизвестные Европе танцы — *раз-бой* и *бомба* — излюбленные танцы страны. Не обладая достаточным знанием анатомии и терминов, составляющих привилегию специалистов танцевального искусства, я не берусь сейчас подробно описать эти танцы и отложу задачу до специального исследования, которое постараюсь окончить в будущем году. Но чтобы дать хоть некоторое представление о них, скажу, что оба танца были разновидностью пехотных маршей, требовали быстрых движений, были, как говорят, очень полезны для развития мускулатуры и, кроме того, создавали бодрое настроение, чрезвычайно ценившееся в стране.

Из музыкальных инструментов всем прочим предпочитался барабан, несколько смягченный трензелями и бубнами.

## Глава восьмая

*Торжество всенародного сожжения книг. Правила присуждения ученых степеней. Медицинская наука и ее достижения в Юбераллии. Гулливер привыкает к жизни в лучшей из стран и вполне доволен своей участью.*

Описывая развлечения двора, я должен упомянуть о парадах воинских частей, происходивших на площади перед дворцом два раза в неделю, о спортивных состязаниях под открытым не-

бом, причем к последним, после того как на одном из таких состязаний победили представители низшей расы, допускались только чистокровные аборигены страны. Императору нравились больше всего всенародные торжества, связанные по обычаям страны с поднесением подарков императорской чете, о которых дальше я буду говорить подробно.

Первым из празднеств, на котором я удостоился присутствовать, был праздник всенародного сожжения книг.

Я уже говорил, что при дворце не было библиотеки; общедоступных библиотек и книжных лавок не было и во всем городе, и во всей стране, а в единственное книгохранилище допускались только министры и высшие чины государства, и то лишь по специальному на каждый раз разрешению императора.

Отсутствие книг доставило мне в первое время моего пребывания в Юбераллии немало неприятных минут, пока я не отвык от любимого развлечения. Но и этого мало — оказалось, что в Юбераллии уже много лет не печатают никаких книг, кроме небольшого количества учебников, а в то же время во всех городах и местечках ежегодно совершается торжественное их сожжение, обставленное парадами, речами, играми и весельем.

Установлен этот обычай с восшествием на престол ныне благополучно царствующего императора. Приняв бразды правления, он своим трезвым и ясным умом, умеющим видеть самый корень вещей, признал, что книги являются одной из помех на пути установления всеобщего единомыслия, а следовательно, достижения мира, силы и благосостояния страны. Но так как вредная привычка к чтению слишком въелась в нравы населения, он с мудрой постепенностью подошел к выполнению своей задачи.

Сначала были сожжены все книги, в которых доказывалось преимущество ношения коротких бород; это было первое всенародное сожжение, длившееся три дня. Костры пылали не только на площади перед дворцом, но и на всех площадях и перекрестках города. Студенты и профессора университета танцевали и пели, расположившись вокруг костров. Члены академии наук должны были в полном составе перепрыгнуть через самый большой из костров, и те, кто не сумел этого сделать, были навеки исключены из ученого сословия.

С тех пор и установилась в Юбераллии любопытная система раздачи ученых степеней: так, кандидат должен был перепрыгнуть через костер из книг шириной в одну сажень, магистр — в полторы, доктор — в три сажени. Особая комиссия наблюдала, чтобы огонь достигал определенной высоты и чтобы у экзаменуемого не обгорели фалды его одежды.

Вторым этапом мероприятия было сожжение всех книг, на-

писанных сторонниками коротких бород, хотя бы книги эти и не содержали ничего вредного для блага государства: трудно оспаривать целесообразность этой меры, ибо что кроме вреда могли принести сочинения государственных престоупников.

Следующий шаг опирался на совершенно справедливое суждение. Ведь книга по существу своему предназначена для того, чтобы по ней учиться и учить других. Но могут ли представители низшей расы чему-нибудь, кроме дурного, научить высшую расу? Конечно, нет. Следовательно, и все книги, написанные представителями низшей расы, хотя бы они касались совершенно безобидных вопросов, были изъяты и сожжены.

То же и с низшими классами общества, из которых у нас в Европе выходит большое количество ученых и писателей. Чему может научить сын бедного фермера и сам голоштанник представителей высших сословий? Если бы он был умнее лорда, то не лорд управлял бы им, а он лордом, а раз этого нет, то и его наука — ложная наука. Книги, написанные такими людьми, были приговорены к сожжению.

Само собой разумеется, что и книги, написанные чиновниками, ничего кроме вреда принести не могут: дело чиновника исполнять приказание своего начальства, а не учить людей чином повыше себя.

Затем были уничтожены все бесполезные книги, и понятно почему. Когда же было достигнуто полное единомыслие, оказалось, что не все книги, доказывавшие необходимость ношения длинных бород, одинаково хороши — были отобраны худшие из них и сожжены.

Что касается романов, стихов, повестей, путешествий и тому подобной литературы, об отсутствии которой я больше всего жалел, то лучшие из этих книг были зачитаны до корешков, а худшие, как и всегда, прямо с полок книжной лавки пошли на домашние надобности и обертку товаров.

В обращении, таким образом, оставались лишь учебники, но и их было ограниченное количество, так как грамотность в Юбераллии считалась ненужной лицам физического труда, потому что от этого они не стали бы лучше работать, чиновникам — потому что располагает к рассуждениям, а это, как известно, мешает выполнять предписания начальства, не нужна бедным, потому что не сделает их богаче, не нужна и богатым, потому что, и не зная грамоты, они прекрасно пройдут весь свой жизненный путь, не ощутив при том никакого неудобства.

Издавалось немногих, сохранивших пристрастие к чтению, ежегодно издавалось полное собрание сочинений императора и его первого министра, причем сочинения этого последнего счи-

тались полезными и талантливыми только пока он исполнял эту должность. Стоило ему выйти в отставку, как они признавались вредными и бездарными и сжигались на очередном празднике.

Книги, посвященные военной науке и технике,— а другой науки, кроме, пожалуй, медицины, в Юбераллии не было,— уничтожению не подлежали, но их и не печатали из опасения, что соседи воспользуются содержащимися в них достижениями и изобретениями. Эти сочинения хранились в потайных библиотеках, доступных только специалистам, что, впрочем, не мешало соседям каким-то образом немедленно выведывать их содержание и осуществлять у себя полезное изобретение даже раньше самих изобретателей.

Что же в таком случае сжигалось на торжествах?

Сжигались прошлогодние указы императора.

Мера эта, странная на первый взгляд, по рассмотрении оказывается столь же мудрой, как и все другие установления государства.

Дело в том, что император, представлявший в своем лице живую душу высшей из человеческих рас, не мог ошибаться: это было бы отрицанием правильности всей системы. А император ошибался не чаще, но и не реже других, ибо человеческой породе ошибки свойственны. В результате все королевские указы и распоряжения считались действующими, хотя бы они и противоречили друг другу. Вообразите, какой кавардак воцарился бы в стране, если бы не периодическое уничтожение этих указов. Мера эта, проведенная в Англии с ее многообразными обычаями, прецедентами, указами, распоряжениями и решениями королевского суда, навеки избавила бы нас от сословия адвокатов, делающих правосудие недоступной роскошью для бедняка.

Для большего эффекта церемонии указы эти переплетались в деревянные переплеты из смолистых пород, а костер обливался нефтью. Пожарные в медных касках стояли у костра со шлангами, готовые предупредить пожар, если огонь перебросится на деревянные строения, окружающие площадь.

Церемония сопровождалась парадом воинских частей, шествием подданных ко дворцу и поднесением подарков императору, который, сидя на троне перед дворцом, любовался зрелищем. Затем народ и войска выстраивались на площади, первый министр говорил речь о вредности книг и под пение гимна подносил факел к костру.

К сожалению, мне не удалось увидеть экзамена на ученую степень. Правда, на торжество явился один доктор медицины, претендовавший на звание академика, и заявил о своем желании экзаменоваться. Доктор этот известен был изобретением средства, позволяющего заразным болезням вроде оспы и гни-

лой горячки в кратчайший срок выполнять свою роль в борьбе за чистоту и здоровье нации: средство гарантировало смерть по крайней мере половины заболевших.

Несмотря на то, что император и двор очень ценили доктора и изобретенное им средство, но освободить его от экзамена не могли. Увидев размеры костра, доктор предпочел отговориться недостаточной подготовкой и отложил экзамен до будущего года, обещая за это время повысить эффект своего лекарства до семидесяти процентов.

Врач этот отнюдь не являлся исключением: в противоположность ложной европейской гуманности, к больным и слабым физически в Юбералии относятся с презрением и если помогают им, то только с тем расчетом, чтобы вследствие этой помощи больной поскорее отправился в лучший мир.

— Иначе вся страна наша обратилась бы в лазарет,— говорили мне.

Больных и слабых не принимали даже в сословие преступников, так как они не могли работать; пока у них были кое-какие силы, они бродили по улицам и рынкам, занимаясь мелкими кражами, а потом умирали где-нибудь в лесу или на улице.

Сообразно этим взглядам тот врач считался наиболее искусным, который быстрее и вернее отправлял своих пациентов к праотцам. Мне пришлось на себе испытать искусство местных врачей.

Изредка страдаю я приступами лихорадки, подхваченной мною в тропиках во время одного из моих путешествий. Почувствовав приступ болезни, я по привычке попросил позвать врача.

Врач явился, глубокомысленно осмотрел меня, пощупал пульс, измерил температуру и, предварительно получив гонорар, приказал служителям раздеть меня догола и положить на землю в том самом дворике, который я видел из своего окна. Не пролежав и пяти минут, я взмолился вернуть меня в мою комнату, заявив врачу, что его средство сразу поставило меня на ноги. Врач не поверил мне и в подтверждение заставил меня протанцевать несколько самых сложных па, и когда мне это с большим трудом удалось, с самодовольной улыбкой заявил, что я не первый получаю исцеление с такой быстротой.

— Мое средство излечивает любую болезнь в полчаса.

Но тут же пожаловался, что он очень часто становится жертвой обмана: больные встают раньше времени и за это очень часто платятся жизнью. Он мог бы спасти и этих больных, но, к сожалению, только их смерть позволяет ему узнать об обмане.

Предупредив меня таким образом, врач ушел. Когда же дня через два он увидел меня здоровым, то очень удивился.

— Я был уверен,— сказал он,— что вы не прошли полного

курса лечения. Вам следовало бы по крайней мере часа четыре пролежать на земле.

Меня заинтересовало, все ли лечатся по этой системе. Но кого я ни спрашивал, все отвечали, что предпочитают совсем не лечиться.

— Больные считают сами себя виновными в болезни, и кого постигает такое несчастье, тот отказывается от пищи и просит родственников не звать врача, чтобы не входить в излишние расходы.

Последнее было более чем благоразумно. Я тоже впоследствии следовал этому примеру и до сих пор наслаждаюсь полным здоровьем.

Прежде чем я освоился с жизнью в лучшей из стран и привык не нарушать принятых там обычаев, мне пришлось преодолеть целый ряд трудностей. И вряд ли бы я так скоро осилил их, если бы не догадка: я принял за правило во всех случаях жизни вести себя так, словно я имею дело не с людьми и вещами, а с их отражением в волшебном зеркале. Поступая так, я никогда не ошибался.

Так, разговаривая с оборванцем, я смело хвалил его наряд, удивлялся уму дурака, восхищался зрением слепого, красотой и молодостью скорбленной старухи, мелодичностью барабанного боя и милосердием императора. Водовозную клячу я называл арабским жеребцом, покосившуюся набок хижину — коттеджем, зеленщика — негодяем, мелкого воришку — государственным канцлером. И самый проникательный из моих собеседников не находил в этих утверждениях ни капли фальши.

Читатель может представить, как меня, отвыкшего в стране добродетельных гуинггмов от лжи и лицемерия, раздражал усвоенный в этой стране способ выражения своих мыслей. Но вспомнив, что и у нас в Англии не только при королевском дворе, но и в обществе обыкновенных горожан господствует та же условная ложь, я примирился с этой необходимостью.

Да и что, в сущности, менялось? Люди прекрасно понимали друг друга, и никто не обманывался в истинном смысле таких слов, как «милость императора», «добровольно явился», «отеческое внушение», «сознание своей вины». Голодный прекрасно знал, что он голоден, хотя его язык непроизвольно произносил заученное — «у нас нет голодных», притесняемый проклинал своего притеснителя, хотя и, проклиная, называл его не иначе, чем своим благодетелем.

Во всяком случае, даже и на этом языке мне удалось однажды высказать горькую правду в лицо самому королю: читатель узнает об этом, когда прочтет до конца мое правдивое повествование.

Хотя рассказы мои порядочно наскучили королю, я не видел



с его стороны попыток избавиться от моей особы. Должность королевского рассказчика, которую я занимал, давала мне официальное положение при дворе и право на получение известного вознаграждения, впрочем, не деньгами, а натурой. Так вознаграждались и остальные придворные чины. Во дворце полюбили меня за веселый нрав и способность выдумывать новые и забавные развлечения, а первый министр даже не гнушался выслушать иногда мой совет по поводу тех или иных государственных дел, чрезвычайно ценя мои знания и опытность.

И если бы не тоска по родине и друзьям, оставленным на далекой и любимой родине, я был бы вполне доволен своим положением.

## Глава девятая

*Торжественные празднества, как средство поправления расстроенных финансов. Военные силы государства. Сословие преступников, его назначение и способы пополнения. Посещение императором лагеря преступников. Личная гвардия короля, как воплощение расовой совести.*

Никогда столица Юбералии не видела столько празднеств, торжеств и юбилеев, как той зимой, которую мне довелось пробыть при дворце императора лучшей из стран мира.

Не говоря уже об обычных торжествах этого рода, как день рождения императора, день вступления его на престол, день его торжественного коронования,— подданные проявили в этом году исключительную внимательность к самым ничтожным событиям из жизни императорского семейства, ознаменовав трауром смерть любимого пуделя королевы и торжественной иллюминацией рождение первенца у любимой кобылы.

Два раза праздновали в этом году день окончания постройки дворца — один раз в декабре, другой раз — в марте, потому что ввиду давности события получились разногласия в определении точной даты. Вспомнили также, что ровно 37 лет, 8 месяцев и 12 дней тому назад была изменена форма городской полиции, а через неделю праздновали день замены у чинов этой полиции старинных арбалетов ружьями новейшей системы.

Вызывали особое восхищение подданных и новые приказы императора: сопровождалось торжествами увеличение на два курта крестов, нашитых на рукавах гвардейцев, и отмечено даже ассигнование двухсот лееров на обивку мебели в приемной дворца.

Смысл этих праздников был в том, что все они сопровожда-

лись поднесением императору обильных подарков. Подарки эти принимались особыми чиновниками как деньгами, так и натурой, сбор происходил во всех городах и в деревнях, и ни один из подданных, как бы беден он ни был, не избавлялся от этой обязанности. Таким образом обилие праздников и торжеств, столь разорительное для европейских дворов, здесь являлось источником дополнительных ресурсов.

Но я не заметил, чтобы император и министерство финансов особенно разбогатели за эту зиму. Наоборот, качество наших обедов все ухудшалось, а равно уменьшалось и количество лиц, приглашаемых на эти обеды. Император даже отказал мне в скромной просьбе выдать новое обмундирование, и я всю зиму щеголял в своем необычном для этой страны и сильно поношенном костюме, к тому же не приспособленном к довольно-таки жестоким морозам.

Не заметил я также, чтобы средства, собираемые подобным путем, шли на развитие ремесла и торговли, способствующих, согласно известной доктрине, обогащению государства, или на создание обширного торгового флота, приведшего мое отечество к владычеству над самыми отдаленными странами мира: все шло на содержание огромной сухопутной армии, включавшей в свой состав даже и в мирное время около половины способного носить оружие населения страны.

Любое государство Европы разорилось бы, доведя армию до размеров армии лучшей из стран мира. Парламенты отказали бы в кредитах на ее содержание, финансисты не дали бы шиллинга такому правительству, а соседи постарались бы заблаговременно положить предел усилению его военной мощи.

Но армия Юбераллии никогда и ни в чем не чувствовала недостатка. Это было любимое детище императора, и, по словам придворных, все подданные разделяли эту любовь, и каждый не состоящий в ее рядах готов был последнее отдать на ее содержание.

— Подданные, — сказал мне военный министр, — готовы не есть масла, лишь бы армия получила новые пушки.

Особенно больших расходов требовала постройка вокруг границ Юбераллии каменной стены, раза в два превышающей знаменитую китайскую стена эта, по мнению императора, должна была навеки оградить страну от вторжения чужеземцев. Попытка министра финансов сократить эти расходы путем уменьшения платы занятым на постройке работникам не достигла цели. Работники немедленно потребовали увеличения количества надсмотрщиков и полицейских, а так как народолобивый правитель Юбераллии не мог не выполнить этого требования, подкрепленного к тому же рядом возмущений и бегством с работ, то экономия от мудрой меры была ничтожна.

Но что могло остановить высшую из рас, если речь шла об усилении ее мощи? Как только подданные узнали о том, что правительство нуждается в дешевой рабочей силе, так толпы преступников стали осаждать дворец, выражая желание искупить вину на этих работах.

Стоило кому-нибудь, где-нибудь и когда-нибудь — расовая совесть не признавала давности — непочтительно отозваться не только об особе императора и его семье, но и о лошади, которая имела честь носить эту священную особу, о карете, в которой он проехал, об одежде, которую он носил, о его дворце, обеде, горничной королевы и привратнике, стоявшем у дверей дворца; стоило осудить распоряжение министра, приговор суда; стоило плохо отозваться об управляющем винными откупами, правителе области, чиновнике, собирающем подарки, или даже о полицейском; стоило пожаловаться на свою жизнь, голодному сказать, что он голоден, нищему, что он нищий, рабу, что он раб, — как все они немедленно чувствовали порыв раскаяния и являлись ко дворцу просить милости императора.

Так как все подобные преступления совершались почему-то главным образом мужчинами в зрелом возрасте и притом способными к тяжелым работам, то постройка не чувствовала недостатка в рабочей силе.

Кроме лиц, совершивших то или иное преступление против законов государства, сословие преступников включало подданных, самым своим рождением поставленных в этот разряд: таковы были потомки короткобородых, все их родственники, все представители изгнанной из государства расы и все лица, в жилах которых текла хотя бы капля ее презренной крови, таковы были и все молодые люди низкого происхождения, еще не отрастившие бороды установленного размера. Пребывание их в столь юном возрасте на каторжных работах способствовало, по мнению правительства, выработке в них уважения к законам государства и обостряло мало развитую у низших сословий расовую совесть.

Размещались преступники, составлявшие довольно-таки многочисленную категорию подданных, в тех огромных домах, которые я справедливо принял за тюрьмы, и исполняли самые тяжелые работы под надзором особых надсмотрщиков, обладавших полной властью над их жизнью и смертью. Положением своим они, как уверяли меня, были довольны, и редкий не добивался права отбывать наказание в двойном и тройном размере, ссылаясь на совершенные ими нарушения уставов тюрем. Государь милостиво удовлетворял подобные просьбы.

Впрочем, бегство из этих тюрем тоже не было редким явлением, но бежали преступники вовсе не с той целью, чтобы из-

бегнуть наказания; они бежали с одной целью: чтобы, добровольно явившись ко дворцу, накинуть себе на шею намыленную веревку.

Вместе с государем посетил я однажды лагерь преступников. Он произвел на меня неблагоприятное впечатление: жили преступники в тесноте, спали вповалку на голом полу, на пропитание им выдавалось только три *биттля* картошки и один *биттль* хлеба, одежды не полагалось никакой — они донашивали свою, пока она не свалится с плеч, и только тогда им разрешалось обращаться за помощью к своим сердобольным согражданам. Помещение было заставлено многочисленными приборами, облегчавшими телесные наказания, которым преступники подвергались за малейшие провинности. Описывать эти приборы я не буду и не потому, что не смог бы толково их описать, а только из опасения, что какое-либо из европейских правительств соблазнится и вздумает ввести их в свой обиход.

Признаться, несмотря на то, что мне во время моих путешествий приходилось не раз быть самому и видеть других людей в самых отчаянных положениях, мне было больно смотреть на этих несчастных, изнуренных голодом, побоями и непосильной работой.

Но оказалось, что и тут я, как всегда, ошибался.

Изнуренный вид преступников объяснялся совсем другими причинами: их замучила совесть, подсказывавшая, что они недостаточно искупают свою вину. Они торжественно поднесли императору ценные подарки, для приобретения которых на две недели отказались от своей порции хлеба, и как один человек заявили, что им дают мало работы.

Государь милостиво выслушал преступников и разрешил им работать лишние три часа в сутки, отменив заодно и праздники, хотя об этом они и забыли попросить.

Преступники горячо благодарили своего государя.

Но не прошло и трех дней, как их одолел новый пароксизм раскаяния. Через своих надсмотрщиков они заявили императору, что не будут работать до тех пор, пока стража не будет усилена солдатами личной гвардии короля, причем на содержание этой стражи они отказывались от части своего и без того скудного пайка.

Государь удовлетворил и эту просьбу. Отряды гвардии разместились вблизи тюрем и барачков, места работы были оцеплены часовыми, часть преступников прикована к тачкам, а некоторые из них повесились у тюремных ворот, чтобы примером своим показать товарищам, какого наказания все они заслуживают.

Эти меры временно прекратили ставшую опасной для спокойствия и порядка гипертрофию совести у преступников.

Мое описание не будет полным, если я подробно не остановлюсь на описании личной гвардии короля, игравшей далеко не последнюю роль в государственном устройстве Юбераллии.

Эта воинская часть, носившая коричневую форму и ломаные кресты на рукавах, считалась лучшей воинской силой и служила образцом для всех прочих воинских организаций.

Доступ в нее был затруднен многочисленными ограничениями, касавшимися как физических качеств, так и, главным образом, происхождения, потому что лица, принадлежавшие к гвардии, должны были являться воплощением всех лучших свойств нации. Министр народонаселения мечтал даже о том, чтобы только этим лицам было предоставлено право оставлять после себя потомство, но осуществлению этой мечты мешала, с одной стороны, косность низших сословий, впитавших с молоком матери тот предрассудок, что лучше плохой ребенок, да свой, а с другой — предпочтение, оказываемое членами этой организации тому типу любви, жрецами которой были в древности многие знатные римляне, некоторые цезари и даже сам божественный Платон, тому типу, который не требует участия женской половины человеческого рода и, следовательно, не способствует его размножению. Из презрения к женщине, являвшегося одним из основных свойств высшей расы, гвардейцы вступали в брак только с лицами своего пола, причем браки эти заключались официально и о них давался соответствующий приказ по команде.

Гвардия размещалась в просторных, хорошо обставленных казармах, причем никто, кроме высших начальников, не имел права на отдельную комнату: вся жизнь, не исключая самых интимных сторон, проходила у них на глазах друг друга.

Все гвардейцы были связаны клятвой верности императору, почитаемому ими за бога, при встречах обменивались особыми приветствиями и, вступая в гвардию, давали обет на всю жизнь ни разу не прикоснуться к книге и не написать ни одного письма. Это условие большинству было нетрудно выполнить, так как мало кто из них был грамотен.

Высшие сословия страны, из которых вербовалась гвардия, а за ними и вся страна приняли систему воспитания, не сходную с европейской. Если мы, особенно в последнее время, направляем все силы на развитие умственных способностей, то в основу педагогической системы Юбераллии положено воспитание характера, причем высшим проявлением характера считается способность к повиновению. Ум, по их мнению, опасен для формирования характера и потому его развивать не стараются, особенно же следя за тем, чтобы дети не приобрели пагубной привычки к рассуждениям.

— Если все будут рассуждать, — говорят они, — кто же будет повиноваться? Рассуждают только те, кому это необходимо, и то только в меру этой необходимости: таковы министры и высшие начальники. Остальные беспрекословно повинуются.

Поэтому грамота, развивающая склонный к рассуждениям ум, считается только терпимой и преподается лишь тем, кто в дальнейшем не мог бы без нее обойтись: будущим чиновникам — чтобы они могли прочесть приказы императора, купцам — чтобы они не ошибались в расчете следуемых с них пошлин, врачам — чтобы они усвоили несколько непонятных простым смертным слов, ибо без этого нельзя отправлять медицинской профессии — дети же лордов, которых готовят к службе в личной гвардии императора, грамоты не изучают.

Приказы по гвардии пишутся особыми чиновниками, которые и читают их перед фронтом. К таким чиновникам гвардейцы относятся с презрением, а так как они принуждены жить в тех же казармах, то любой преступник позавидовал бы участи этих людей. Если самому гвардейцу придется в каком-нибудь исключительном случае прикоснуться к книге или письменному приказу, он может сделать это, только надев перчатки.

Зато в деле повиновения начальникам гвардия достигла чудес. Я сам видел, как молодой гвардеец съел кал своего начальника и даже уверял потом, что это очень вкусно и питательно.

Ко всем не принадлежащим к гвардии, исключая, конечно, лордов и высших чинов государства, гвардейцы относятся как к неполноценным людям, общение с которыми считается в их среде позором. Так, мне ни разу не пришлось вступить в разговор ни с одним из гвардейцев, хотя я свободно разговаривал с самим императором: гвардейцы обходили меня, как чужестранца.

Для военных действий против внешнего врага личная гвардия не предназначалась; ею пользовались только внутри государства, так что она собственно составляла особую полицейскую часть. Гвардейцы были незаменимы в случаях явного неповиновения или сопротивления властям: обладая наиболее чистой кровью и являясь поэтому живым воплощением расовой совести, они одним своим появлением в тех местах, где грозило возникнуть преступление, заставляли немедленно раскаяться даже тех, кто никакого преступления не совершал, а преступник немедленно выражал желание потерять самую способность впредь совершать преступления, если бы даже для этого ему пришлось расстаться с жизнью.

Надо ли говорить, что император любил свою гвардию и, несмотря на свою скупость, берег ее как зеницу ока, не жа-

лея для нее ничего. Точно так же, как говорили мне, любило гвардию и все остальное население страны, но в этом я несколько сомневаюсь. Появление гвардейца в людных местах всегда было связано с некоторой неловкостью и явно выраженным желанием публики поскорее разойтись по домам.

Когда я неосторожно выразил это сомнение одному из придворных, тот справедливо возразил мне:

— А разве не то же действие оказывает на нас наша совесть?

## Глава десятая

*Миролюбие правительства Юбераллии. Обилие мирных конференций. Посещение Юбераллии послами дружественной державы. Каким образом стремление к миру может вызвать войну. Гулливер исполняет обязанности летописца. Первая победа и возвращение императора. Как отозвалось на победу население лучшей из стран.*

Огромная армия, вечные парады, ученья, маневры, передвижения войск к границам государства,— все говорило, казалось бы, о том, что правительство Юбераллии готовится к кровопролитной войне.

Но когда я однажды выразил вслух подобное предположение, то мне чуть было не пришлось предстать перед императором в качестве преступника, готового пойти на каторжные работы. Хорошо еще, что во дворце считались с моим чужестранным происхождением и снисходительно относились к проступкам, свершенным мною по неведению обычаев страны. Дело в том, что, по словам придворных, обилие войск свидетельствовало только о желании страны жить в мире со своими соседями, а военные приготовления имели целью только упрочить этот мир.

Правительство Юбераллии неоднократно выражало свое миролюбие в указах и манифестах, послы императора с этой же целью разъезжали по соседним государствам и, заверив в отсутствии у своего повелителя каких бы то ни было воинственных намерений, просили у них в виде премии займы более или менее крупные суммы.

Доверия эти заявления почему-то нигде не встречали, а одна из стран, неосмотрительно рискнувшая дать императору займы, поставила условием ни в каком случае не употреблять этих денег на военные нужды. Император пошел на это условие и, получив деньги, потратил их на выплату жалованья чиновникам. А дальше ему уже никто не мог помешать израсходовать

собственные свои, предназначенные для чиновников, деньги на постройку двух военных кораблей.

Но несмотря на столь явно выраженные миролюбивые намерения, правительству лучшей из стран пришлось и очень скоро ввязаться в войну. Вспоминая все предшествовавшие катастрофе события, я полагаю, что только искреннее желание мира, проявленное императором Юбераллии, было причиной этой кровопролитной и несчастной для правительства лучшей из стран войны.

Ближайшим соседом Юбераллии была Узегундия, государство, населенное низшей расой, созданной самим богом для того, чтобы находиться в рабстве у жителей лучшей из стран. Но император, рискуя нарушить волю самого Создателя вселенной, великодушно терпел существование этого государства. И даже после того, как изгнанные из Юбераллии короткобородые и представители презренной расы нашли приют в Узегундии, император не предпринял против этой страны враждебных действий и, только опасаясь коварства и злобы своих смертельных врагов, приютившихся в Узегундии, построил на границах с этим государством новые укрепления и увеличил свою армию в два раза.

Узегундцы не могли понять великодушного шага императора — они тоже увеличили свою армию и тоже стали возводить укрепления. Непонимание дошло до того, что каждый раз, когда император из стремления к миру увеличивал количество своих войск, возводил укрепления, отливал новые пушки, узегундцы делали то же самое, обнаруживая этим свое стремление к войне.

Напрасно император доказывал своим беспокойным соседям, что им благоразумнее будет примириться с военным превосходством Юбераллии. Напрасно доказывал, что низшая раса нарушает законы самого Бога, стремясь в чем бы то ни было, а в особенности в военной мощи, сравняться с высшей из человеческих рас, населяющей Юбераллию. Коварный сосед не внимал никаким убеждениям и даже имел наглость возражать против того, что император при помощи своих агентов возбуждает юбералльцев, в ничтожном меньшинстве живущих на землях Узегундии, к восстанию против своих недостойных правителей.

— Каждый член высшей расы, где бы он ни жил, обязан подчиняться мне, — говорил император. — Этого требует кровь его расы.

Но и такая простая истина, как полная невозможность для юбералльца подчиняться существам, едва ли достойным звания человека, не доходила до разума ничтожных правителей Узегундии. Император все это терпел и, несмотря ни на что, продолжал мирные переговоры. Семнадцать мирных конферен-



ций состоялось между этими странами в течение одного только года и ни одна из них не привела к желательным результатам.

В таком положении были отношения между странами, когда состоялась восемнадцатая конференция. Насколько серьезно подошел к этой конференции император лучшей из стран, говорит тот факт, что он в доказательство своего миролюбия выставил к границам Узегундии почти всю армию. Противная сторона сделала то же самое, доказывая этим свои воинственные намерения.

Конференция прошла весьма успешно и закончилась торжественным посещением Юбераллии послами дружественной отныне Узегундии. Целью этого посольства было разрешение на месте мелких пограничных недоразумений и соглашение об уводе войск от границ.

Я имел счастье видеть в стенах дворца это посольство. Посол показался мне простым и симпатичным человеком. Улучив минуту, я успел задать ему только один вопрос.

— Неужели,— спросил я,— два таких государства разделяет вопрос о длине бороды?

— Вздор!— ответил посол.— Пусть этот мошенник,— так неуважительно отозвался он об особе его величества, зная, что я этого комплимента никогда не передам государю,— морочит своей бородой собственных подданных. Он разорил свой народ, обратил его в рабство, теперь подбирается к нашему Дудки.

Мне очень понравилась речь посла и особенно ее стиль — я давно отвык от таких непринужденных высказываний. Видимо, условность и ложь не нашли достаточной почвы в Узегундии, так же как не привилось там, несмотря на все старания императора, учение о чистоте расы и превосходстве одной нации над другой, не заметил я и раболепства в отношениях между членами посольства — последний из секретарей беседовал с послом как равный с равным. Я бы с удовольствием продлил свой разговор, расспросив симпатичного посла о многих интересующих меня вопросах, но церемониймейстер императора, заметив беспорядок, прекратил нашу беседу.

Для решения пограничных споров была образована особая комиссия, а между обоими государствами провозглашен вечный мир и дружба. В ознаменование этой дружбы войска императора перешли границы и заняли несколько городов и местечек Узегундии. Склонное объяснять каждый шаг правительства лучшей из стран враждебными намерениями, правительство Узегундии заявило протест и потребовало увода войск. И может быть, император уступил бы, как всегда, но население занятых его войсками местечек выразило желание навеки стать подданными государя Юбераллии. Император по неизменному мило-

сердию своему не мог не удовлетворить этой просьбы — и его новые подданные до сих пор наслаждались бы желанными свободой и довольством, а Юбераллия миром, если бы коварное правительство Узегундии изменнически не напало на войска императора.

В отличие от европейских порядков, объявление войны считалось здесь недостойным для правительства делом: оно только заключало мир. Война обычно начиналась сама собой и чаще всего без ведома миролюбивых начальей.

— Заговорили пушки, — объяснил мне военный министр.

Коли уж неодушевленные предметы начинают говорить — что делать правительству? Оставаться глухим и слепым и равнодушно смотреть, как военное снаряжение одного государства уничтожает военное снаряжение другого?

В борьбу неодушевленных вещей поневоле должны вступить люди, чтобы ускорить наступление желанного для всех мира.

Как бы то ни было — война началась.

И столица, и страна пришли в движение. Дворец кипел, как улей. Вереница карет подвозила ко дворцу лордов и герцогов, подносявших императору ценные подарки и предоставлявших самих себя и своих людей в его распоряжение. Фермеры везли хлеб, птицу и живность в подарок армии. Все, кто еще не был под ружьем, стремились записаться добровольцами. Полиция сбилась с ног, проводя ко дворцу все новых и новых добровольцев, почему-либо забывших туда дорогу. Личная гвардия короля разбросалась по всей стране, пробуждая заснувшую совесть не явившихся к своим частям солдат и фермеров, забывших поднести свои подарки. Преступники вспоминали совершенные много лет назад преступления и тоже являлись ко дворцу с просьбой назначить их на каторжные работы. От воя и плача жен и детей уходивших на войну солдат в городе стоял такой гул, словно плакали самые стены.

Все население дворца встретило войну явным ликованием. Чувствовалось, что какое-то долго сдерживаемое напряжение наконец разрешилось. Чувствовалось, что здесь, начиная от императора и кончая привратником, только и ждали этого момента, только к нему и готовились.

И никто теперь не ссылался на миролюбие императора. Все придворные, которых я встречал в этот день, говорили:

— Наконец-то мы наслаждаемся войной.

Министры во главе с императором, разложив на столе огромную карту, обсуждали, какие области Узегундии следует завоевать немедленно, а завоевание каких областей надо отложить. Возобладало мнение, что следует завоевать всю Узегундию, а некоторые предлагали, не ограничиваясь одной страной, теперь же прихватить заодно и все те страны, которые

могут в будущем дать приют изгнанным из Юбераллии короткобородым.

— Мир только тогда будет обеспечен, — сказал император, — когда мы сделаемся господами всей земли. И это тем более справедливо, что мы только выполним волю Бога, создавшего нас для владычества над всеми народами.

Противиться божьей воле было по крайней мере неразумно, и все согласилось с мнением императора.

Оставалось только установить, в какие сроки какие области и государства должны будут пасть к ногам его величества, установить размеры контрибуции с побежденных стран, количество налогов, которые можно собрать с завоеванных провинций, предугадать, какие подарки поднесут императору жители вновь присоединенных областей в благодарность за избавление от ига своих недостойных правителей.

Император был так уверен в победе, что в тот же день выехал к войскам, чтобы лично принимать приветствия и подарки своих новых подданных.

Война потребовала напряжения всех сил, и я не мог оставаться праздным. Мне, как самому грамотному из придворных, поручено было составление реляций о победах.

Для этой цели дана была мне карта, на которой заранее было помечено, какие города и в какой день будут отняты от неприятеля. Чтобы сократить работу, я написал реляции на месяц вперед, подробно проставляя количество убитых, раненых, пропавших без вести и взятых в плен с той и с другой стороны, причем потери императора Юбераллии были ничтожны, а потери врага превышали всякое воображение.

Но я не ограничился только сухим перечислением фактов. Если бы согласился мой издатель, я привел бы целиком это свое произведение, по достоинствам равное только величию описываемых событий. Что Тит Ливий, что Тацит, что комментарию Цезаря, что Геродот и Фукидид перед этим произведением моего пера!

Как изобразил я героизм славных войск его императорского величества — и какими красками трусость и зверство его врагов! Какие подвиги показали славные солдаты лучшей из стран! Если бы вы только прочли, как один из низших офицерских чинов, которому ядром оторвало голову, не заметив этого, с обнаженной саблей ринулся в самую толщу врагов и взял в плен одиннадцать тысяч человек. За это государь наградил его орденом курицы — высшим орденом государства, дающим право на пожизненные бесплатные обеды в столовых общества призрания инвалидов.

Если бы вы прочли описание падения столицы Узегундии! Что перед ним знаменитое разрушение Трои! Десять месяцев

длилась осада. Как голодал отрезанный от всего мира город! Чего только я не заставил есть его несчастных жителей! Вороны и крысы, павшие лошади и трупы своих же воинов — вот лучшие из блюд, входивших в меню этих несчастных. Даже сейчас, когда я вспоминаю о том, чем питались эти люди, меня тошнит от отвращения.

Вы прочтите, как солдаты личной гвардии короля, не дождавись завязших где-то в грязи таранов, собственными лбами разрушили крепчайшую из стен, окружавших город, и как неустрашимо прорвалась вслед за ними вся армия императора.

А торжественный въезд в побежденную столицу, а встреча, которую устроили императору его недавние враги, а великодушные императора к побежденным? Стоит только сказать, что он, движимый единственно милосердием, разрешил всем своим врагам повеситься в любом месте и на любой веревке, не дожидаясь постройки специальных виселиц.

Перечисление одних подарков, поднесенных императору, заняло у меня сто двадцать страниц убогистого текста.

К сожалению, я принужден отложить опубликование этой работы до осени будущего года.

Мои репортажи, а в особенности описание военных действий, имели вполне заслуженный успех. Чиновник, заведовавший их печатанием, тотчас же распорядился немедленно опубликовать их, и они ежедневно, даже после заключения мира, выходили в свет и вывешивались на всех площадях ко всеобщему сведению.

Перейду к описанию дальнейших событий.

Не успели еще догореть костры иллюминаций, не успели разойтись торжественные процессии, которыми население страны ознаменовало начало военных действий, только что утомился дворец и я, утомленный трудом, едва успел улечься на свою жесткую койку, как раздался ужасный стук в дверь, заставивший меня подумать, что в отсутствие императора на дворец напали разбойники, и пожалеть о том, что у моих дверей нет часового. В чем был, выскочил я к подъезду дворца. Выскочили и другие обитатели.

— Кто там?— намеренно суровым тоном спросил привратник.

Мы все шумели как могли, чтобы разбойники, испугавшись нашего многолюдства, оставили всякую мысль о нападении.

— Император,— произнес за дверью чей-то тихий и жалобный голос. Мы не поверили, но когда тот же голос сделался раздраженным и произнес несколько отчаянных ругательств, мы узнали нашего короля.

Он вернулся с фронта военных действий без свиты. Измученная лошадь бездыханной пала у порога. Одежда императора

носила следы крови и грязи. Сам он был бледен и придерживался одной рукой за панталоны, словно боясь потерять что-то весьма драгоценное, находящееся в этой принадлежности его туалета.

— Ваше величество! Одни! Почему?— зашумели придворные, бросившись к государю, чтобы помочь ему подняться в императорские покои.

Но он отстранил всех и задыхающимся голосом тихо произнес:

— Победа. Победа.

И бегом побежал в свою спальню, где ждала его перепуганная королева.

Слух о победе немедленно разнесся по городу. Уже с утра десятки тысяч дезертировавших с фронта солдат — трусы есть везде,— узнав о победе, явились ко дворцу с просьбой о помиловании и обещанием искупить свое преступление в новых боях. Дезертиров под охраной гвардии отсылали на границу, но энтузиазм народа не иссякал, приходили все новые и новые толпы дезертиров, и казалось, что им не будет конца.

Откликнулось на победу и гражданское население. Сбравшись ко дворцу, оно потребовало в ознаменование столь успешного начала военных действий конфисковать в пользу армии четвертую часть своего имущества.

Каюсь, я тоже вышел ко дворцу и кричал громче всех, в расчете на то, что мне терять нечего. Имущество мое, как вы знаете, состояло из кафтана и штанов, а золото, привезенное из Англии, я так хорошо зашил под заплатки штанов, что вряд ли кто сумел бы его отыскать.

## Глава одиннадцатая

*Конфискация четвертой части имущества. Мудрое решение судьи по вопросу о кафтане. Гулливер советует императору прекратить войну. Благоразумие императора и неосторожность Гулливера. Гулливер заключен в тюрьму.*

На другой день утром, движимый любопытством, я спросил военного министра:

— Что слышно с фронта?

— Прочтите реляцию,— сказал он, подавая мне свежотпечатанный листок, составленный мною самим еще до возвращения императора. Я с удовольствием прочел это прекрасное произведение, но любопытство мое так и осталось неудовлетворенным.

За обедом король был бледен и почти ничего не ел. В на-

строении придворных заметен был явный упадок: казалось, что победа не радовала никого.

Из новостей дня, кроме согласия императора на неотступные просьбы подданных о конфискации четвертой части имущества, отмечу также изданный уже по инициативе правительства закон о том, что подданные великого государя Юбераллии не любят мяса. Мясо тотчас же исчезло из дешевых трактиров и с рынка и осталось лишь во дворце и в дорогих ресторанах, где обедали знать и высшие воинские чины.

К сбору четвертой части имущества было приступлено немедленно. Из боязни, что подданные могут разорить себя, отдав вместо четверти половину или даже три четверти, справедливая оценка возложена была на специальных агентов, ходивших с этой целью из дома в дом.

Читатель знает уже, из чего состояло мое имущество. Штаны были сильно порваны и пестрели заплатами, а кафтан, после того как горничная починила и почистила его, имел вполне приличный вид.

Когда я предъявил эти вещи агенту, тот признал, что четвертой частью моего имущества является верх кафтана, сшитый из тонкого английского сукна, а подкладку и штаны великодушно оставил мне. Я не согласился, утверждая, что шелковая подкладка прекрасно сойдет за четверть имущества, и предлагал тотчас же спорить ее и отдать на нужды войны.

Мы спорили долго, всевозможными доводами убеждая друг друга, но к соглашению, по упрямству моему, свойственному и всем моим соотечественникам, прийти не могли. Спор должен был разрешить особый судья. Я пришел к нему вместе с кафтаном и сборщиком и заявил, что готов немедленно пожертвовать подкладку.

— Что же,— сказал судья,— раз вы ее жертвуете, она уже принадлежит государству.

Я начал было спарывать подкладку, но судья остановил меня.

— А что же вы даете как четвертую часть?

И потребовал от меня верх кафтана.

Так как он при этом покосился на штаны, я не возразил ни слова и положил кафтан на стол перед судьей. Покамест я проверял, не осталось ли в карманах какой-нибудь монеты, судья встал и, торжественно обратившись к собравшимся в значительном числе зрителям, произнес следующую речь:

— Господа,— сказал он,— вы видите прекрасный, трогательный пример. Вы видите,— все повышая и повышая голос, продолжал он,— этот человек — чужестранец. Как глубоко принял он к сердцу нужды нашего отечества. Он снял с себя последнюю одежду. Он жертвует ее императору. Неужели никто из вас, подданных страны, не последует его примеру?

Публика всколыхнулась, некоторые попытались было пробраться к двери, но не тут-то было.

Огромный жандарм, загородив дверь и широко расставив свои мощные руки, громко возгласил:

— Мы все последуем примеру этого доблестного чужестранца.

Через пять минут судейский стол был завален горами лохмотьев.

Я поспешил поскорее уйти, так как побаивался, что дело дойдет до штанов. И не только потому, что в них скрывались все мои сбережения: я боялся еще жалкого вида своих голых ног, обросших рыжеватой английской шерстью.

Какие известия получал король через секретного курьера, ежедневно привозившего толстые пакеты с донесениями, о чем совещался государь с военным министром и с главнокомандующим армией, что говорил императору первый министр и что говорил первому министру император — все это мы узнаем потом, когда все эти деятели напишут свои мемуары. Я пишу свои и рассказываю только о том, что знаю.

Император, занятый государственными делами, больше не приглашал меня к себе. Лишенный возможности забавлять государя, я остался, в сущности, при прежнем занятии, забавляя теперь уже все население страны. Я писал реляции о военных действиях, нимало не беспокоясь о том, что происходило в действительности, облегчая тем задачу будущего историка Юбералли, которому в противном случае пришлось бы самому переделывать поражения в победы, а историки, как известно, не обладают достаточным для этой цели воображением.

По моим реляциям знакомились с военными действиями даже придворные, не принадлежавшие к избранному кругу руководителей страны. По этим реляциям мы вели разговоры за обедом, восхищаясь мужеством и храбростью наших войск, талантами полководцев, повторяя особо выдающиеся эпизоды войны. А что любопытнее всего — по этим же реляциям выдавались и награды особо отличившимся солдатам и офицерам.

Не улегся и патриотический подъем населения: ежедневно проходили мимо дворца тысячи дезертиров, бежавших с фронта, и, даже не останавливаясь, чтобы выслушать приговор, под надежной охраной отправлялись на фронт. Особо злые из них тут же на площади вешали себя, и их трупы, покачиваясь на тонких веревках, лучше всяких слов доказывали необходимость победоносно сражаться с врагом. Не прекращался и приток добровольных пожертвованных — мне кажется, что уже и вторая четверть имущества перешла из карманов населения в широкие закрома государственного казначейства.

Мало того: понимая, что армия без хлеба не может воевать, население потребовало глубокого уважения к этому продукту. Первыми проявили уважение торговцы, повысив цены на зерно в три раза. Хлеб исчез с рынков и из дешевых тракторов. Поговаривали также о том, что подданным императора хлеб настолько же опротивел, как и мясо, и что они собираются целиком перейти на отруби, соновую кору и картошку. Одна категория населения, а именно преступники, так и сделали. Чувствуя себя особо обязанными королю за его милости, они отказались от своей скудной порции хлеба.

Вообще эта многочисленнейшая категория подданных императора отличалась исключительным самоотвержением. Но даже двор и сам император были изумлены, когда в трех-четыре лагерьях преступники бросили работу и, повесив нерадивых надсмотрщиков, потребовали так называемой *децимации*, то есть казни каждого десятого из их среды. Сделать это они считали необходимым в тех целях, чтобы, уничтожив десятую часть нечистого элемента, создать большее единство в нации и тем самым укрепить силу государства.

Правительство нашло эту меру вполне своевременной.

Я, признаться, принял все эти разговоры за шутки, но в этой серьезной стране, как я уже говорил, шуток не понимали. Сам я понял всю серьезность положения только тогда, когда мимо дворца продефилировала первая партия преступников и полицейские тут же стали отделять каждого десятого из них и те немедленно выполнили свое искреннейшее желание расстаться с земной юдолью.

Не хватало виселиц и гильотин, некому было убирать трупы, на прилегающих ко дворцу улицах не умолкал женский вой. И хотя я прекрасно знал, чем грозит мне, бездомному чужестранцу, вмешательство в чужие дела, я не мог стерпеть и, улучив минуту, когда король в уединении предавался своим занятиям, попросил его выслушать меня.

Против ожидания король принял мое предложение весьма благосклонно. Я заметил, что у него измученное бледное лицо, что он одряхлел за эти несколько недель.

— Ваше императорское величество,— сказал я,— не мне вмешиваться в дела вашего мудрого правления. Но я веду отчеты о славных делах и победах вашей несокрушимой армии — и могу вас заверить, что любая из европейских стран, в том числе и мое отечество, удовлетворилась бы тем уроком, который вы дали врагу, и предложила бы ему мир на почетных условиях.

Император понял меня. Он улыбнулся, а это было знаком его искреннего расположения.

— Твое отечество — варварская страна,— сказал он.— Если



для нее достаточно и таких побед, то мы как представители высшей из наций не можем ими удовлетвориться.

— Ваше величество,— продолжал я,— ореол славы уже блистает над вашей головой. Весь мир считает вас мудрейшим из правителей, подданные благоденствуют под вашим скипетром и ежечасно благословляют вас. Все знают, наконец, о вашем искреннем миролюбии; поверьте мне, никто не примет вашего великодушного решения за признак слабости.

По лицу императора я видел, что речь моя понравилась ему. Может быть, слова мои были лишь подтверждением его затаенных мыслей. Может быть, то же самое говорили ему и другие советники. Может быть, я нашел только слова, какими следовало выразить эту мысль, чтобы ее с честью можно было преподнести вниманию всех подданных.

Успех разгорячил меня.

— Должен ли мудрый правитель слушаться своих подданных? Как неразумные люди могут распорядиться человеком, обладающим божественным разумом? Следовало ли слушать каких-то глубоко порочных преступников и выполнять их глупую мысль о казни каждого десятого? Не лучше ли было бы лишить их вашей императорской милости и начать снова, назло им, выдавать каждому по *биттлю* хлеба ежедневно?

Несмотря на то, что я осудил одно из важнейших мероприятий правительства по борьбе со все нараставшим брожением среди низших и наиболее обездоленных войной слоев населения Юбераллии, грозившим вылиться в прямое восстание против императора, король выслушал мою речь спокойно. Видимо, эта жестокая мера не привела к желательным результатам.

— Государь,— в тех выражениях, которые единственно были возможны в этой стране, познакомил я императора с одним из трагичнейших событий нашей истории.— Государь, один из наших королей, который так же, как и ваше величество, заботился о счастье своих подданных, принужден был сам просить милости народа, и народ разрешил ему положить свою голову под топор палача.

Эти слова вывели короля из молчания.

— Да,— словно раздумывая, ответил он.— Это бывает. Чего не сделает мудрый правитель для блага своих подданных.

Успех сделал меня полубезумным.

— Я бы понимал,— продолжал я,— если бы ваше величество стремились к завоеваниям, но Бог и так наградил вас обширными владениями. Да и что мешает вашему миру с Узе-гундией?..

Тут язык мой понесся как лошадь без узда.

— Что? Вопрос о том, до какого размера следует отпускать бороду. Не все ли равно? Ведь этот вопрос...

Я не кончил. Лицо короля изменилось. Выпученными глазами он уставился на меня и как будто ничего не видел. Вот-вот он упадет в обморок.

Я понял, что сказал лишнее. Стараясь не смотреть на короля, я попятился к двери и, быстро пересчитав ступеньки лестницы, спрятался в своей камерке.

Я ожидал всего, только не этого. *Король искренне верил в важность пресловутого вопроса.*

Если бы я ему сказал, что не длинную бороду следует носить, а наоборот, короткую, он, может быть, и не был бы так разгневан. Но скептического отношения к важнейшему из государственных вопросов, отрицания за ним какого бы то ни было значения император не мог стерпеть.

Я до вечера просидел в своей комнате, упрекая себя за невоздержность языка в самых изысканных выражениях, какие только известны извозчикам нашей страны. Я не обратил даже внимания на необычную беготню во дворце, я даже не обрадовался, когда привратник с веселым лицом сообщил мне важнейшую новость:

— Враг предлагает перемирие.

Меня беспокоила только моя собственная участь.

Преступление было настолько необычно, что я даже не ходил просить милости императора. Той же ночью двое полицейских, заковав мои ноги в кандалы, отвели меня в одну из самых больших и благоустроенных тюрем империи, где мне отвели, правда, небольшую, но очень уютную комнатку.

А чтобы я мог спокойно обдумать всю тяжесть своего преступления, в эту комнату, несмотря на недостаток подобных помещений, кроме меня, никого не посадили.

## Глава двенадцатая

*Совет министров обсуждает вопрос о преступлении Гулливера. Несколько цитат из произведений философов Юбераллии. Решение совета министров и указ императора. Гулливер, сидя в тюрьме, с удивлением замечает, что о нем забыли.*

Не буду уверять читателя, что я равнодушно перенес перемену в своей судьбе. Нет. Переход от жизни во дворце к тюремному режиму был очень чувствителен для меня. Я даже не мог понять, как могут подданные императора добровольно обречь себя на заточение и даже при этом питаться одной картошкой. Признаюсь, что, оказавшись в положении преступника, я не почувствовал ни на минуту прису-

щего этим последним отвращения к мясу, маслу и даже хлебу. Точно также я не испытывал неудовольствия от того, что меня не заставляют работать: как ни скучно было сидеть одному, вряд ли бы я добровольно пошел таскать тяжелые тачки.

Все это происходило, вероятно, оттого, что я не имел чести принадлежать к столь высокой разновидности человеческого рода, какой была нация, населяющая лучшую из стран.

Только к одному способу искупления своей вины я оказался способным: сидя на жесткой постели и выстукивая кандалами печальную мелодию, я жестоко раскаивался в своем преступлении.

— Дурак ты, дурак,— говорил я сам себе,— надо было не болтать таких глупостей. А раз уж сорвалось с языка, чего тебе стоило выпутаться.

И верно — но хорошие мысли приходят к нам слишком поздно. Ведь стоило мне, увидев изумление императора, добавить:

— *Ведь длина бороды зависит от милости вашего императорского величества.*

Кто бы тогда смог обвинить меня в недостойном высшей из рас скептицизме? Наоборот, я указал бы императору новые пути к разрешению этой проблемы.

— Дурак ты, дурак,— повторял я в горьком отчаянии.

А в это время во дворце совершался суд над моей ничтожной особой.

Преступление мое было столь необычным, что ни одним законом или указом оно не было предусмотрено. Главный судья потребовал было на этом основании отказаться от обсуждения моего дела, предоставив решение самому императору, но император, указав, что я чужестранец и что в моем отечестве без суда не могут даже посадить в тюрьму, потребовал, во избежание международных осложнений, чтобы мне отрубили голову по всем правилам судопроизводства.

Ради этого единственного случая предстояло издать новый закон.

Заседание кабинета министров, посвященное обсуждению закона, продолжалось, как говорят, три дня и три ночи: министры не могли прийти к единодушному, основанному на духе нации и подсказанному чистейшей в мире кровью решению. А ведь только такое они могли предложить императору.

Прения были ожесточенные, каких не было долгие годы. Вспоминались прецеденты, вытаскивались из архивов сохранившиеся от сожжения старые указы, стряхивалась пыль с сочинений давно забытых философов и мудрецов.

Но нигде, ни в указах, ни в архивах, ни в творениях мудре-

цов подобное преступление предусмотрено не было. А если мудрейшие люди и сам император не могли предусмотреть подобного случая, то возможен ли он?

— Такой случай невозможен,— сказал главный судья, обнюхивая длинным своим носом успевшее сделаться очень пухлым «дело так называемого Гулливера из Нотингемшира».

— Ни один человек в мире,— подтвердил начальник полиции,— не может даже возыметь подобной мысли, не то что высказывать ее вслух при самом императоре.

— Но ведь человек, называющий себя Гулливером, такие слова произнес,— сказал военный министр.— Об этом нам сообщил сам император. А разве мы можем не поверить императору?

— Человек, называющий себя Гулливером, должен быть наказан,— напомнил председатель совета отцов.

Все согласились, что, несмотря на невозможность преступления, оно было совершено и должно быть очень строго наказано.

Тогда взял слово первый министр.

— Мог ли быть совершен проступок, который невозможен?— сказал он.— Нет, не мог. Если бы он был совершен, то это значило бы, что «в объективном мире имеется возможность невозможного. Невозможность же подобной возможности очевидна». Так сказал многоученный Гелляций в своем бессмертном творении «Возможность невозможного».

Некоторые из министров возразили, что вряд ли следует сейчас заходить в подобные дебри.

— Отрубить голову, и все тут,— сказал начальник полиции. Он по самой должности своей всю жизнь вел борьбу как с книгами, так и с теми людьми, которые их читают, и вдруг кто-то при нем ссылается на какую-то книгу.

— Мы поступили бы неосмотрительно,— ответил первый министр.— Гелляций далее говорит,— продолжал он свою цитату,— «что, признавая возможность невозможного, мы тем самым обязываем себя признать и невозможность возможного. А подобную возможность отказывается принять здравый смысл...»

— Ну и что же?— спросил судья, которому не меньше чем начальнику полиции была несносна всякая философия.

— А вот что,— с язвительностью в голосе отпарировал первый министр.— Если возможно невозможное, то император может ошибаться. А если невозможно возможное, то невозможно, чтобы император управлял. А раз оба постулата правильны порознь, то, как говорит последователь Гелляция Ханрониус, они правильны и вместе. Тогда мы получим: император ошибся, невозможно, чтобы он управлял.

— Такого решения вы хотите,— озирая с высоты своей

эрудиции своих малограмотных коллег, заявил первый министр.

Выходило, что, осуждая Гулливера, они совершают преступление, граничащее с бунтом против короля и его власти.

— Но ведь этот проклятый Гулливер все-таки сказал.

— Нет, хоть и сказал, а не говорил.

Наконец выступил министр финансов, которому тоже захотелось похвастать своей эрудицией.

— Сказал, но не говорил,— глубокомысленно начал он, приставив палец ко лбу, и, с трудом следя за развитием собственной мысли, продолжал: «Если невозможно действие, невозможно и его причина, невозможен и действитель»,— так говорит Гелляций. А не менее мудрый Берданий к этому добавляет: «Мы можем признать возможность невозможного действия лишь в том случае, когда действитель невозможен». Значит,— обрадовался министр финансов,— Гулливер, совершивший невозможное, невозможен и сам. А раз он невозможен — его и не существует.

— Как не существует?— всполошился начальник полиции.— А кому же я отпускал каждый день по три *биттля* картошки?

— Пустое,— возразил министр финансов,— я больше не отпускаю на это средств.

Я спокойно сидел и наигрывал на своих кандалах печальные мелодии и не знал, что меня решено признать несуществующим и обсуждают, могу ли я, не существуя, сидеть в тюрьме, возможна ли тюрьма, если она может вместить в себя невозможное, и тому подобные тончайшие вопросы метафизики.

А тем временем решался последний и наиболее важный из этих вопросов.

— Ведь король приказал казнить этого несуществующего Гулливера. Может ли несуществующий субъект, согласно обычаю, прийти к ступеням трона и просить о наказании? Может ли несуществующий субъект выслушать милостивые слова императора? Не значит ли это показать императору призрак и заставить его верить в существование этого призрака? А потом — как его казнить? Ведь казнить — значит уничтожить, а можно ли уничтожить несуществующее?

Ни Гелляций, ни Ханрониус, ни Берданий не касались в своих сочинениях такого важного вопроса, как вопрос об уничтожении несуществующего. Но здравый смысл говорил, что, раз вещь не существует, ее нельзя и уничтожить.

Следовательно, опять выходит, что нельзя казнить этого проклятого Гулливера.

— Да и не надо,— сказал министр финансов,— зачем его казнить, раз его нет на свете.

А более практичный начальник полиции добавил:

— Кормить не будем, и сам сдохнет. Зря мы только время потратили.

На этом же заседании был выработан проект указа, который и поднесен был на подпись его величества. Император нашел указ очень остроумным и приказал обнародовать его во всеобщее сведение.

Указ этот гласил буквально следующее:

Руководствуясь неизреченным Своим милосердием и божественной мудростью, могущественный и великий Император, Спаситель человечества, Повелитель всех народов, Князь света и Наследник солнца, Властитель звезд и луны, Охранитель всех тварей, Царь плодов, животных и птиц указом сим повелевает:

В течение последних месяцев среди подданных Моих распространилось необъяснимое и ни с чем не сообразное заблуждение, будто бы на наш остров на воздушном корабле спустился некий чужестранец, называющий себя капитаном Гулливером из Ноттингемшира в Англии, и будто бы этот чужестранец по неизреченной милости Моей состоял при Моей особе в должности рассказчика своих необыкновенных приключений, а затем в должности летописца победоносной войны Моей с недостойным государем Узегундии, и будто бы он совершил преступление, достойное милостивого Моего разрешения на самоубийство посредством лишения головы.

Сим объявляю, что эти распространяемые злонамеренными и презренными, хитрыми и коварными врагами Моей божественной власти слухи имеют целью опорочить мудрое правление Мое и внушить подданным сомнение в неизменной Моей правоте и мудрости и тем добиться гибели страны, ее свободы и благоденствия.

Все Мои подданные, виновные в том, что после сего Моего указа будут считать упомянутого Гулливера существующим, все, кто заявит устно или письменно, на улице или дома, в общественном или присутственном месте, на рынке, в лавке, в трактире или в церкви, одному лицу или нескольким, или даже только себе самому, что видели означенного Гулливера и говорили с ним, видят его сейчас и говорят с ним, знали о его существовании или сейчас знают, признаются Мною виновными в бунте против Моей божественной власти и должны сознаться в своей вине в течение суток, каковое сознание Я не оставлю Своей милостью.

*Дан в Юбераллии*

*Число, месяц, год*

*Подпись императора.*

Повторяю — я сидел в тюрьме и ничего не знал. Правда, меня несколько удивляло то обстоятельство, что, несмотря на известную мне скорость судопроизводства, мое дело до сих пор еще не решено. Долго ли еще мне сидеть здесь и даром есть драгоценную картошку? Я похудел, отвык от дневного света. Как появлюсь я в таком виде на площади перед дворцом? Почему моих друзей и знакомых лишают удовольствия посмотреть из окна, с каким искусством произведу я над своей головой известную операцию?

И вдруг обо мне забыли.

Наступил час обеда, сторож не принес мне очередной порции картошки. Я постучал в дверь, чтобы напомнить ему, — я слышал за дверью его шаги, — но почему он остановился на полдороге и вернулся назад?

Прошел начальник тюрьмы и не заглянул в глазок моей камеры. Я снова постучал в дверь. Начальник тюрьмы слышал мой стук, но тоже прошел мимо.

Меня забыли.

Воображение нарисовало мне мою печальную участь, и я ткнулся ничком на жесткую постель.

### Глава тринадцатая

*Как, освободившись из тюрьмы, Гулливер только переменял место одиночного заключения. Гулливер узнает о назначенном ему наказании.*

Если бы я был способен предаваться отчаянию, то может быть, сейчас, мой дорогой читатель, вы не смогли бы прочесть эту повесть и ничего не узнали бы о той удивительной стране, в которую я имел несчастье попасть. Но, повторяю, этой способности у меня никогда не было. Убедившись в том, что меня ждет голодная смерть за тюремной решеткой, я не предоставил дел их естественному течению, а всеми доступными мне средствами старался это течение изменить.

Я стучал в дверь, топал ногами по каменному полу тюрьмы, громко кричал. Еще вчера значительно меньший шум заставил бы сбежаться все свободное население тюрьмы, но сейчас, казалось, никто ничего не слышал.

Может быть, враги заняли город и тюремщики разбежались?

Нет. Вот совершенно явственно слышны четкие звуки шагов начальника тюрьмы. Вот шлепающие шаги сторожа. Я снова кричу, я снова стучу кулаками в дверь — и не получаю ответа.

Тюрьма существует, а я забыт.

Ну так я напомню о себе. Я сам пойду к начальнику, если он не идет ко мне. Я буду требовать свои три *биттля* картофе-

ля. Буду требовать, чтобы сторож заходил ко мне. Чтобы начальник заглядывал в мой глазок. Буду требовать, чтобы меня наказали за шум и беспорядок. Пусть меня посадят в карцер. Пусть побьют, наконец.

Как истый британец я знаю свои права и умею отстаивать их, когда нужно.

Спрятанный на всякий случай в штанах небольшой кинжальчик помог мне разделаться с кандалами. Но с дверным замком вряд ли бы удалось мне так же легко расправиться, если бы не бесцеремонная ложь, въевшаяся в этой стране даже в неодушевленные вещи.

Замок оказался ложным.

Правда, он долго противился моим усилиям. Сломать или перепилить его я бы никогда не сумел. Но когда, забыв осторожность, я чересчур сильно нажал на дверь, она сама собой открылась. Да и зачем здесь, где преступники добровольно являются в тюрьму и не могут думать о бегстве, зачем здесь какие-то замки.

Был ранний час утра, когда я, открыв дверь, вышел в тюремные коридоры. Сторож спал. Я подошел к часовому.

— Разрешите пройти к начальнику тюрьмы,— сказал я, остановившись перед ним в самой почтительной позе.

У часового только чуть-чуть дрогнуло ружье.

Я повторил свою просьбу, но он даже не взглянул на меня. Он стоял как вкопанный, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Не понимая причин этого молчания, я пошел вперед, надеясь хоть этим расшевелить окаменевшего часового. Но его не испугала даже опасность бегства такого важного преступника, каким был я.

— А что бы мне и в самом деле уйти из тюрьмы?— сообразил я и отважно зашагал по темным коридорам, не обращая ни малейшего внимания на стражу.

Никто не остановил меня.

— Так я и уйду, черт возьми,— решил я, дойдя до выходной двери. Часовой, стоявший у входа, заметив меня, отвернулся и как ни в чем не бывало зашагал вдоль стены.

«А может быть, во всем этом нет ничего необыкновенного?»— раздумывал я. Порядок освобождения преступников мне не был известен. Может быть, я оправдан судом императора и сам без посторонней помощи должен провести процедуру освобождения. Это вполне соответствовало бы принятым в стране обычаям.

Догадка эта увеличила мою смелость. Я спокойно вышел из тюремного двора и медленно пошел пустой улицей, едва озаренной начинавшимся рассветом.

Бессонная ночь давала знать о себе: следовало поду-



мать о ночлеге. Не мешало бы и поесть — шутка ли, столько времени питаться одной картошкой, а два дня не есть ничего.

Опасаясь до поры до времени появляться близ дворца, я отыскал на городской окраине постоялый двор и решил сделать его своей временной резиденцией.

Войдя в трактир, я отвесил почтительный поклон всем посетителям и попросил кельнершу принести мне пинту эля, кусок жареной баранины и приготовить постель. Кельнерша, с испугом взглянув на меня, тотчас же выскочила за дверь. Прождав ее минут пять, я обратился к соседу, извозчику, допивавшему пятый стакан виски.

— Послушайте, милейший, умерли они все там, что ли?

Извозчик пьяными глазами уставился на меня, открыл было рот, поперхнулся и замолчал.

Я наконец рассердился. Я стукнул кулаком по столу, как это делают подвыпившие матросы в портовых тавернах.

— Эй, хозяин, подавай, что ли, — закричал я.

Красноносый и толстый владелец постоялого двора выскочил из кухни, но, увидев меня, остановился как вкопанный.

— Так-то у вас ухаживают за благородными посетителями, — сказал я.

Хозяин протер глаза и, не ответив ни слова, повернул ко мне толстый с обвисшими панталонами зад и скрылся за перегородкой.

«Не пойдет ли он за полицией, узнав во мне арестанта?» — подумал я и поторопился выйти из негостеприимного трактира.

Это происшествие разогнало сон, но тем сильнее давал знать о себе голод. Я зашел в крошечную таверну. Она была так пустынна, словно туда никто не заходил с самого сотворения мира. Но заспанная хозяйка не обрадовалась посетителю: увидев меня, она тотчас же скрылась, и все мои крики и требования остались без ответа.

Может быть, они не слышат меня? Может быть, я потерял голос, сидя в тюрьме? Но все живые существа, кроме людей, и слышали меня, и понимали. Лошадь, стоявшая у водопоя, подняла на мой окрик благородную голову и поклонилась мне. Я погладил умное животное по спине, оно ответило мне приветливым ржанием.

— Бедный еху, — говорила она, — бедный еху.

И я действительно был достоин жалости.

Уже не рассчитывая получить приют в открытых для всех посетителей гостиницах, я сделал попытку попросить ночлега в бедной семье. Выбрав домик почище, я постучал в окно. Молодое женское лицо выглянуло из-за занавески и тотчас же скрылось. Я думал, что она пошла открывать дверь, и терпеливо

ждал. Прошло полчаса, то же лицо выглянуло снова из окна и снова спряталось.

В первый раз осенила меня догадка, что король облагодетельствовал меня какой-то особенной милостью. Не решил ли он уморить меня голодом, запретив кому бы то ни было давать мне приют и пищу?

Собрав последние силы, я двинулся ко дворцу. С прохожими я уже не пытался заговаривать, тем более что они старались обойти меня стороной и никто не бросил на меня не только приветливого, но даже и злобного взгляда. Полицейские и те не замечали меня, а чья-то карета едва не раздавила, причем кучер не крикнул даже обычного:

— Сторонись.

Я правильно рассчитал, полагая у королевского дворца найти разгадку.

На доске для самых важных указов, рядом с реляцией о том, что король, уступив просьбам узегундцев, выехал во главе посольства в столицу этой страны, висел приведенный выше указ о признании некоего Гулливера из Ноттингемшира несуществующим.

Казнь, придуманная мне, превосходила утонченностью все те казни, о которых мне привелось рассказывать императору. А я еще думал удивить его изобретениями по этой части некультурных народов Востока.

Огромный город со своими ресторанами, тавернами, съестными лавками, рынками, гостиницами, постоялыми дворами оказался огромной тюрьмой, одиночной камерой, в которой при всей видимости свободы я должен умереть голодной смертью.

— Бедный еху,— вспомнил я ржание стоявшей у водопоя лошади. Мне оставалось только превратиться в это грязное животное.

Я пойду в лес, буду питаться плодами и ягодами, буду голыми руками ловить лягушек и ящериц, буду ночевать на деревьях или в пещере, буду, блуждая одичалыми глазами, зарывать в землю оставшиеся у меня, но теперь, увы, бесполезные золотые и железные монеты.

Размышляя так, я вышел из города, миновал заброшенные сейчас работы по постройке укреплений и, дойдя до густого леса, спрятался между деревьями.

Я уже не в силах был бороться с одолевавшим меня сном. Выбрав уютную полянку и наломав сосновых веток, я устроился на них как на постели и тотчас же крепко заснул.

## Глава четырнадцатая

*В лучшей из стран живут презренные еху. Каким образом эти низкие животные оказались лучше людей. Путешествие вокруг столицы Юбераллии. Как Гулливер стал невольным виновником бунта. Возвращение в город.*

Разбудил меня звук человеческих голосов. Открыв глаза и увидев себя посреди леса, я вспомнил события вчерашнего дня, и эти голоса не обрадовали меня. Еще менее был я обрадован, когда, выглянув из-за ветвей, я увидел на этой прекрасной полянке — кого бы? — читатель удивится. Здесь находилась целая семья еху. Полуголые, завернутые в какие-то грязные тряпки, они копались в земле — наверное, прятали свои разноцветные камни.

Увидев этих презренных животных, я окончательно потерял всякую надежду на спасение. Сейчас они заметят меня, пользуясь моей слабостью, снимут с меня всю одежду, заберут драгоценные штаны и оставят больного и голодного издыхать среди темного леса.

О сопротивлении нечего было и думать. Как ни были слабы еху, я был еще слабее их. Нужна была сила, ловкость, быстрота движений, а я едва мог поднять собственную руку.

Надо спрятаться, чтобы еху не могли заметить меня.

Прижимаясь всем телом к земле, я пополз в глубь лесной чащи, но как ни был я осторожен, ветки хрустнули подо мной, и этот хруст выдал меня. Старый еху, ковырявший землю изогнутой палкой, бросил свою работу и направился ко мне. Наверное, он предполагал найти здесь какую-нибудь крупную дичь.

Забыв осторожность, я пополз быстрее и нечаянно поднял голову. Еху остановился. Он увидел меня.

Я думал только о спасении. Может быть, мне удастся разжалобить это грязное животное. Я взмолился к нему о пощаде, но голос изменил мне, и я услышал только свой невнятный стон.

Обросшая длинной грязной шерстью морда склонилась надо мной.

— Что с вами, господин? — услышал я довольно-таки приятный голос. В голосе этом чувствовалась жалость, сострадание, забота.

Новое открытие — в этой стране еху умеют говорить.

Преодолевая чувство гадливости, я взял протянутую мне руку и сел на землю. Самка и детенок еху бросили работу и подошли ко мне.

— Я голоден, — сказал я, — но у меня есть деньги.

С трудом достав железную монету, я протянул ее старому еху.

— Не надо мне ваших денег, господин,— ответил старик.— Я рад бы и так накормить вас, но у нас самих только и есть, что два *биттля* картошки.

Самка порылась в корзине, наполненной листьями и ягодами, и достала небольшой кусок хлеба и пару печеных картошек.

— Кушайте,— сказала она, подавая мне эту скромную пищу,— а мы как-нибудь обойдемся. Вы голоднее нас.

Маленький еху жадными глазами смотрел на монету.

— На эти деньги можно купить еще хлеба,— сказал он.— Я сейчас сбегаю.

Старый еху согласился.

— Я бы никогда не взял от вас денег,— сказал он, когда мальчишка скрылся за деревьями,— если бы у меня самого хоть что-нибудь было. Но у меня сейчас ничего нет. Мы только что отдали его величеству императору, да будет благословенна его жизнь, четверть своего имущества, мы только что поднесли ему в подарок последнего теленка, а вчера жена отнесла ее величеству королеве последнюю курицу. Мы решили раскопать эту полянку и посеять здесь хлеб и овощи. Может быть, сборщик подарков не разыщет нашего поля, и тогда мы как-нибудь перебьемся будущей зимой.

Это были не еху — это были фермеры его величества императора лучшей из стран.

Скудная пища несколько подкрепила мои силы. Не желая стать виновником гибели этих добрых людей, спасших — но надолго ли? — мою жизнь, я сказал им, кто я и к какому наказанию приговорен.

— Я знаю вас,— ответил старик.— В городе и даже в деревне я тоже бы вас не заметил. А здесь — лес.

Последние слова он произнес с чувством радости и восхищения, что есть еще на свете такой уголок земли, где человек может быть самим собою.

Мальчишка скоро вернулся с большой ковригой хлеба и кружкой плохого вина. Я разделил свой завтрак с новыми друзьями и заметил, что их аппетит не уступает моему.

— У меня было пол-акра земли, деревянный дом, лошадь и двухгодовалая телка. Я арендовал немного земли у герцога и получал от него хлеб и сено для своего скота. Но вот император, да продлит господь его жизнь, увеличил аренду в три раза и заставил нас по дешевой цене продавать свой хлеб. Тогда мне стало нечем платить долги его сиятельству герцогу, у меня отобрали дом и землю и отдали их моему богатому соседу. Меня лишили звания фермера, и я стал батраком. Герцог, да будет он счастлив, разрешил мне работать на его земле и дал мне кров и пищу. Мы

бы прожили кое-как, если бы не война и подарки его величеству императору. Я отдал все, что имел, мы должны были умереть с голоду. Тогда я пошел ко дворцу и просил милости государя. Государь послал меня на работы. Я работаю теперь двенадцать часов в сутки и получаю, как преступник, три *биттля* картошки в день. Такова милость императора. Раньше я получал и хлеб, но теперь...

Я знал, что преступники отказались от хлеба.

— В каком же преступлении ты обвинил себя?— спросил я.

— Я сказал в присутствии своих соседей, что я голоден. За это дают один год работы и не запирают в тюрьму.

Фермер провел меня заросшей тропинкой к пещере, вырытой им посреди леса, и сказал:

— Здесь вы можете отдохнуть, никто не помешает вам. А завтра вечером мы опять придем сюда работать.

Я поблагодарил фермера за его заботы обо мне и предложил золотую монету. Он отказался.

— Я не могу взять этих денег, батракам и преступникам запрещено иметь золото. Если я сегодня же не отдам ее императору, меня обвинят в краже и повесят.

Как я ни сожалел, что не могу достойно отблагодарить этого доброго человека, мне пришлось согласиться с его доводами. Я крепко пожал на прощанье его грубую руку.

И этих людей я принял за еху!

Вспоминая даже теперь, когда пишу эти строки, с какой гадливостью принял я протянутую мне руку помощи, я до сих пор не перестаю горько упрекать себя.

Подкрепившись сном и оставшейся пищей, я снова почувствовал себя здоровым и крепким, способным, как всегда, переносить любые лишения и неудобства. Остаться в пещере, на шее у доброго фермера, которому вдобавок я ничем не мог оплатить за его услуги, я считал неудобным. Далеко ли отсюда деревня? Разве не может нагрянуть сюда полиция? Кто-нибудь увидит меня, донесет на фермера, и я буду причиной его гибели.

— Нет, уж если кому погибать, пусть лучше погибну я.

Выбравшись из леса, я вышел на проселочную дорогу. Голода я не чувствовал, в кармане у меня лежал еще большой кусок хлеба, в канавке по бокам дороги краснели спелые ягоды. Я находился, наконец, на твердой земле — а что еще нужно, чтобы чувствовать себя не самым несчастным из потерпевших крушение мореплавателей. Привыкший, как и все путешественники, к превратностям судьбы, я с удовольствием вдыхал вольный воздух полей, не думая не только о завтрашнем дне, но и о том, где я найду приют сегодняшней ночью.

Оборванные фермеры и батраки ковыряли скудную землю,

немногочисленный чахлый скот разгуливал на бедных пастбищах, в деревне, у покосившихся избушек сидели голодные и голые ребятишки. Несмотря на то, что я и прежде не обманывался относительно благосостояния жителей лучшей из стран, действительность превзошла всякое воображение. Старый фермер был прав.

Знали ли работавшие на полях приказ императора, был ли известен всем им некий Гулливер из Ноттингемшира — я не пытался проверить. Да и какой помощи мог ожидать я от этих несчастных людей?

В щегольской, запряженной шестеркой лошадей карете проехал знакомый мне граф, которого я часто видел во дворце. Конечно, он заметил меня и узнал, но по выражению его лица этого нельзя было установить.

Неподалеку, в стороне от дороги, находился и замок графа — огромное обветшавшее здание, похожее на крепость. Ворота замка были заперты, со стен глядели широкие рты медных орудий, вокруг стен ходили часовые. От кого же так ревниво оберегались собранные в замке сокровища? Не от любящих ли фермеров, не за страх, а за совесть работавших на своего господина и получавших от него все то, что им было необходимо для безбедной жизни?

Я прошел мимо замка, меньше всего рассчитывая на помощь его обитателей и зная, кроме того, что не найду в нем ничего такого, чего бы я не видел во дворце.

Когда, расположившись на отдых у дороги, я доедал остатки своих запасов, какой-то мальчишка, видимо не знавший еще о приказе императора, остановился передо мной в просительной позе. Как ни скуден был мой завтрак, вид его умоляющих глаз заставил меня отдать добрую половину хлеба. Получив эту порцию, он убежал, не сказав мне ни слова благодарности.

— А что если я пройду в глубь страны? Ведь там не знают о приказе, там неизвестно, наконец, мое лицо. У меня есть золотые монеты. Неужели мне не дадут в какой-нибудь лавчонке кусок хлеба и вареного мяса?

Но в деревнях никаких лавчонок не было, они давно были закрыты своими владельцами из-за отсутствия покупателей. Обращаться к фермерам было и вовсе бесполезно: их господин давно позаботился о том, чтобы они избавлены были от трудов по хранению излишков.

Солнце уже склонялось к западу, когда я достиг большого фабричного поселка. Здесь были и лавки и таверны, но владельцы были осведомлены обо мне не хуже своих столичных собратьев. Тщетно пытаясь найти выход из оригинального положения, в которое поставил меня приказ императора, я медленно шел улицей поселка. Я настолько был погружен в свое

раздумье, что не заметил, как чуть не сбил с ног какого-то прохожего. Тот весьма невежливо толкнул меня и злобно выругался.

— Он еще не знает о приказе, — обрадовался я, и ко мне снова вернулась надежда, что я найду здесь и ужин и ночлег.

В центре поселка расположена была довольно-таки крупная мануфактура, вроде тех, которые имеются и у нас в Манчестере и других городах, с той лишь разницей, что помещалась она в большом каменном доме, окруженном каменной же стеной, вышиной в два человеческих роста.

Работа уже кончилась, но во дворе почему-то стояла огромная толпа. Я не замедлил пробраться в самую гущу, где снова мог убедиться, что простой народ мало осведомлен о приказе. Мне уступали дорогу, некоторые косились на мое необычное одеяние. Почему бы не приобрести у кого-нибудь из этих людей кусок хлеба за ту железную монету, которую я предусмотрительно зажал в кулаке?

Но снова — в который раз — мне пришлось пережить горькое разочарование. Не успел я найти подходящий объект для своей коммерческой операции, как вдруг толпа умолкла, на крыльце фабричной конторы вышел чиновник и — представляете вы себе мой ужас — стал читать и весьма громогласно императорский приказ о некоем Гулливере из Нотингемшира.

— А какое мне дело до этого Гулливера, — утешал я себя, постепенно пробираясь сквозь толпу поближе к чиновнику, — здесь меня все равно никто не знает.

Но как бы в ответ чиновник дополнил приказ сообщением, что означенный несуществующий Гулливер имеет рыжие волосы, серые глаза, средний рост и что нос этого Гулливера занимает на его лице господствующее положение...

— Коли так, я вам найду здесь в этой толпе десятков пять Гулливеров, — сообразил я, и, пробравшись к самому крыльцу, я на глазах чиновника забрался на какое-то возвышение, чтобы с наибольшим удобством наблюдать дальнейшее. Мое любопытство и умение занять лучшее из всех возможных положений на этот раз не послужило мне на пользу.

— Означенный Гулливер, — продолжал чиновник, — одет в зеленый камзол и в красные штаны с разноцветными на них заплатами...

Так как меня нельзя было не заметить, все глаза обратились ко мне. Заметив это, я попытался было юркнуть в толпу, но какой-то молодой и глуповатый парень, вероятно, с целью помочь чиновнику точнее определить наружность никогда не существовавшего человека, неосто-

рожно выскочил вперед и, показывая на меня пальцами, закричал:

— Да вот он, смотрите. Да вот он — Гулливер.

Мне только оставалось вежливо раскланяться с толпой, как это принято у нас в Британии, когда толпа приветствует знаменитого или знатного человека.

Последствия не замедлили: крепкие руки тотчас же зацапали парня и двое каких-то дюжих субъектов, по одежде не отличавшихся от работников мануфактуры, потащили его к крыльцу Несчастному грозила печальная участь быть первой жертвой нового закона.

Но тут произошло нечто такое, что заставило меня в корне изменить свой взгляд на характер юбералльцев. Казалось бы, голос расовой совести должен был заставить этого парня признать свою вину и покорно подчиниться своей участи. Ан нет. Парень был далек от того, чтобы добровольно пойти на виселицу. Он оказал сопротивление и, высвободив правую руку, оттолкнул одного из субъектов. Другого субъекта оттеснил бородатый мужчина, напомнивший мне своим видом безработного матроса, у которого нет денег, чтобы заплатить цирюльнику за бритье. Угрожающе подняв кулак, матрос закричал:

— Не выдадим, ребята!

— Наших бьют, — заревела толпа и тяжелой лавиной обрушилась на контору. Бородатый матрос успел схватить меня за ворот и, отбросив к стене, крикнул:

— Уходи поскорей.

Я сам понимал, что толпа может раздавить меня, но я не спешил бежать, а, прижавшись к каменной ограде, издали следил за событиями. То, что происходило, напоминало мне корабельный бунт, с той лишь разницей, что бунтовщики были лишены всех тех удобств, которые доставляет море. Так, двоих осведомителей, какими оказались дюжие субъекты, схватившие парня, удобнее было бы сбросить в море. Здесь же поступили наоборот, повесив их на высоком столбе рядом с колоколом, возвещавшим о начале и конце работы. Там же за компанию нашел себе место и чиновник, не успевший даже выронить из рук императорского приказа. Так, только в силу того, что дело происходило на суше, люди эти, вместо того чтобы быть свергнутыми вниз, заняли еще более высокое положение.

По принятому корабельными бунтовщиками ритуалу теперь следовало вытащить из трюма бочки с вином — здесь же некоторые из бунтовщиков двинулись к складам. Увидев, как выбрасывают из окон ковриги свежего хлеба, я решил воспользоваться этим случаем, чтобы пополнить свои запасы, но снова потерпел неудачу. Бородатый матрос остановил грабеж, заявив.



что придется выдерживать долгую осаду и что хлеб еще пригодится.

Я не решился выступить с просьбой сделать маленькое исключение в пользу несуществующего Гулливера, тем более что дело принимало нешуточный оборот, и я не мог знать, как отнесется ко мне толпа, когда я снова обращу ее внимание на свою скромную особу. Я предпочел броситься к воротам, но так как они оказались запертыми, перелез через стену. Что для меня, как старого моряка, не представило особых затруднений.

Здание мануфактуры уже было окружено полицией, пытавшейся прорваться внутрь двора. Осажденные бросали со стен кирпичи и камни, и как не было мне любопытно узнать, чем кончится вся эта история, я считал более благоразумным немедленно покинуть поселок, где я, как невольный виновник печальных происшествий, не мог себя чувствовать в безопасности.

Я был очень доволен, когда узнал, что поселок этот был пригородом столицы: путешествуя без определенной цели, я только обогнул за день резиденцию императора и, войдя в город через другие ворота, очутился вечером на улицах недавно покинутой мною столицы.

## Глава пятнадцатая

*Трагическое положение превращается в трагикомическое. Гулливер обеспечивает себя пищей и ночлегом. Жизнь человека-невидимки, ее удобства и преимущества. Прошлое Юбераллии. Новейшая философская система, бросающая свет на многое до сих пор непонятное для Гулливера. Бунт дезертиров и остроумный способ, каким первый министр расправился с бунтовщиками.*

Что я собирался делать в этом негостеприимном месте, я не знал, да признаться, и не думал об этом. Все мои мысли и чувства занимал отчаянный голод, обострявшийся раздражающим запахом жареного мяса, доносившимся из открытых таверн и ресторанов. Еще больше раздражал меня стук тарелок и ножей.

Я не сдержался и зашел в одно из самых дорогих заведений. Народу было немного. Чиновник сидел за накрытым белой скатертью столом и доедал свой ужин. Он даже не взглянул на меня. Молодой дворянин за другим столиком ожидал заказанного им блюда: этот, узнав меня, проявил некоторое любопытство. Увидев на столе дворянина тарелку с хлебом, я подсел к его столику и, инстинктивно протянув руку, взял кусок. Дворянин

поднял глаза, но, ничего не сказав, снова опустил их. Я стал смелее и протянул руку за вторым куском, потом за третьим, дворянин выказал явные признаки неудовольствия.

Я снова протянул руку и взял четвертый кусок.

— Проклятый Гулливер,— еле слышно прошептал дворянин.

Посетители ресторана всполошились. Чиновник в негодовании уронил вилку на пол. Кельнерша покраснела, дворянин виновато опустил голову. Я понял: не миновать ему милости его величества императора.

В этот момент подали жаркое и поставили тарелку перед самым носом дворянина.

— Благодарю вас,— сказал я, придвигая тарелку к себе.

Дворянин вскочил, как ошалелый, и бросился вон из ресторана. Я спокойно доел его ужин и даже закурил оставленную им сигару.

— Приятно, черт возьми, покойфовать в приличной обстановке.

Но так как заглядывавшие в двери ресторана посетители, увидев меня, торопились бежать куда-нибудь подальше, я, не желая наделать хозяину больших убытков, вежливо поблагодарил его за гостеприимство и вышел на улицу.

Так совершенно случайно нашел я выход из своего оригинального положения, и с этого дня жизнь моя обратилась в тысяча вторую ночь Шехерезады.

Прежде всего надо было позаботиться о ночлеге.

Незримый ни для кого явился я в лучшую из гостиниц и вошел в открытую дверь первой попавшейся комнаты. Постояльца не было дома, и я мог расположиться без помехи. Несколько ночей спал я не раздеваясь, теперь можно было позволить себе и эту роскошь. Я разделся и лег на мягкую пуховую постель.

Открывается дверь. Входит постоялец — судя по одежде — провинциальный чиновник, приехавший представляться ко двору, зажигает свечу и сразу же замечает беспорядок. Двумя пальцами он брезгливо сбрасывает со стула мои драгоценные штаны и кричит слугу.

Но прежде чем явился слуга, он, подняв свечу, заметил, что кто-то лежит на кровати.

— Черт возьми, неужели я попал в чужой номер?— сказал он и, чтобы утвердиться в догадке, подошел к кровати и стащил с меня одеяло. Я притворился, что сплю.

Чиновник не мог не узнать меня, он не раз имел удовольствие видеть меня во дворце. Осторожно закрыв меня, чтобы не разбудить, он спокойно сказал вошедшему слуге:

— Это не моя комната. Будь добр, отведи меня в тот номер, который я снял у вас сегодня утром.

Слуга начал всеми богами клясться, что господину понравилась именно эта комната, что вот здесь лежит и чемодан господина, но чиновник был непреклонен.

— Вот и кровать, мы положили для вашего сиятельства новый пуховик,— продолжал слуга, подходя к кровати. Но, увидев меня, он споткнулся от неожиданности и больно ушиб коленку.

— Я ошибся, господин, я ошибся,— закричал он, подпрыгивая на одной ноге.

Номер был освобожден, и с тех пор я невозбранно занимал его. Хозяин гостиницы приказал слуге никому не предлагать этой комнаты, хотя она и числилась свободной. В благодарность я оставил ему перед отъездом полную плату за помещение. Выражаю уверенность, что слуга не утаил этих денег, тем более что и сам он не мог пожаловаться на мою скупость: не имея возможности прямо оплачивать его услуги, я оставлял на столе мелкие деньги и съестное, и он, догадываясь, что эти подарки предназначены ему, никогда от них не отказывался.

Жизнь моя проходила довольно-таки интересно и весело, во всяком случае, я чувствовал себя лучше, чем во дворце. Я вставал, умывался, так как слуга никогда не забывал налить воды в мой умывальник, шел в какую-нибудь таверну или ресторан и, выбрав самого богатого и напыщенного посетителя, спокойно съедал его завтрак. Он ничего не терял, кроме небольшой суммы денег, так как обычно тотчас же заказывал второй, я же терпел некоторые неудобства, не имея возможности выбрать блюдо по своему вкусу. Чтобы не надоедать хозяевам трактиров, я не повторял визитов — город был большой и в нем имелось достаточное количество подобных заведений.

В свободное время я гулял по городу, сидел на бульваре, осматривал достопримечательности и сооружения столицы, и так как мне теперь были доступны такие места, куда никого не пускали, я имел возможность значительно пополнить запас своих сведений о Юбераллии и ее столице.

Я убедился, что столица лучшей из стран была когда-то действительно одним из красивейших и культурных городов мира. Об этом свидетельствовали многочисленные дворцы, ныне обращенные в казармы и соответствующим образом изуродованные. Стиль этих построек, насколько теперь можно было установить, напоминал классический, с явным предпочтением дорическому ордену. Остатки скульптурных памятников свидетельствовали о временах расцвета и этого искусства, но так как сейчас чьим-то распоряжением статуи, изображавшие голых мужчин и женщин, были одеты — мужчины в латы и панталоны, а женщины в современные платья, то о достоинствах этих произведений было трудно судить. Картины, оставшиеся в галереях,

изображали исключительно батальные сцены, все другие были убраны и, может быть, сожжены, но и эти остатки говорили о высоком уровне, которого достигли художники древней Юбераллии.

Но особенно много следов осталось от бывшего когда-то здесь расцвета науки и литературы. Школы, в которых сейчас обучались военному строю вновь принятые в личную гвардию короля солдаты, сохраняли кое-где следы старых надписей, свидетельствовавших о том, что в этих самых зданиях были когда-то университеты. Встречавшиеся кое-где в мастерских остроумные машины и старинные, тонко и красиво выделанные вещи говорили о былом расцвете прикладных знаний и ремесел.

Я нашел даже в одном из полуразрушенных зданий остатки библиотеки и коротал дни, зачитываясь трудами философов и поэтов, по счастливой случайности уцелевших от всесожжения. В отличие от авторов, с которыми я был знаком, гордая мысль предшественников нынешнего поколения юбералльцев стремилась одной идеей охватить все противоречия мира, при помощи разума старалась проверить и самый разум. К сожалению, книги эти были изорваны, изъедены крысами, и я не смог бы сейчас изложить полностью хотя бы одну из этих весьма стройных философических систем.

С грустью смотрел я на остатки былого величия великолепной столицы. Такой же грусти бывает наполнен ученый, перелистывая сохранившиеся обрывки творений мудрецов классической древности или бродя среди развалин Афин и Рима. Тщетно ищет он в этих городах потомков Периклов и Сципионов — они обратились давно в жуликоватых торговцев губками или ленивых и лживых чичероне. Так же тщетно искал я следов возвышенной мысли в тупых и жирных лицах гвардейцев, в сморщенных физиономиях чиновников и в истощенных непосильным трудом и голодом представителей низших сословий Юбераллии.

С особенным интересом прочел я одно из новейших философских сочинений, относящихся к кануну уничтожения книгопечатания — сочинение, объяснившее мне очень много из того, что я до сих пор не понимал. Автор этого сочинения на протяжении двух тысяч страниц доказывал, что реален не предмет, а его отражение в зеркале, что только это отражение в действительности существует, а сам предмет иллюзорен и его бытие определяется лишь бытием отражения.

«Истинный философ, — писал автор, — не обратит взор свой к призрачной и тленной вещи, если он зрит ее нетленное и божественное отражение».

Только это отражение и может, по мнению автора, явиться

объектом суждения и, следовательно, научного исследования, а так как известно из опыта, что подобные исследования всякий раз приводят к убеждению о непознаваемости отражения, то автор приходит к выводу, что все истинно реальное непознаваемо, а следовательно, по принятой в Юбераллии логике, только непознаваемое реально. Далее он вполне последовательно доказывает тщетность всяких попыток познания мира, потому что «нож разума ломается о его поверхность», а следовательно, и полную ненужность науки.

Припоминая отдельные высказывания императора и первого министра, я не мог не установить, что как они, так и все другие придворные и высшие чины государства разделяли мировоззрение автора этой любопытной книги, с той лишь поправкой, что признавали реальным отражение не во всяком, а лишь в волшебном зеркале.

Была ли эта книга уничтожена и в силу каких соображений, я установить не мог. Но можно догадаться, что распространение ее среди необразованного населения ничего, кроме вреда, не могло принести правительству лучшей из стран. Представьте себе, что было бы, если бы преступники, познакомившись с этим гениальным произведением и ссылаясь на него, потребовали, чтобы приговоры исполнялись не над тленными их телами, а над нетленными изображениями этих тел. И потому, вероятно, было признано более разумным скрыть эту непререкаемую истину от непосвященных.

Бродя невидимкой по городу, я мог теперь вдоволь насытить свое любопытство. Я заходил в дома богачей и в лачуги бедняков, невидимый сам, видел радость и горе, роскошь и нищету, приниженность и напыщенное самодовольство. Я увидел наконец то, о чем мог только догадываться, продолжая спокойную жизнь во дворце: все нарастающее недовольство населения, которое стало постепенно сбрасывать надетую на себя маску покорности, послушания и тупости. Неудачная война, связанная с неизбежными спутниками — голодом, поборами, эпидемиями, жестокость императора, приучившего народ не дорожить жизнью, — все это создавало почву для стихийных бунтов и возмущений. Бунт, которого мне пришлось быть очевидцем, был далеко не первым и не последним.

Император жестоко расправлялся с бунтовщиками: единственная мера, которую он признавал, была казнь каждого десятого из замешанных в бунте. Но эта мера только переполняла чашу недовольства, поэтому первый министр, оставшись по отъезде императора неограниченным хозяином страны, стал довольствоваться более мягкими наказаниями. Так, покончив при помощи отряда личной гвардии с бунтом в фабричном по-

селке, он казнил только нескольких зачинщиков, а остальных только перевел в положение преступников, оставив на прежней работе.

Но бородатый матрос остался на свободе, видно, ему удалось улизнуть. Я встретил его случайно на улице столицы, он прошел мимо меня, считая, как и все, мою особу за совершенно пустое место. Он и не мог поступить иначе, так как дело было на людной улице, а неподалеку вдобавок стоял полицейский. Но мне показалось, что, взглянув на меня, он добродушно ухмыльнулся. Зайдя в цирюльню, он вышел оттуда уже коротко остриженным и с бородой, не превышающей по длине узаконенных императором десяти *куртов*.

Я был доволен, увидев этого человека здоровым и невредимым.

Бунт в поселке и не мог кончиться удачно для восставших — слишком близко была столица, чтобы они долго могли продержаться за каменными стенами мануфактуры, но вот бунт дезертиров окончился для правительства много хуже.

Несколько тысяч бежавших с фронта солдат, не пожелав просить милости императора, укрылись в лесах неподалеку от границы. Напрасно голос совести в лице агента совета отцов пытался убедить их, что благоразумнее явиться ко дворцу и накинуть на преступную шею каждого десятого из их числа отпущенную для этой цели императором намыленную веревку.

Голос совести был повешен на одиноко стоявшей березе, а дезертиры продолжали жить в лесу, питаясь от щедрот одного из герцогов, который, предоставив в их распоряжение свой наполненный продовольствием замок, бежал в столицу и осаждал первого министра просьбами о военной помощи против дезертиров.

Но первый министр не внял просьбам этого герцога. Не желая оставить без охраны резиденцию императора, он не мог выделить более или менее солидной части гвардии, а всякую другую воинскую силу справедливо считал ненадежной, потому что вряд ли в армии из тысячи человек нашлось бы десять ни разу не дезертировавших. Кто мог поручиться, что посланные на усмирение сами не присоединятся к бунтовщикам?

Мера, принятая первым министром, была чрезвычайно остроумна, хотя и не привела к положительным результатам. Особым приказом он объявил находившийся в лесах лагерь дезертиров «чрезвычайным лагерем принудительных работ», а самих дезертиров приказал считать заключенными в этом лагере преступниками. Порядок был таким образом восстановлен, причем ни с той, ни с другой стороны не было пролито ни единой капли крови.

Расчет первого министра был прост: так как правительство не выставило для охраны нового лагеря ни одного солдата и не послало в этот лагерь ни одного надзирателя, он справедливо полагал, что вновь испеченные преступники немедленно разбегутся, что и делали в подобных случаях заключенные в других лагерях, как только замечали, что они остались без охраны.

Но на этот раз он ошибся в расчетах.

Дезертиры не только не разбежались, — наоборот: дня не проходило, чтобы количество заключенных в новом лагере не увеличилось на сотню-другую бежавших с фронта солдат, и скоро лагерь получил огромную популярность. Туда толпами стали переходить преступники из других лагерей, предпочитая отбывать положенное им наказание именно в этом лагере, а не в каком-нибудь другом.

Так как дезертиры были обеспечены продовольствием и сохранили вооружение, лагерь этот представлял большую опасность для столицы. Был ли и в этом бунте замешан известный читателю матрос, я не знаю, но город пестрел объявлениями, предлагавшими за его поимку огромные суммы. Но так как основной приметой, значившейся в объявлениях, была его огромная борода, я сомневаюсь, чтобы когда-нибудь его разыскали.

Не буду говорить о мелких возмущениях фермеров и преступников, обычно кончавшихся их полным разгромом: все это были пузыри, поднимавшиеся со дна, но они свидетельствовали о том, что недалек час, когда вся страна обратится в кипящий котел.

## Глава шестнадцатая и последняя

*Жизнь человека-невидимки имеет некоторые неудобства. Дети и собаки не хотят признавать указов императора. В гостях у первого министра. Популярность Гулливера. Посещение императорского дворца. Гулливер спасается бегством. Первые дни на корабле.*

Как бы то ни было, но в столице поддерживался прежний порядок. Страх, внушаемый императором и в особенности его гвардией, был еще настолько велик, что ни один человек не рискнул открыто признать меня или заговорить со мной, даже если никто не смог бы этого увидеть.

Но и тут были некоторые исключения.

Однажды, бесцельно бродя по улицам, зашел я в один семейный дом. Увидев через окно, как многочисленное семейство

сидит за столом и ведет оживленную беседу, я вспомнил о своей столь же многочисленной семье, оставленной мною в Ньюарке, и не мог пересилить желания провести вечер в подобной обстановке.

Дверь на мое счастье оказалась незапертой и, пройдя коридором, я вошел в столовую. Все вздрогнули и взглянули на меня.

— Никого нет,— сурово сказал хозяин.

— Это, наверное, ветер,— подтвердила хозяйка.

Дети уткнулись носами в тарелки, но их напряженно серьезные, вдруг покрасневшие и надувшиеся лица, казалось, были готовы лопнуть от смеха. Я подошел к столу и занял свободный стул.

Все замолчали. Слышен был только стук посуды. Хозяин старался прервать молчание, но никто не поддерживал его. Я, признаться, чувствовал себя неловко и думал уже избавить почтенное семейство от непрошеного гостя, как вдруг трехлетняя девочка подошла ко мне и заинтересовалась бронзовыми пуговицами моего камзола.

— Дядя! Дядя!— кричала она, теребя пуговицу.— Дядя, дай мне колокольчик.

— Где ты видишь дядю?— сердито закричал хозяин. Мать схватила ребенка и пыталась оттащить от меня. Девочка заплакала.

— Дядя, дядя,— продолжала кричать она, прицепившись к пуговице.

— Дяди нет,— подтвердил я.

Девочка подняла на меня заплаканные глазки и рассмеялась.

— Нету дяди, нету,— залепетала она, хватая меня и за пуговицы, и за нос и ероша мои волосы,— а пуговицы есть. А нос есть. А волосы есть.

Ребятишки, будучи не в силах сдерживать смех, громко захотали. Хозяин был расстроен. В мрачном гневе поднялся он из-за стола. Я поспешил поставить девочку на пол и убежал, закаявшись с тех пор посещать семейные дома, так как дети вовсе не были склонны исполнять грозный приказ императора.

Вскоре я убедился, что этого приказа не исполняют и собаки. Произошло это в небольшой лавочке, куда я зашел, чтобы купить хлеба и колбасы. Мне повезло: какой-то помещик, готовясь, очевидно, к семейному празднику, закупал большое количество провизии. Некоторые из покупок нравились мне, и я по привычке спокойно перехватывал их по пути из рук продавца в руки покупателя.

Помещику это явно не нравилось. Он злился, но старался ничем не выдавать своей злобы. Увлеченный покупками, я не заметил, как он, выйдя укладывать в повозку очередную партию



товара, вернулся в лавку в сопровождении огромной собаки. И вот, только попробовал я перехватить бутылку шипучего вина, как почувствовал, что кто-то с силой давит меня за горло. Я попытался стряхнуть нахала, не тут-то было: огромный пес готов был задушить меня и грозно рычал, теребя мой воротник.

Бороться было бесполезно. Я бросил бутылку и побежал из лавки. Пес долго еще преследовал меня, оторвал полу от моей куртки и до крови искусал ту часть моего тела, на которой держатся штаны.

Это происшествие научило меня остерегаться тех мест, вблизи которых находились собаки. Я заметил даже, что некоторые из трактирщиков поспешили обзавестись этими неприятными для меня животными, и если бы все они оказались настолько же догадливы, я мог бы лишиться последней возможности поддерживать свое существование. Но, к счастью, я не могу пожаловаться, чтобы хоть один день оставался без обеда.

Никто, собственно, не мешал мне вернуться в комнату под лестницей дворца, останавливала меня лишь близость императора, который мог каждый день вернуться и что хуже — не обязан был подчиняться собственному своему указу и мог изменить его не в мою пользу. Кроме того, в городе мне жилось свободнее и веселее, чем во дворце.

Но все-таки, чтобы не порывать окончательно с высшими кругами общества, я посетил дом первого министра. Зная, что в отсутствии императора он вполне заменял особу его величества, я даже предполагал, что он не побоится увидеть меня, но ошибся. Он только чуть-чуть улыбнулся, как бы поощряя мою смелость, но в течение вечера ни одним звуком не дал понять, что замечает мое присутствие.

К чести его я все же должен сказать, что во время моего присутствия он разговаривал только о таких предметах, которые могли интересовать меня. Так, он подробно рассказал о суде надо мной, причем подчеркивал свою роль изобретателя оригинального наказания, дав мне понять, что это изобретение сделано им исключительно для моей пользы. Насколько это справедливо, я судить не берусь.

Он утверждал также, что мои смелые речи помогли ему уломать императора отказаться от продолжения войны и прекратить массовые казни. В этом тоже может быть некоторая доля правды. Но что было несомненно, так это то, что первый министр был очень обрадован, увидев меня, и уж во всяком случае не собирався принимать против меня каких-либо исключительных мер, так как он весьма благодушно относился к моему преступлению.

— Мы должны ценить убеждения и верования других, — ска-

зал он,— даже стараемся внушить веру в истинность этих убеждений, но подлинно великий государственный деятель должен быть сам совершенно свободен от них. Сознательно считая ложь за истину, если эта ложь полезна нам, сами мы не должны забывать, что все-таки это ложь. Император после многих лет поклонения и власти стал искренне считать себя непогрешимым и всесильным. А что из этого вышло?

Я не мог не оценить первого министра, как хитрого и тонкого политика, крупными шагами идущего к власти, которую император готов был выпустить из своих ослабевших рук. Каковы были его расчеты и намерения, я, конечно, не мог предугадать, но нельзя было не заметить, что все его распоряжения и приказы, несмотря на внешне благонадежную форму, содержат в ядре своем скрытое издевательство и приводят всегда к обратным результатам. Как мне казалось, он старался раздуть всеобщее недовольство, чтобы в благоприятный момент захватить в свои руки руководство движением, примкнув к недовольным. Но будучи беспристрастным, я должен сказать, что не позавидовал бы судьбе населения несчастной страны, если она, не заметив обмана, попадет в цепкие и тонкие руки этого прожженного политика.

Должен поделиться еще одним наблюдением. Я заметил, что здешние придворные и вообще высшие чины государства дома оказались значительно умнее, чем они были во дворце. Дома они шутили, рассказывали анекдоты, даже изредка посмеивались над принятой в стране ложью, но стоило им прийти на торжественный прием или на заседание, как они сразу же становились надутыми дураками. Я отмечаю этот факт потому, что вижу здесь существенную разницу с нравами Великой Британии. У нас наоборот — умнейший оратор парламента дома оказывается игрушкой глупой жены, а серьезнейший и справедливейший судья, сняв парик, становится весьма ограниченным человеком. Но это доказывает только, что если люди и одинаково скроены, то шитье их поручено разным портным: что один считает лицом, другой — изнанкой.

В моем положении человека-невидимки была одна, но очень существенная отрицательная сторона: никто не охранял меня и никто не отвечал за мою безопасность. Что стоило кому-нибудь прикончить меня в глухом переулке,— ведь труп мой никто не потрудился бы даже убрать с улицы, и, конечно, никакой речи не могло быть об ответственности за убийство.

Только моя осторожность, то обстоятельство, что я не пользовался два раза гостеприимством одного и того же человека,

что я не злоупотреблял своими возможностями, приобретая лишь самое необходимое, чтобы только не умереть с голоду, а также и то, что я не нажил серьезных врагов во дворце, охраняло меня.

Но еще большую роль сыграла приобретенная мною за это время популярность.

Не преувеличивая скажу, что после императора я был самым известным лицом в стране. Там, где появлялся я, как-то нечаянно скапливалось большое количество публики: ей нравилась ловкость, с которой я обрабатывал свою жертву. Чтобы не оставаться в долгу, я старался разнообразить приемы, и полагаю, что после того как я исчез, многие пожалели об отсутствии тех развлечений, которые я доставлял жителям столицы.

В самом деле, разве можно было не смеяться над этим странным невидимым феноменом, который, однако, все превосходно видели. Не один анекдот рассказывали обо мне, конечно, не называя меня по имени. Я сделался как бы живой насмешкой над чудовищными нелепостями уродливого быта страны, лживостью и лицемерием ее правителей.

Мы еще недостаточно ценим смех и его страшную силу. Смех сильнее патетических речей, сильнее самых доказательных убеждений, сильнее приговоров самого строгого суда. Он вернее уничтожает, чем пули и картечь, виселицы и эшафоты. Нет лучшего средства к победе, чем сделать противника смешным. Под действием смеха не растает ли он, как тает снег, выброшенный из глубокого погребка на летнее солнце.

Самим существованием своим как человека-невидимки я окончательно подрывал систему лицемерия и лжи, демонстрируя всю нелепость этой системы. Я даже заметил, что люди осмелели за это время, чаще удавалось услышать искреннюю фразу или протестующий голос. Установленные императором Юбераллии порядки готовы были затрещать под напором народного недовольства, но я боялся, что еще раньше затрещат позвонки моей шеи, и все время обдумывал план бегства из страны.

Первый министр, по своему обыкновению ни к кому не обращаясь, как-то сказал в моем присутствии:

— Скоро вернется король. Он, наверное, пересмотрит некоторые указы.

Эти слова звучали, с одной стороны, предупреждением, а с другой — до возвращения императора они гарантировали мне безопасность. И вот я дошел до последней наглости.

Я не только явился во дворец и обедал за королевским сто-

лом, оттеснив для этой цели соперника своего — первого тенера королевства, но даже вошел в спальню королевы и расположился на ее кровати.

Королева пришла в сопровождении уже знакомой читателю горничной. В хорошем отношении обеих женщин у меня не было оснований сомневаться, и, высунув нос из-под одеяла, я ждал, что они будут делать.

Горничная, заметив меня, громко захохотала. Королева прикрикнула на нее, и обе остановились в дверях. Королева, первая преодолев смущение, сделала шаг вперед и, как бы не замечая ничего, стала раздеваться при помощи горничной. Потом, выслав горничную вон из комнаты, она несколько минут в нерешительности стояла перед кроватью, а потом легла рядом со мной.

Уверяю вас, дорогие мои читатели, что с моей стороны это была всего-навсего остроумная шутка. Прошу вас не делать никаких намеков и тем более не высказывать никаких предположений, порочащих честь этой прекрасной и добродетельной женщины.

Как бы то ни было, я провел во дворце всю ночь.

— Берегись, Гулливер,— сказала мне утром королева,— ты становишься слишком дерзок. Скоро придет король — не думай, что твои похождения останутся для него тайной.

Это был единственный человек во дворце, не побоявшийся разговаривать со мной после императорского указа. Я поблагодарил ее за совет и ушел, уверив, что она видит меня в последний раз.

И действительно, случай представился очень скоро.

После долгого перерыва в гавань столицы прибыл корабль из Бразилии, нагруженный солеными огурцами. Как он попал сюда, какова была истинная цель его прибытия, почему он прибыл с таким малоценным грузом — все это осталось для меня тайной. Но как бы то ни было, ему была оказана торжественная встреча. Капитан пировал во дворце, и первый министр от имени императора распорядился, в знак особой милости, считать его огурцы бананами. Население набросилось на столь редкостный и экзотический продукт, и капитан, выручив порядочную сумму от этой оригинальной коммерции, готовился к отплытию.

Лучшего мне нельзя было ожидать.

Распростившись с городом, поблагодарив первого министра за гостеприимство, выразив при этом надежду, что я вижу его не последний раз, кивнув на прощанье королеве, смотревшей из окон дворца, я отправился к пристани. С собой захватил я только одно из волшебных зеркал, приобретенное мною в мебельной лавке.

К моим появлениям в самых неожиданных местах уже привыкли. Но береговая стража считала, по-видимому, императорский приказ необязательным для себя и явно чинила мне всяческие препятствия. Часовой, сделав вид, что не замечает меня, так, однако, расположился на мостках, что я должен был, чтобы попасть на корабль, или столкнуть его или перепрыгнуть через него. И то и другое было небезопасно.

Остановившись у мостков, я стал терпеливо ждать подходящего момента. Ждать пришлось очень долго. Уже подняты были паруса, а я все стоял и ждал, с каждой минутой теряя надежду на спасение.

Не знаю, удалось ли бы мне использовать этот единственный удобный для бегства момент, если бы не произошло то, чего я больше всего боялся: громогласный сигнал возвестил о прибытии императорского фрегата.

— Император прибыл! Император прибыл!

Волнение охватило всех. Часовой вытянулся во весь рост и взял на караул.

Я проскользнул мимо него и одним прыжком очутился на палубе корабля.

Долго бы мне пришлось объяснять капитану причину моего неожиданного и непрошеного появления, если бы не предусмотрительно сохраненное мною золото. Оно было красноречивее всяких слов, и я был принят на корабль в качестве пассажира.

Через полчаса я сидел в капитанской каюте, пил грог и рассказывал о своих приключениях.

Первые дни пребывания на корабле я часто забывал, что власть императора Юбераллии не распространяется на это судно, и серьезно продолжал считать себя невидимым.

Так, обедая за общим столом, я предпочитал, не ожидая, когда мне подадут тарелку, выхватывать первую попавшуюся из рук поваренка, пил эль из стакана, который наливал для себя капитан, не отвечал на обращенные ко мне вопросы, раздевался на палубе при всех и на ночь часто занимал чужую койку. Все эти странности, происхождение которых было известно, доставили экипажу корабля немало веселых минут.

Имевший какие-то секретные поручения корабль вскоре пристал к берегам Великой Британии. Я принужден был довольно долго путешествовать на нем, посетив при этом еще некоторые страны, о которых обещаю рассказать вам, мой читатель, если вы благосклонно примете эту правдивую и бесхитростную повесть.

*Гулливер возвращается на родину. Встреча с семьей и друзьями. Рассказами Гулливера интересуются государственные люди. Возможность заимствования Великобританией порядков лучшей из стран. Мнение Гулливера.*

27 сентября 1732 года корабль наш прибыл в Великобританию. Не могу описать того радостного чувства, с которым встретил я берега своей зеленой родины. Я горел нетерпением поскорее сойти на родную землю и даже недостаточно тепло попрощался с капитаном, о котором до сих пор вспоминаю с чувством величайшей признательности.

Не буду также останавливаться на описании радости моего семейства, увидевшего меня в полном здравии, и восторга, с которым я встречен был друзьями и соседями. Священника, бывшего виновником моего неожиданного отъезда, уже не было в местечке: он уехал, получив епископскую кафедру, которой и добивался. Теперь моя особа уже не могла интересоваться его. По отъезде моем он обратил свою злобу на лошадей, оставленных мною в конюшне, и этим несчастным животным пришлось расплачиваться вместо меня. Они погибли в жестоких мучениях за нарушение законов церкви, не признававшей за животными права быть лучше человека.

Бедные гуингнмы. Презренные еху в лице недостойного своего сана служителя церкви отомстили вам за ваше нравственное превосходство.

Друг мой Эдвард Джонс, узнав о моем прибытии, в тот же день поспешил навестить меня. Он упрекал меня лишь за излишнюю поспешность, с которой я отрезал себе возможность возвращения на землю, хотя, по его словам, в этом и не было надобности. Шериф не мог арестовать капитана корабля, находящегося на своем посту, без специального приказа портовой администрации.

Больше всего Джонс жалел о том, что благодаря моей поспешности ему не удалось побывать в лучшей из стран.

— Я построил новый корабль, — сказал он, — мы еще отправимся с вами в дальнее плавание.

Как я и предполагал, материальный ущерб сэра Джонса был полностью возмещен ему моей супругой.

Рассказы мои о лучшей из стран мира и о порядках, в ней господствующих, возбудили всеобщий интерес. Паломники толпами приходили послушать меня. Невозможность каждому сотый раз повторять одно и то же и заставила меня написать эту книгу, как дополнение к моим первым четырем путешествиям.

Но не всех влекло ко мне только праздное любопытство.

Рассказами моими заинтересовались многие государственные люди Великобритании, занимающие и по сей час важнейшие посты в правительстве его величества, и видные члены парламента. Слушая мои рассказы, они всерьез задумывались над тем, нельзя ли ввести в обычаи нашей страны некоторые кажущиеся им несомненными достижения правительства Юбераллии в деле управления государством.

Так, многим нравился обычай преступников добровольно являться на суд императора. Нравился и обычай добровольных подарков государю и отсутствие в этой стране необходимости с трудом выколачивать налоги. Я не замедлил объяснить им истинный смысл этой добровольности, но мои объяснения ни сколько их не разочаровали.

Многие хвалили императора за смелость, проявленную им в деле уничтожения книг, хотя считали сожжение крайней мерой, довольствуясь на первое время полным запрещением книжной торговли.

Но что нравилось всем и безусловно — это всемогущество законной власти Юбераллии, способной сделать злого — добрым, больного — здоровым, голодного — сытым, безобразного — красивым, бездарного и тупого — гениальным, все вообще видимое — незримым, а все существующее только возможным и то лишь в зависимости от усмотрения его величества короля.

Не скрывал я, какими путями достигалось это всемогущество, не скрывал я, что система, принятая в Юбераллии, привела к полному обнищанию страны и даже к отупению ее жителей, не скрывал и того, что я оставил страну в далеко не блестящем состоянии, — государственных людей все это мало беспокоило, и ничего, по их мнению, не говорило о непригодности самой системы.

При этом одни видели причину неудач в недостаточном понимании населением лучшей из стран мудрых забот своих властителей.

— Если бы население Юбераллии от чистого сердца отдавало себя и свое имущество в бесконтрольное распоряжение правительства, страна процветала бы. Но ведь они лгали каждым своим шагом, и справедливо, что нищета и голод были возмездием за эту ложь.

Другие не придавали никакого значения искренности подданных: пусть будет и ложь, только бы повиновались. Важно, говорили они, чтобы правительство правильно понимало нужды страны и направляло все силы к мирному процветанию, а не увлекалось мечтами о завоевании всего мира.

Один из крупнейших государственных деятелей, быв-

ший первый министр, потерявший популярность после одной из кровопролитнейших войн, которой он был одним из вдохновителей, рассчитывает даже приобрести снова потерянную власть и влияние путем полного заимствования системы управления Юбераллии. В речах и докладах он не перестает доказывать, что эта система в быстрейший срок сделает наше отечество могущественнейшей из держав мира.

Он считает только, что единство чувств и мыслей, требуемое этой системой, может быть достигнуто и без выселения представителей низших рас, так как сам он вряд ли бы смог, подобно мне, доказать при дворе императора Юбераллии отсутствие в своей крови нежелательных примесей. Он полагает, что, избежав некоторых ошибок великого императора лучшей из стран, мы достигнем также и того земного рая, о котором этот величайший, по его мнению, деятель только мечтал.

Не думаю, чтобы этому бывшему политику удалось убедить представителей низших сословий королевства в преимуществах этого нового Эдема, в котором им, как и их товарищам в лучшей из стран, пришлось бы, подобно Адаму в старом Эдеме, только фиговым листком прикрывать свою наготу.

Огромным успехом пользовалось волшебное зеркало, привезенное мною из Юбераллии. Кто только ни стремился посмотреть в него! Потерявшие красоту и голос актрисы, депутаты, забаллотированные на выборах, потерпевшие крах банкиры, проторговавшиеся купцы, чиновники, отданные под суд за взятки, вожаки партий, потерявших влияние, побежденные полководцы, министры, получившие отставку, изгнанные своими народами короли. Все они, глядя в это зеркало, не могли понять, благодаря какой несправедливости потерпели они удары судьбы, и с новой силой возгоралась в них надежда вернуть утраченное. Не отказывались от утех, доставляемых зеркалом, и лица, к которым судьба покамест была благосклонна. Судья, глядя в него, считал себя неподкупным, писатель — талантливым, военный — храбрым, политик — дальновзорким, философ — мудрым, аббат — святым, развратник — нравственным, лентяй — трудолюбивым. Я не говорю уж о неодушевленных вещах — и те, отразившись в зеркале, приобретали недостающие им качества, соответственно повышаясь в цене.

Я очень жалел, что не вывез десятка два подобных зеркал, потому что от покупателей у меня не было отбоя.

Кто только ни мечтал приобрести это восьмое чудо вселенной! Старьевщики, торгующие поношенным платьем, издатели книг, отвергнутых читателем, банки с бронзовым вексель-



ным портфелем, директора компаний с дутыми капиталами, лидеры партий, не выполнивших обещаний избирателям, правительства, выпускающие неполноценную монету,— все они наперебой осаждали меня и предлагали довольно-таки почтенные суммы.

Многие всерьез полагали, что если снабдить подобными зеркалами каждого из жителей страны, то всеобщее благосостояние наступит сразу и безо всяких переворотов. В этом я не разубеждал никого и за крупную сумму продал зеркало одной из фабрик, до сих пор старающейся раскрыть секрет изобретения.

Долго не мог я отвыкнуть от усвоенного мною в Юбераллии способа выражения мыслей и часто называл предметы не теми именами, которых они заслуживали.

Так,

бессовестных людей я называл дипломатами,  
бомбардировку мирных городов — демонстрацией,  
завоевание небольших государств — экспедицией,  
шпионаж — информацией,  
грабеж — налоговым обложением,  
разбой — колониальной политикой.

Я называл также

трусость — осторожностью,  
бегство — переменной позицией,  
эзекуцию — убеждением,  
голод — отсутствием аппетита.

Привычка эта оказала мне немалую пользу в беседах с государственными людьми. Пользуясь этим языком, мы прекрасно понимали друг друга и даже могли высказывать вслух самые сокровенные мысли.

Но матросы и докеры, с которыми я сталкивался по профессии капитана дальнего плавания, фермеры и батраки, с которыми имел дела по имению, громко хохотали надо мной, когда я пытался объясняться с ними на этом языке.

Эти грубые и простые люди усвоили себе противоположную привычку.

Так,

обыкновенную торговлю они называли грабежом,  
хозяина — кровопийцей,  
работу — каторгой,  
свое имущество — бараклом,  
полицейского — фараоном,  
парламентские дебаты — брехней.

Признаться, этот язык больше нравился мне. Он напоминал по своей ясности и недвусмысленности мудрое красноречие гунгнммов.

Фермер, спасший меня в лесах далекой Юбераллии, ко-

того я несправедливо принял за еху, научил меня иначе, чем прежде, относиться к подобным ему людям и уметь сквозь показную грубость и грязь находить в них золотое сердце.

И когда человеческая злоба, тупость, хитрость, алчность, мракобесие и ложь, прикрытые лицемерием и ханжеством, чересчур раздражали меня и грозили очередным припадком мизантропии,— только к этим людям обращался я теперь за сочувствием и пониманием и всегда находил его.

КОНЕЦ



# Мистер Бридж

Повесть



## 1. Мистер Бридж

В отдельном купе международного вагона из Англии в Россию едет представитель торгового дома «Джемс Уайт Компани лимитед» мистер Роберт Бридж. На нем широкий клетчатый сюртук и такие же панталоны, широкополая шляпа, скрывающая верхнюю часть лица, чтобы тем выразительнее выделялась нижняя, с таким подбородком, по которому каждый, кто хоть раз в жизни видел портрет Шерлока Холмса, мог с первого взгляда узнать в мистере Бридже достойного сына великой Британской империи.

Если же к этому прибавить, что мистер Бридж не выпускал изо рта начиненной необыкновенной крепости кепстеном трубки, отчего купе насквозь было пропитано запахом, равного которому нет ни в одном из лондонских кабаков, — то великобританское происхождение мистера станет очевидным для самого неужественного гражданина Советской республики.

Этот запах обеспечивал мистеру Бриджу полнейшее уединение; и настолько, что даже прилично одетый молодой человек с загорелым лицом и приплюснутым носом, выдававшим — для мистера Бриджа — его наполовину монгольское происхождение, — и тот, обмерив глазами купе и обратив особенное внимание на полки, где помещался багаж мистера Бриджа, — только крикнул и, даже не пробормотав слова извинения, вышел из купе — так поразил его этот одуряющий запах!

Мистеру Бриджу никто поэтому не мешал наслаждаться многообразными открывающимися перед ним видами, что он и делал, меланхолически постукивая указательным пальцем по толстому зеркальному стеклу вагона международного общества.

И что может быть достойнее для молчаливого наблюдателя далеких горизонтов, с одинокими на них белыми остриями колоколен, полей и лесов, озер и болот, заросших полуобгорелыми березками, что, сменяя друг друга, медленно проходили перед глазами достойного представителя почтеннейшей фирмы «Джемс Уайт Компани лимитед».

— Россия!

Вот медной стеной стоят сосны. Ребятишки кричат:

— Ягоды! Ягоды!

В руках мистера Бриджа корзинка со свежей солнечной земляникой.

— Россия!

Это шепчет мистер Бридж, или ветер, ворвавшись в окно, шепчет это ветрами навсянное имя? Конечно, ветер. Мистер Бридж не знает этого слова. Мистер Бридж изъясняется при помощи самоучителя *Englishman in Russia*, ц. 2 шилл. 3 пенса, Лондон 1913.

— Что за станция?— спрашивает в коридоре чей-то голос.

— *Кипяток*,— читают по складам.— Станция Кипяток!

Мистер Бридж презрительно морщится:

— *Kipiatoc!* Какое странное название!

Он взглянул за окно и мог увидеть: серую от времени доску, на которой крупными буквами выведено это таинственное слово, с указательным перстом в направлении к вокзалу. Он мог увидеть — деревянный полусгнивший помост, желтые строения станционных казарм, кривую улицу за вокзалом — словом, все то увидел мистер Бридж, что можно видеть на любой из сотни и тысячи российских станций,— но мистеру Бриджу эта станция показалась много замечательней всей сотни и тысячи.

Первым движением было: равнодушно сесть в угол, закурить трубку. Потом мистер Бридж, будто бы вспомнив что, глубже погрузился в широкополую шляпу и решительно направился к выходу.

Тот же приличный молодой человек открыл перед ним дверку вагона.

— *Thank you!*— сказал мистер Бридж, пропуская вперед молодого человека.

Ребяташки продают пирожки, молоко, ягоды, булки. Сонный носильщик стоит у перил, неподвижно уставившись в одну точку. Щеголеватый молодой человек в красной фуражке приказывает что-то унылому бородачу. На вокзале пахнет жареной рыбой. За вокзалом одинокая телега:

— В Шокорово, барин? Мигом доведу!— предлагает маленький мужичок с рыжеватой клинообразной бородкой.

Мистер Бридж еще глубже уходит в широкополую шляпу и возвращается в вагон. Дверь купе открыта. Дверь соседнего купе тоже раскрыта. Мистер Бридж окидывает взглядом полки...

Но ни на одной из этих полок не находит он чемодана — лучшего из всех существующих в мире чемоданов, ибо этот принадлежит никому иному, как именно мистеру Бриджу. Представитель фирмы «Джемс Уайт» взволнован. Он еще раз внимательно осматривает купе, заглядывает в окно, заходит даже в соседнее купе — и потом так же решительно, как и в первый раз, выходит из вагона.

Можно было видеть затем мистера Бриджа в комнате дежурного агента, где он, мистер Бридж, силясь при помощи самоучителя и жестов объяснить человеку во френче, что у него, мистера Бриджа, украли его чемодан, и можно было услышать, как человек во френче, просматривая, вероятно, очень срочные бумаги, грубо крикнул мистеру Бриджу:

— Успеете! Я занят!

Третий звонок. Мистер Бридж терпеливо ждет. Резкий свист. Сдавленный крик паровоза. Мистер Бридж терпеливо ждет.

— Что у вас?— так же грубо спрашивает человек во френ-

че.— Не понимаю, ничего не понимаю!

Поезд тронулся.

Можно было видеть затем мистера Бриджа уже за вокзалом, где по-прежнему стояла телега, и тот же мужик спросил у него:

— А что, довезу?

Мистер Бридж махнул в знак согласия рукой и уселся в телегу.

Через пять минут из дежурной комнаты вышел человек во френче, прошелся по платформе и угрюмо спросил носильщика:

— Где тут... этот?

— Уехал...

— Уехал? Да ведь он по-русски ни бе ни ме!

И оба в недоумении посмотрели на дорогу, где уже не было видно мистера Бриджа с его возницей.

— Куда же и зачем он уехал?

Но кто мог ответить на этот вопрос? Мистер Бридж? И он не смог бы ничего объяснить, так как не говорил по-русски.

## 2. Шокорово

Мужичок, заполучивший такого странного седока, был очень доволен неожиданной этой удачей, но принял удачу с достоинством и даже более чем с достоинством.

— Я же говорю, дешевле никто не повезет! Помилуйте — десять верст... Сенокос... А мне по пути... Н-но, милые!..

Мистер Бридж не проронил ни слова.

«Не разговорчивый... Кто знает, что они на уме держат!»

— Я это потому,— продолжал он, подозрительно вглядываясь в седока,— что с сеном приехал, и все одно тамошний! А то разве повез бы?

Мистер Бридж смотрел в сторону и, видимо, ничего не слышал.

«Не скажут... Едут, молчат, а придут — бумагу к рылу: коммунист! Ты чего комиссара вез, никому не сказал? А вот возьми да узнай!»

— Н-но, шаршавые!

Мистер Бридж трясся русским проселком в русской телеге. Мистер Бридж видел: пролески, поля, луговины, овраги, ручьи, холмы, солнечные пригорки, одинокие березы в полях, ободраный бредняк по канавам.

«Не скажет,— размышлял мужик,— не то по налогу, не то следователь. Да будто не следователь — у того усы... По налогу, стало быть...»

— Н-но, паскуда, куды лезешь!

«Не успел сено продать — подавай! Не терпится!»

Мистер Бридж молчал и молчал, крепко сжав губы.

— Трясет небось?— осведомился мужичок.— Я бы вам сена подложил!

Мистер Бридж промычал что-то непонятное.

«Немой, стало быть... А вот у Агафьи сынок — до десяти годов не говорил, а свезли в город, подрезали язык...»

И, с сочувствием посмотрев на мистера Бриджа:

— А у другого, можа, и языка вовсе нету...

Телега стучит, тарахтит, с горки на горку. Вот деревня. Свернули к колодцу с высоким закинувшим в небо длинную шею журавлем. Мистер Бридж пьет из бадьи холодную, пахнущую деревом воду.

Лесок. За леском серебряные купола, колокольня, красная крыша барского дома. Мистер Бридж приподнялся.

— Шокорово! Вот оно!— обрадованно закричал мужичок и крепко ударил усталую лошадь. Шагом шла она по влажной лесной дороге. Хрустел валежник; встряхивалась на голых корнях телега. Ворота — за воротами вешня, за вешней налево — село, а направо — бывший господский парк и березовая роща.

— Вам куда?

Мистер Бридж осмотрелся, вылез из телеги и, бросив вознице деньги, спокойно пошел к парку и скоро скрылся среди безлюдных берез молодой шокоровской рощи.

Мужичок покатил в село.

«Чудно — а ежели он... Донести? Вот так и так, привез не знай кого... А зачем, спросят, вез, паспорта не спросил?..»

Что же это за местность, куда нежданно-негаданно забросило представителя фирмы «Джемс Уайт Компани лимитед»?

Шокорово — старинное имение князей Муравлиных — дешево досталось в свое время шокоровскому же мужику Степану Тимофееву, который под фамилией Вахрушина вел торговлю лесом и быстро разбогател. Вахрушин свел тысячи две десятин строевого леса, заколотил ставнями окна барского дома, оставив из милости доживать век свой в этом доме дальнюю родственницу князей, носившую ту же фамилию, но уже без княжеского титула, — а сам уехал в Москву и редко-редко появлялся в имении: торговое дело его расширялось, он завел связи с заграницей, приобрел три завода, купил и продал опять не одно имение, — Шокорово потому только не подверглось этой участи, что старик хотел успокоить кости свои рядом с «родителями» на шокоровском кладбище.

По смерти Степана имение досталось сыну его Дмитрию. Поссорившись с братом Петром при дележе наследства, он поселился в Шокорове, построил новый причудливой архитектуры флигель рядом с развалинами старого дома, восстановил цветники, выписал какие-то невиданные до сих пор машины, — но



дальше дело не пошло: он опять помирился с братом и уехал в Москву.

Торговый дом «Братья Вахрушины» находился тогда в зените своей славы и даже имел представительство в Лондоне.

Машины ржавели под дождем и ветром, цветник поддерживал старушкой Муравлиной и ее внучкой — Ариадной, да стоял новый дом, куда на лето приезжали отдыхать сыновья Дмитрия — Василий и Николай. Василий скоро занялся коммерческими делами и отдыхал уже не в Шокорове, а в излюбленных купеческими сыновьями ресторанах; Николай продолжал каждое лето навещать село. Товарищей по деревне ему заводить не разрешалось, и поневоле единственным другом была Ариадна. Приезжал Николай и во время войны — в студенческой форме, потом в форме прапорщика — и уже только затем единственно, чтобы видеться с Ариадной. Первое время по его последнем посещении получала Ариадна толстые пакеты, за которыми сама ходила на станцию, — десять верст туда и обратно, а потом письма прекратились. Старушка Муравлина умерла, и Ариадна, кончив гимназию, поступила учительницей в шокоровскую школу.

Накануне Октябрьской революции приезжал в Шокорово Дмитрий Вахрушин — и вскоре уехал за границу, не дожидаясь насильственного выселения. В деревне ходили слухи, что приехал он только затем, чтобы спрятать драгоценности, опасаясь за их целостность, но эти слухи вызваны были скорее разочарованием мужиков в ожидаемых богатствах. Имение перешло совету, потом передано арендатору, который уехал, распродав не только свой инвентарь, но и оставшиеся от прежнего хозяина машины. Имение опустело — и только два сторожа, Ефрем и Нефед, охраняли фруктовый сад, да выселенная из флигеля Ариадна занимала бобыльскую избушку за парком неподалеку от рощи.

Одиноко пережила она эти годы. То и дело местные власти являлись с обыском, отбирали какие-то подписки, требовали сообщить сведения, о каких она и понятия иметь не могла. Разыскивали Василия, разыскивали Николая, разыскивали, наконец, несуществующие драгоценности — и все должна была знать Ариадна. Но потом ее оставили в покое: она посещала теперь уже полупустую и нетопленную школу, ездила в уезд за мукой и капустой и, проголодав зиму, раскопала небольшой огород рядом со своей избушкой.

И в этот вечер Ариадна была в огороде. Надо было полить огурцы — с коромыслом через плечо носила она тяжелые ведра вверх и вниз — от ручья к огороду. В этой крепкой загорелой женщине трудно было узнать худенькую гимназистку, какой была она прежде. Привыкшие к тяжелой работе руки огрубели, и даже ее живые прежде глаза приобрели тот невидящий взгляд, который привычен для баб, погруженных в работу.

Привычно носила она тяжелые ведра, поливала сухие гряды, думала о том, что огурцы обещают быть хорошими, а картошка растет плохо, что на капусте завелись черви, а убирать их некогда — словом, о том думала она, о чем думают все не из досуга только занимающиеся хозяйством люди. Она смотрела и не видела — ни старой липы, ни толстого, загнившего пня другой, еще более старой липы, на которой — так ли давно? — часто сидела она с Николаем. Когда это было? И было ли это когда? Летом — огород, зимой — школа, ссоры с мужиками из-за лишнего воза дров, из-за лишнего пуда муки — и никогда не было ни толстых пакетов, ни неутомительных путей на станцию — за десять верст, туда и обратно...

Где теперь Николай? Ариадна редко вспоминала о нем. Только во сне видела его иногда и почему-то всегда гимназистом, таким же представляла его и наяву.

Ариадна поставила ведра на землю и грустно вздохнула. Еле заметной краской покрылось лицо. Она опять подняла ведра и взглянула на старую липу...

— Ах...

Ей показалось: на полусгнившем пне, опершись щекой на кулак, сидит незнакомец. На нем — широкий сюртук, широкополая шляпа лежит на коленях. Бритое скуластое лицо. Высокий лоб, выдавшийся вперед подбородок.

Ариадна, раскрыв глаза, безмолвно смотрела на незнакомца. Незнакомец быстро поднялся и скрылся в аллее старого парка.

Видел ли ее этот человек? Видел ли ее мистер Бридж? С какой целью пришел он сюда? — Неизвестно. И он сам ничего бы не мог объяснить, так как он не говорил по-русски.

### 3. Привидение

Ариадна ни минуты не могла оставаться в избе. Будто в первый раз увидела она и покрытые копотью стены, и уродливую, занимавшую половину избы печь, и заклеенные бумагой стекла. Закончив работу, вышла она во влажную сумеречную рощу — и вот — словно не было этих горькими воспоминаниями наполненных лет, словно ей восемнадцать, у нее нежные не привыкшие к работе пальцы, она влюблена первой весенней влюбленностью и идет на свиданье.

Она миновала рощу и парк. Вот господский дом, покосившийся набок. Широкая терраса, с разбитыми, когда-то разноцветными стеклами, лишенная подпорок, готовая ежеминутно упасть крыша. Ариадна осторожно поднялась по ступенькам, открыла дверь. Оттуда пахнуло сыростью. От лунного света — сквозь окна — прозрачные тени. Она идет дальше: гулко отдаются шаги. Скрипят половицы. Еще в детстве любила она прятаться в этом доме, прислушиваясь к его

голосам, — и вдруг, вздрогнув, выбежать вон, от неожиданного испуга.

Вот ей послышалось: необычные, слишком живые для этого дома звуки. Остановилась — и вдруг, как и в детстве, вскрикнула, испугавшись, и бросилась быстро бежать через парк, в рощу.

Ей показалось: кто-то ходит по старому дому, тихо крадется — ей показалось — мелькнула полоска света за дверью и вдруг погасла...

На крик отозвались собаки. В сарае за домом слышали крики и лай сторожа — Ефрем и Нефед.

— Подь посмотри, — сказал Нефед, — кричат будто...

— Не барин — сходишь и сам, — ответил Ефрем.

Шум продолжался. Оба вышли в парк. Тихо. Лунные пятна. Меж деревьями — белая мелькающая тень.

— *Ходят...* — сказал Ефрем и широко перекрестился.

— Стерегут, — подтвердил Нефед.

Они, как и вся деревня, были уверены, что старые господа, похороненные у церкви, встают по ночам и стерегут спрятанный Дмитрием клад. И потому никто не мог найти этого клада — ни мужики, ни даже приезжавшие из города «комиссары».

Все в Шокорове, а в особенности сторожа, привыкли к ночным посещениям, и, не обнаружив на этот раз особенного испуга, они ушли в сарай, предоставив привидению бродить сколько ему вздумается.

— Нас не тронет!

Но на этот раз явление было не из обычных. Всю ночь до рассвета слышались шаги в старом доме, мелькал огонек, тени бродили по парку. Сторожа не один раз слышали стук и шаги, но в старый дом войти не решались.

Испуганная, прибежала Ариадна домой. Зажгла керосиновую коптилку, разыскала припрятанные от обысков письма и дневники, пересматривала их, вспоминая всю жизнь, — как это бывает в минуты особенно острого беспокойства.

Легкий стук в окно прервал ее мысли. Она потушила огонь и прислушалась. Стук повторился.

— Кто там? — испугалась своего голоса, спрятала письма на грудь. Потом подошла к окну. В окно, прильнувши к стеклу, смотрело чье-то лицо. Ариадна вскрикнула, опустила руки и не могла проговорить ни слова.

Утром разнеслось по Шокорову, что в усадьбу этой ночью приходили «господа» и долго бродили по дому. Эти слухи дошли до мужичка, привезшего мистера Бриджа, — и его сразу же осенило:

— Он и есть!

И клялся, описывая мистера Бриджа, его шляпу, его костюм, его трубку, — что это никто иной, как один из «господ».

— И ведь ни слова не говорил всю дорогу! Подъехали к ро-

ще — гляжу — нет! С нами крестная сила! Вот, думаю, кого привез! То-то лошадь всю дорогу косилась!

— Животная чувствует... Да что ж ты его, Кузьма, в совет не предал?

— Покойника-то? Экося! Я ж тебе говорю: обернулся и нет!

Мог ли мистер Бридж предполагать, что он будет невольной причиной подобных разговоров? Знал ли почтенный представитель «Джемс Уайт Компани лимитед», что его эксцентричная выходка — прогуляться за десять верст вместо того, чтобы спокойно ждать на станции следующего поезда, будет иметь в этой варварской стране такие чудовищно нелепые последствия?

Мистер Бридж — где бы он ни был — в Шокорове, на станции или в международном вагоне поезда, идущего на Москву, — одинаково не мог ничего знать и слышать, так как он не понимал по-русски.

#### 4. Кривой переулоч

В расстоянии не более пяти минут ходьбы от вокзала, в Кривом переулочке стоит небольшой двухэтажный дом, построенный, может быть, сто лет назад, — так архаически выглядит он, и столь заметны в нем глазу несомненные признаки разрушения: осыпавшаяся штукатурка, обнажившая черные бревна, прокопченные стекла, сквозь которые с успехом можно было бы наблюдать солнечное затмение, если бы солнце заглядывало когда в переулоч, — и эти стекла местами разбиты, местами заменены почерневшей от дыма фанерой, парадные двери, уже и вовсе не сохранившие стекол, — настежь раскрыты. Этот дом заслуженно пользуется недоброй славой, как убежище лиц, коих профессия не значится ни в одной профессиональной карте, но зато тем более отмечена уголовным кодексом.

Дом этот некогда куплен был фирмой «Братья Вахрушины» и оставлен на попечение дворника, а когда старший из братьев — Петр — выселен был из особняка на Арбате, пришел черед и для этого дома. Петр поселился в нем, познакомился с жильцами, которые называли его по-прежнему «хозяином», и оказывал им, пользуясь некоторыми связями, некоторые услуги в таких делах, которые карались существовавшим тогда законодательством, а затем торговый дом «Братья Вахрушины» возобновил существование в форме единичного предприятия — специальностью его была покупка и продажа предметов, не помнящих имени прежнего своего владельца.

В тот день, которым мы начинаем рассказ, прилично одетый молодой человек, лицо которого носило явные признаки полумонгольского происхождения, постучался в квартиру «хозяина». В руках у него был небольшой чемодан.

— Кто там? — Послышался лязг открываемой цепочки, и

раскрытая наполовину дверь впустила молодого человека в полутемную прихожую.

Не в меру высокий, худощавый и совершенно прямой старик, с выцветшим, как у старого чиновника, лицом неприветливо встретил молодого человека:

— Ты, Иван? Был *там*?

— *Там*... — Молодой человек отрицательно качнул головой.

— А что же? Где же ты был?

— Насилу с вокзала выбрался... До вечера проваландался с этой облавой...

— Что? Какая облава?

— Какой-то атаман Скиба... Утек, что ли... Так-то его и найдут! А вот я по пути эту штуку захватил, — добавил он, показывая на чемодан.

— Оставь — завтра зайдешь...

— Деньжонок бы...

Старик вынул засаленный бумажник, долго отсчитывал деньги и, глубоко вздохнув, подал их молодому человеку.

— Маловато...

Снова захлопнулась дверь.

— Ишь, старый черт... Жила... — бормотал Иван, спускаясь с лестницы. — Дальше передней не пусти! «Хозяин»!..

Старик поднял чемодан и, сгибаясь под тяжестью, бережно перетащил его в соседнюю комнату, очень просторную, но с низким закопченным потолком. Железная печка. Стол. На столе — кусок колбасы, хлеб и селедка. От окна отделилась черная тень.

— По делу? Ушли?..

— Свои, — нехотя успокоил старик. — Да тебе лучше бы уйти, Василий.

— Мне? Уйти? Мне? Ты меня гонишь? Чтобы Василий Вахрушин — миллионер! — Василий Вахрушин — единственный наследник торгового дома «Братья Вахрушины», ночевал на бульваре?

Тень приблизилась к старику. Теперь можно было рассмотреть тридцатипятилетнего мужчину, такого же высокого и такого же прямого, как старик, с черной курчавой бородой, делавшей его похожим на легендарного разбойника. Он распахнул рваную солдатскую шинель:

— Мне уйти? В таком виде?

Вид его одежды, действительно, не мог удовлетворить самый неприхотливый вкус: под рваной шинелью — синяя рваная же рубаха, посконные штаны и на ногах какие-то ошметки.

Старик начал быстро ходить из угла в угол.

— Ты понимаешь, я тебе не смогу помочь... И при этом, — старик покосился на дверь, — каждую минуту... Я и сегодня жду... До восьми, так и быть, подожди...

Василий обрадовался даже этой ничтожной отсрочке. Он присел к столу и, отламывая огромные куски хлеба, принялся доедать лежавший на столе ужин.

Старик занялся чемоданом. Аккуратно вынимал он вещь за вещь, перетряхивал и откладывал в сторону. Это были: аккуратно сложенный костюм, шляпа, три смены белья, несессер, наконец, портфель.

— Ага! — прошептал старик, нащупывая бумаги, но тотчас же разочарованно сморщился и бросил их на стол.

Василий мельком взглянул на бумаги.

— Джемс Уайт? Старые связи?

Старик продолжал работу.

— Джемс Уайт! Переписываешься с иностранными фирмами? А еще рассказываешь сказки, что тебе плохо живется!

Старик поднял голову, недоумевающе глядя на Василия.

— Это бумажки от Джемс Уайт... Как же — хорошо помню! Наши лондонские корреспонденты... Показывай, что прислали тебе английские друзья...

Старик не понимал, в чем дело.

Василий поднял с пола костюм, сверток белья — и на его лице появилась довольная улыбка.

— Я могу уйти от дорогого дядюшки одетым с иголки!

Дядя зло покосился:

— Не смеешь! Отдай!

— Отдать! А если за горло?

Старик позеленел от злости.

— Я пошутил, пошутил, мой добрейший дядюшка! Вот что: я покупаю у тебя это добро! Идет?

Выцветшее лицо дяди выразило недоверие.

— Покупаю! — закричал Василий. — У меня ничего нет? Ты хочешь сказать, что у меня ничего нет?

Василий презрительно взглянул в бесстрастное опять лицо старика.

— Не веришь? Вексель! Я даю тебе вексель за подписью Василия Вахрушина! Это имя еще что-нибудь значит! Я докажу! Мы, Вахрушины, не привыкли бросать слово на ветер!

Последние слова произвели на старика приятное впечатление, и Василий поспешил воспользоваться этим:

— Я даю тебе честное купеческое слово! Слово полноправного члена нашей фирмы!

Все, что касалось чести давно несуществующей фирмы, производило большое впечатление на нищего представителя этой фирмы. Василий уже примерял оказавшийся как нельзя более впору костюм.

— Надо мыться! Есть у тебя ванна, дядя? Так давай ведро! Василий Вахрушин принимает человеческий вид. Ты не радуешься, дядя?

«Обманет?— думал старик.— Нет, он не такой человек... Может быть, через него и мне улыбнется счастье?»

Он осмотрел комнату и на этот раз был недоволен результатом.

— Так ли мы жили!..

— И еще как заживем! Погоди!— подтверждал его мысли Василий, соскребавший со щек последние остатки бороды и усов. Только теперь стал заметен выдавшийся вперед энергичный подбородок, широкие скулы.

— Заживем!

Через полчаса нельзя было узнать Василия в этом изящно одетом иностранце — да, иностранце, ибо костюм его явно обнаруживал свое нерусское происхождение.

— А эти бумажки я себе возьму... Пригодятся... Уж не задумал ли ты, старик, уехать за границу? Что же пишут тебе твои друзья? Почитаем, почитаем...

— Восемь часов,— напомнил старик.

— Ты думаешь, я останусь в твоей конуре? Кончено! Сколько ты просишь за это добро? Дорого, дядя, дорого! Уступи по своей цене... Сколько скинешь, если завтра же принесу деньги?

В дверь настойчиво постучали.

— Обыск! Я говорил...

Старик медленно подошел к двери и впустил в комнату милиционера.

Милиционер тотчас же подошел к Василию:

— Документ!

— All right!— сквозь зубы ответил Василий и предъявил бумаги.

— Иностранец?— недоверчиво спросил тот, оглядывая Василия.

— От фирмы Джемс Уайт...— заторопился старик.— Наши старинные друзья,— добавил он, гордо подняв голову.

Милиционер еще раз посмотрел на непонятные буквы и штампеля, но, видимо, удовлетворился объяснением: прежнее положение старика было так же хорошо известно милиции, как и теперешний род занятий.

— Извините... Иначе не можем,— сконфуженно произнес милиционер, обращаясь к Василию.

Василий сделал вид, что ничего не понял, и только из вежливости ответил:

— Yes!

## 5. Гражданин Бройде

Недавно — оборванец, пробиравшийся от вокзала в Кривой переулок, тщательно избегая милицейских постов,— теперь элегантный иностранец, который идет пешком ради пристрастия к

моциону, — Василий Вахрушин в десять часов был уже в центре города в квартире Якова Семеновича Бройде.

Новая гостиная, новые обои, блестящий окрашенный масляной краской потолок и такой же блестящий, заново оструганный паркет, новая, пахнущая лаком и краской мебель. И среди этой пахнущей лаком и краской мебели встретил нашего иностранца свежий, пахнущий лаком и краской человек — сам Яков Семенович Бройде.

— Это моя супруга... Вы не знакомы с моей супругой...

Яков Семенович указал на свежую декоративную даму с бриллиантами: в ушах, в волосах, на груди.

Но свежая краска и лак и свежая декоративная дама не произвели на иностранца должного впечатления. С преувеличенной вежливостью подал он руку даме и сел, не дожидаясь приглашения, в кресло.

— Так-то, господин Бройде... Господин Яков Семенович Бройде, — говорил он, оглядывая блестящий пол, блестящий потолок, увешанные золотыми рамами стены.

Яков Семенович смущенно, но вместе с тем гордо улыбался.

— Я вас угощу сигарами, — сказал он, стараясь скрыть смущение и некоторое, может быть, беспокойство; в самом деле — откуда и зачем пожаловал к нему этот считавшийся давным-давно умершим человек? Что ему надо от Якова Семеновича Бройде?

— Попробуйте мои сигары... Это что-нибудь особенное...

— Вы из Крыма? — спросила декоративная дама и глубоко вздохнула. — Теперь так хорошо в Крыму...

— Да, погода отличная, — ответил иностранец и подмигнул Бройде.

Бройде понял.

— Фаня, будь добра, распорядись с ужином... Мы имеем деловой разговор...

— Сколько вы дали за эту даму? — в тон Якову Семеновичу спросил иностранец, когда дама ушла. — Ведь это что-нибудь особенное.

— О, — отвечал Бройде, сделав вид, что он оценил шутку, — она мне очень дорого стоит!

Иностранец подошел к Бройде и, положив тяжелые руки на худенькие плечи Якова Семеновича, взглянул прямо в глаза. Бройде еще более уменьшился, глаза забегали по-мышинному, нос заметно вытянулся. Видимо, довольный оказанным впечатлением иностранец хлопнул ладонью по столу и сказал:

— Есть дело, господин Бройде!

Бройде оживился:

— Разве я могу видеть Василия Дмитриевича без никакого дела?..

Будучи в свое время маленьким, даже очень маленьким че-



ловеком в огромном деле «Братья Вахрушины», Яков Семенович чувствовал перед Василием некоторую робость: меньше всего по старой привычке, как перед хозяином, немного больше — как перед обладателем очень тяжелых кулаков, и больше всего — как перед человеком, который может, как — этого Бройде ясно не представлял, — но как-то выдать его, Бройде, испортить ему всю карьеру. Такую наполовину беспричинную робость ощущаем мы перед самым ничтожным человеком, который, может быть, тонким прищуром глаз покажет нам:

— Я тебя понимаю...

Это последнее чувство и создавало некоторую напряженность, из которой разговор о делах мог явиться единственным выходом, ибо только в делах оставляла Якова Семеновича робость — в делах, на которых он, по его собственному выражению, съел восемьдесят три собаки!

— Дело! Вы знали, к кому пришли, если у вас есть хорошее дело! Это что? — прибавил Бройде, поднимая пустой кулак. — Воздух? Так не будь я Бройде, если так оберну, что он будет носить золотые яйца!

— Вот, вот, вот! — подхватил Василий.

Но мы не будем подслушивать деловой разговор. Мало ли что и мало ли о чем говорят меж собой деловые люди! Только они — за полчаса, за час могут на словах наделать таких дел, что ни один кодекс в мире не найдет для этих дел достойной квалификации. Ни один — даже с сильно развитым воображением — человек не сможет представить наяву те фантастические планы, кои развивают наедине сильно увлекшиеся деловые люди!

И что же? Планы эти часто претворяются в жизнь и при этом превосходят самые фантастические предположения!

При этом деловой разговор имеет свои законы: он ведется деловым же шепотом, так что можно расслышать только не значащие ничего фразы, вроде:

— О, это гешефт!

— Нагреешь руки!

— Это, понимаете ли, фирма!

— Старинная фирма...

— По старой памяти обращаюсь к вам... Знаю за честного коммерсанта!

— Честный? Это вы мало говорите — честный! Яков Бройде дурак — вот до чего честный человек Яков Бройде!

— И мне самому — ничего! — добавил Василий тоном короля, отдающего полцарства. — Мне только бы добраться до границы... Старик? Старик у недурно и здесь... Он получит свое, старик... А меня здесь...

Гражданин Бройде поежился, словно от неожиданного холода, и сделал жест, как бы отсчитывая мелкую монету.

— Вот именно,— подтвердил Василий.

И, встав во весь рост:

— Старик хочет в Англию! Ты бы только посмотрел на него!— Василий не заметил, как во время разговора перешел на «ты».— Краденым торгует. Позор!

— Ай-ай-ай!

— Только помни, что я не говорю по-русски,— прошептал он, заслышав шаги декоративной дамы, приглашавшей к ужину.

После ужина Бройде звонил по телефону.

— В час... «Ша нуар»... Почему фунты? Вы и не думайте, что фунты...

И, положив трубку:

— Гендельман... Вы бы только посмотрели... Какой человек! Знаком пять языков!

И с восхищением прибавил:

— Аристократ!..

— Значит, в час... А мне надо устроиться... Могу я открыть у вас текущий счет?

Бройде засуетился:

— Сейчас, сейчас...

Извозчик отвез новоиспеченного иностранца в гостиницу. Василий со вкусом расположился в отведенном ему номере, приняв, несмотря на незнание русского языка, самый повелительный тон в отношении прислуги и необычайную щедрость.

Контора гостиницы тотчас же получила записку с обозначением имени приезжего. На ней значилось:

«Мистер Роберт Бридж, представитель торгового дома «Джемс Уайт Компани лимитед».

## 6. Кафе «Ша нуар»

В час ночи за отдельным столиком кафе «Ша нуар», в уголке под пальмой сидели: новоиспеченный мистер Бридж и Яков Семенович Бройде.

— Отчего он запаздывает?— возмущался Бройде.— Это совсем не походит на него!

Они выпили по две чашки кофе, но Гендельман не являлся: ждали именно Гендельмана.

— Он не свободен ни в одной минуте,— объяснил Бройде,— но если он сказал прийти — он да придет!

Василий рад бы и вовсе не ждать Гендельмана: полусонными глазами обводил он кафе и даже — но только на секунду — переходил время от времени в такое состояние, когда видишь сны, сознавая себя бодрствующим. Воздух общественных мест, а в особенности обстановка таких учреждений, как кафе «Ша нуар», сильно способствует подобному переходу. Непрерывный негромкий, монотонный, напоминающий жужжанье

шум, изредка прерываемый только звоном стекла и отрывистым приказанием: «Чашка кофе!» стоял в кафе «Ша нуар».

Посетители этого кафе мало чем отличались от посетителей прочих московских кафе, где имеют обыкновение собираться деловые люди, но для Василия, давно не видевшего этой публики, и они представляли интерес.

Прежде всего коммерсанты: коммерсанты солидные с начисто выбритыми подбородками и их дамы, украшенные преувеличенным количеством бриллиантов, словно бы вынесенных на продажу; потом коммерсанты менее солидные, вращающиеся вокруг солидных коммерсантов и их дам, — у этих подбородки выбриты два дня тому назад, — и, наконец, совсем несолидные коммерсанты, бритые неделю тому назад и потому имеющие на щеках порядочную щетину: эти вращаются вокруг менее солидных коммерсантов. Словом — каждый столик кафе «Ша нуар» представлял точное подобие коперниковой системы Вселенной, вплоть до комет, роль коих выполняют снующие взад и вперед между столиками официанты.

И только за одним столиком — под такою же пальмой, как и та, в тени коей спрятались наши знакомцы, и неподалеку от столика наших знакомцев расположились необычные для кафе «Ша нуар» посетители, по-видимому, не имевшие в этом кафе никаких дел, кроме ужина, — этот ужин уничтожали они, почти не прерывая занятия приличным для делового кафе разговором.

В описанной выше мировой системе посетители эти являлись чем-то вроде туманности, на которую испытующе смотрят астрономы: что ты есть и зачем ты тревожишь нашу мысль своим бессистемным существованием?

Можно было рассмотреть только широкую спину одного незнакомца, его серый не первой свежести пиджак, лоснящийся на локтях, и черную лохматую шевелюру другого незнакомца.

Заметив их, Василий опять погрузился в полусон — пока не услышал негромко сказанных за таинственным столиком слов:

— Атаман Скиба? Я что-то не слышал...

— Как не слышали? А у нас на юге это, знаете ли, фигура!

— Что ж он — бежал?

— Разбили, говорят, а он скрылся...

Опять незнакомцы торопятся съесть поданное им блюдо — опять молчание. Но Василий внимательно слушает.

— Скиба! Вот уж кого я помню, так атамана Скибу! Я по его милости без ноги...

— Вот как? Да ты бы рассказал... Встретились — и молчок, — говорил добродушный и звучащий некоторой усмешкой голос. — Мы года два не встречались...

— Да что говорить... Сам видишь, — ответил другой. — А вот атамана Скибу я не забуду.

Рассказчик рассмеялся неприятным жиденьким смешком.

— Ты не думай, что веселая встреча! Я первый раз так засмеялся после того, как познакомился с атаманом...

И после некоторого молчания добавил:

— Вы видели человека, который был расстрелян? Нет? Так вы его видите перед собой!

Опять молчание.

— Я тебе расскажу... Два года тому назад... Уходили добровольцы. Ты помнишь, как они уходили, — раньше чем наши войска заняли город, их не осталось ни одного. Начались погромы. Мы взяли винтовки, составили отряд. Пристань была в их руках. Мы поставили пулеметы и двинулись к пристани.

Я попадаю в передовую линию — нам удалось отрезать часть офицеров; что тут собственно было — я не знаю. Помню чьи-то крики, кто-то просил у меня пощады — и больше ничего. Очнулся я только в лазарете и спрашиваю у сестры:

— Ну что? — Я боялся спросить более определенно.

— Красные в городе.

Я узнал, что ранен при занятии порта. На утро я чувствовал себя лучше — мог вставать с постели и, хотя с трудом, мог ходить. И вот ночью — слышу, — беготня, крик. Я поднял голову, что-то сказал. А над моей головой:

— Тащи и этого!

Вы знаете, что я не мог ходить. Два дюжих молодца подтолкнули меня в спину:

— Не притворяйся! Сволочь!

Все так быстро — я уже в шинели, но без сапог. Мороз. Ветер. Темно. Я сейчас не могу объяснить, как я мог вынести, — но шел без посторонней помощи, — иначе тут же прикончили бы. Пихнули в темный чулан.

— Жди тут!

Я на кого-то наткнулся. Оказалось — еще несколько человек. Один мне тихонько:

— Вы не знаете, в чем дело, товарищ?..

Я ничего не знал. Да.

Сколько сидели в чулане — не помню. Вводят в комнату. Посредине большой стол, за столом высокий офицер с багровым скуластым лицом. На столе бутылки. Офицер наливает стакан за стаканом и пьет. Гляжу на лицо — и нельзя сказать, чтобы зверское. Веселое лицо, пьяное, да... Я даже обрадовался — ну, думаю, вывернусь! К нему подводят одного, другого — он всем одинаково:

— Проходи! — а за спиной что-то показывает. Одних выводят в одну дверь, других в другую... И я подошел. Меня лихорадить начало — большой все-таки.

— Это что за развалина? — пошутил офицер. — Раненый?

Я тоже стараюсь под него, в шутку:

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Хотел ихним прикинуться — жизнь-то дороже. Да. Он улыбнулся.

— Проходи!

— Ну, думаю,— спасся. Не тут-то было — вернули опять. Он внимательно так на меня смотрит, уставился. Я молчу — и он молчит, только смотрит. Так смотрит — даже у меня в глазах помутилось. Потом резко так:

— Проходи!

Опять меня в чулан — там только трое. Куда же теперь, думаю. Приходят.

— Идем!

— Куда?

— Молчать, сволочь! — и прикладом.

А другой:

— Куда идешь, оттуда не вернешься!

Я чувствую, что дрожу весь и ноги не двигаются. Холодно. Ветер. А я без сапог,— это, может, спасло меня... Вывели на площадь.

— Становись!

Ну, если ты хочешь знать, что я чувствовал,— то не могу сказать. Просто, ну, как на учење: становись — и встал. Промчались два кавалериста — мимо нас. Выстрел. Кто-то мне шепчет: «прощай».

— Не разговаривать!

Мелькнул свет — и потом не помню. Очнулся — лежу на снегу. Голоса:

— Снимай сапоги-то!

— У него и сапог нет...

— Даром работали! Сволочь! — и толкнул меня ногой. Может быть, я пошевелился, может быть, застонал — не помню. Опять крик:

— Прикончи.

Я почувствовал — что-то входит в тело. Стало легко.

— Идем...

Минут десять я лежал в снегу. Я боялся пошевелиться. Они были далеко — а я боялся встать: вдруг не смогу — а сознаю все так ясно... Пошевелил ногой — двигается... Рукой... Медленно приподнялся. Рядом три трупа. Послушал: мертвые. Опять голоса. Я опять лежу. Потом встал и пошел. Все было холодно, а теперь тепло стало. Иду — не знаю куда. Метель. Ноги тяжелые — это снег налип на ноги и замерз с кровью. Боли я не чувствовал никакой и не знал, что это моя кровь. Вдруг:

— Кто идет?

Надо было не дрогнуть. Надо было не выдать себя. Я уже вижу вскинутую винтовку.

— Свой!

Очнулся в лазарете. У меня отнята нога, на руке нет трех пальцев — отморозил. Глаз поврежден — не знаю, как и чем... Мне потом объяснили, что я наткнулся на свой патруль и что город был занят атаманом Скибой...

Молчание. Василий заказывает еще стакан кофе и прислушивается.

— Ну, а если бы вы... Ну, встретили этого атамана...

Голос задрожал:

— Его... Я... Не знаю...

Опять продолжительное молчание. Василий погрузился в полудремоту, вскинул глазами: «может быть, сон?»

— Пойдемте,— обратился он к Бройде.— Он не придет!

— Что вы говорите— не придет!.. Гендельман не придет! А вы, я вижу, хорошенько заснули...

«Сон?» Василий посмотрел в сторону, откуда он слышал разговор,— да, там сидят двое. Говорят шепотом. Ничего не слышно.

— Знакомьтесь — Гендельман...

За таинственным столиком посетители расплачивались. Василий заметил два лица: одно — широкое, с добродушной полуиронической улыбкой, другое — бородатое, с белым, как бы вывернутым наизнанку глазом. Этот глаз неподвижно уставился в сторону Василия.

Василий хотел отвернуться, но не мог. Их глаза на минуту или, может быть, на секунду встретились.

— Поскорее кончим дела,— весело сказал Василий,— а то я засыпаю и вижу сны наяву...

## 7. Шокоровские разговоры

К вечеру другого, вслед за приездом мистера Бриджа, дня у крайней избы, в том конце, что за церковью, сидел на завалинке парень в белой рубахе с вышитым воротом и в русских сапогах. Широкий приплюснутый нос. Мы видели уже этого парня в другом месте и в другом наряде.

— Это ты, Кузьма?— крикнул он, заметив издали мужичка, в котором каждый узнает словоохотливого возницу мистера Бриджа.

— Кого Бог послал? Да это никак Иван? Вот кого и не ждал... Что в избу не заходишь?

— Я по делу...

— По делу? Ну, все равно пойдем — гостем будешь... Дело не зверь... Не невесту ли выбирать приехал?

— На кой она мне, невеста! Я тебе дело скажу — только смотри — молчок! Ты хорошо знаешь усадьбу?

— Как не знать! Да я с комиссарами там семь ден шарил!

— Ты бы меня ночью проводил туда?..

— Проводить? Ночью?

— Ну да, проводить...

Кузьма задумался.

— Оно, отчего же... Только вот что говорят: нечисто там...

— А ты что — сапоги замарать боишься? Так лапти обуй...

— Не про то... Ты послушай, что по деревне говорят!

Друзья прошли в избу и уселись ужинать.

На деревне разговоры действительно не прекращались. Сам Кузьма отчасти был виноват, по крайней мере на его словах укрепился и твердо держался слух о приезде «барина», но сам он вряд ли в этом сознался бы. Если б спросили его, точно ли видел он то, о чем утром всем и каждому рассказывал, он бы ответил: «говорят, что так» — для него его собственные, но прошедшие через пять уст слова становятся тем сложным и малоисследованным явлением, которое определяется словом «говорят» или еще таинственнее — «поговаривают». Это так же безлично, как «светает» или «смеркается», и относится к тем же, совершающимся помимо воли человека, явлениям, возникающим за спиной дневного и всем понятного смысла.

— Говорят...

Шепотом передавалось в Шокорове от избы к избе:

— Барин приехал...

— Ну?

— Вот те крест... В старом доме живет... Днем спит, а ночью по земле ходит... Ефрем говорил: стоит будто и руку у лба держит...

— Вспоминает!

— Вспомнишь тут, коль ни кола не оставили... Что мужики, что арендатель...

— А его не заберут?

— Заберут! Силы не имеют — вот что! Они его хватать — он меж пальцами проходит... Они с ружьем — он пулю отведет...

— *Невидимый?*..

— Хлебом-солью встретить требуется... Вот как...

— В совет обсказать... Они его...

— Руки у них короткие, у совета!

Поговаривали о человеке в широкой шляпе, который будто бы дал зарок слова единого не вымолвить, пока не «объявится». Что, собственно, «объявится» — неизвестно, но ясно, что как только «объявится», так и «вину воля будет»... На это возражали, что вино, дескать, вином, а вот землю придется вернуть или отбывать за нее барщину семь годов и семь ден, и все это потому будто, что Бога забыли, а без Бога разве можно?

— Нешто возможно без Бога!

Многим, а в особенности бабам, стало чудиться: видели словно этого человека у кладбища, будто присел он на могилку Сте-

пана Тимофеева и будто плакал, а как подошли — он так и рассыпался снопом огненным... Появлялось и в других местах — то же самое привидение: но оно никогда не допускало ни видеть свое лицо, ни прикоснуться. Лица *оно* не кажет, так как на лице «знак», а прикоснуться нельзя, потому что «дух», — тела не имеет. Бродит же эта неприкаянная душа потому, что она «дому ищет», — и только требуется ее присыпать землей и перекрестить — как она навеки успокоится.

— Как же иначе? Вот *они* затем и явились.

Известие о том, что шокоровский барин явился за землей и крестом, тотчас же дошло до совета, ибо и в совете втихомолку поговаривали о том же...

— Нечего болтать, — сказал секретарь волсовета, которого на деревне звали не иначе как Митька. — Это, — говорит, — антирелигиозные предрассудки...

И вызвали в совет главных виновников — сторожей Ефрема и Нефеда.

— Вы чего, такие-сякие, болтаете!

— Мы, — говорят, — ничего такого... Спали и спали всю ночь...

— Вы бы не спали, коли сторожить поставлены. А правда ли, что по дому кто-то ходит?

— *Ходят!* — в один голос ответили они. — Ходит Степан Тимофеев со сродственниками и стережет...

— Чего же им стеречь, коли ничего не осталось?

— Известно что — клад!

И добавили, что клад тот заклят тройным заклятьем, и может его найти только такой человек, который от всего своего рода отречется, но никто не знает, как отречься, — ибо тоекратное даже «отрекаюсь» не имело никакого действия...

Ефрему и Нефеду на это ответили:

— Никаких привидений и покойников быть не может, а если кто и ходит по ночам, то значит недобрые люди, — и приказали сторожам не спать всю ночь, а чтобы страшно не было, дали им по винтовке: как заметят — хватать, а заартачится — пали и больше никаких!

А чтобы дело еще крепче было, секретарь припугнул:

— Я сам приду, посмотрю, как вы сторожите!

Такие-то дела творились в Шокорове.

Но наши герои за ужином и деловым разговором знать не могли об установлении охраны, и мирно улеглись спать, так как ночью им предстояло опасное дело.

## 8. Кладоискатели

В половине одиннадцатого ночи две тени быстро скользнули по парку, стараясь не шуметь и придерживаясь наиболее темных



мест. Впереди шел Иван уверенно, бодро, как будто не ему показывали дорогу, а он вел своего дрожавшего от страха спутника, который время от времени крестился и тихо шептал:

— Свят, свят, свят!

В дальнем углу парка тени остановились.

— Тут,— сказал Кузьма.

— Где?

Они стояли у неглубокой ямы, когда-то служившей колодецем, но ныне осыпавшейся и обросшей травой. Яма была огорожена на всякий случай, чтобы человек ли, скотина ли не сломали себе ноги.

— Лезем,— распорядился Иван.

Кузьма перекрестился и прыгнул в яму.

— Ишь ты, какая мышеловка! Щупай давай... Дерево? Вынимай топор... Доска?

Зажгли спичку: за тонким слоем земли виднелся полугнилой колодезный сруб.

— Наврали!

— Ну, брат... Наврали!..

Полчаса провозились в колодце, пока наконец под одним из бревен не отыскали узкий, только пролезть человеку, проход.

— Видал? Теперь он у нас в руках!

— Не дастся!

— Полежай, полежай... Нечего тут...

Кузьма полез первым. Проход, сначала узкий, все более и более расширялся. Кое-где осыпавшаяся земля перегораживала путь: разгребали руками. Потом проход стал так широк, что можно было встать во весь рост.

— Тутося?— прошептал Кузьма и вдруг дернул Ивана за руку.— Стой... Не шевелись...

Впереди слышался шорох, как будто чьи-то шаги по осыпавшейся мягкой земле.

— Мыши?

— Нишкни...

Опять прислушались: явно шаги. Совсем близко. Кто-то дышит — в тишине подземелья казалось, что дышат рядом — над самым ухом...

— Они...— прошептал Кузьма. И как ни храбрился Иван, это дыхание в таком месте, куда не мог забраться ни один человек, сильно тревожило и его.

— Я тебе говорю: они,— беззвучно шептал Кузьма.

Мелькнул легкий свет — мелькнул и погас. Так же быстро вырисовалась и исчезла смутная человеческая фигура. Кузьма уверял потом, что он слышал глухой подземный голос:

— Кто здесь?

Потом рассказывал он, что при блеске «будто от молоньи» видел он человека в нахлобученной на лицо шляпе,— далее

следовало точное описание шокоровского привидения — будто бы это привидение стояло у большого железного ящика, что-то вынимало из ящика и запрятывало в свои широченные карманы.

Но все это рассказывал он на другой день, на самом же деле он видел только темную человеческую фигуру и закричал при виде этой фигуры:

— Свят, свят, свят!

И оба они бросились вон, и побежали, не соблюдая необходимой в таких случаях осторожности.

— Держи их, держи! — слышали сзади глухой подземный голос.

Шокоровские сторожа действительно не заснули в эту ночь и бродили по парку под охраной висевших за плечами винтовок. Слышали они будто бы шум в старом доме и видели будто бы свет в одном из нижних окон — но в дом не вошли.

— Ежели человек, то он как вошел, так и выйдет, а мы его и на воле поймаем, а ежели...

И верно: не прошло получаса, как слышался треск сухих сучьев и чьи-то быстро мелькающие тени пробежали между деревьями.

— Держи их, держи!

Ефрем наугад выпалил из винтовки.

Кто-то упал. Сторожа приволочили упавшего человека в сарай. В сарае зажгли коптилку.

— Ну и привидение, — сказал Нефед, разглядывая тщедушного мужичонку с рыжей, клином бородкой, — ну и привидение... Да никак это ты, Кузьма?

— Так и есть — Кузьма! С нами крестная сила!

Утром Кузьма был доставлен в совет и допрос выяснил, что Кузьму «нелегкая занесла», что будто бы пошел он с верным человеком клад искать, а верный человек оборотился чертом, и клад ему, Кузьме, в руки не дался. Несмотря на страх перед нечистым, Кузьма не хотел выдавать свой секрет, полагая причиной неудачи неправильное время, — надо было идти после петухов, когда, как известно, нечистый над человеком власти не имеет. И потому он сказал, что искал будто бы клад в старом доме и видел будто бы тень молодого барина, — далее следовало обычное описание привидения. Кузьму оставили в покое, запретив предварительно в холодную, — а сами стали обсуждать сошедшее положение.

Привидение надо было немедленно поймать — тем более что приметы его были всем известны, — но насчет клада единомыслия не было. Одни полагали, что клад — пустая выдумка, другие, опираясь на народную молву, считали его

существование вполне возможным и полагали, что если Кузьму припугнуть, он расскажет,— недаром он связался с нечистым.

Припугнуть выпало на долю Митьке, который так ловко сумел вооружить сторожей,— и на него же возложена была обязанность раскрыть и всю эту чудеснейшую историю.

Кузьма за это время успел успокоиться — и обдумывал новую историю о том, как очутился он в ночное время на усадьбе,— но обдумать этой новой истории не успел. Явился Митька.

— Или,— говорит,— ты все расскажешь, или тебе крышка! А потому говори правду: куда спрятал клад!

Пришлось сказать, что клад спрятал не он, а покойник — и рассказать ту историю, которая нами изложена выше. Отыскана была и яма и проход, в меру пролезть человеку; дошли до места, где можно встать во весь рост, видели наполовину засыпанные землей следы, но не нашли ни привидения, ни железного ящика, о котором рассказывал Кузьма. Кузьма тут же сообразил, что железного ящика могло и не быть.

Стало ясно, что клад был кем-то украден. Но так как клад этот, как и все оставшееся от бежавшей буржуазии имущество, являлся по закону собственностью государства, то покража его признана была преступлением, нанесшим ущерб интересам республики. Оставить такое дело без расследования было даже преступно, а за отсутствием поблизости следователей пришлось взяться за это дело самому исполкому. И первым долгом заявили, конечно, к Ариадне.

Как прожила Ариадна эти тревожные дни? Мы оставили ее с глазу на глаз с привидением — конечно, не могла не слышать она, что говорили по деревне, и даже, может быть, слышала и шум в парке и выстрел,— но почему-то все эти события не произвели на нее особенного впечатления.

Даже наоборот — она была в эти дни в возбужденном, даже радостном настроении, она пела, смеялась, весело работала в огороде. Она стала больше прежнего бродить по роце и парку, она заходила даже в старый дом, не обращая внимания на слухи о привидениях,— и уходила оттуда не испуганная, а даже радостная. Когда пришли к ней за справками, она отвечала, что все это ее не касается, а если кому надо что узнать о семье Вахрушиных, могут обратиться к Петру Степанычу, а где он живет, на селе каждому известно.

Не добившись здесь ничего, опросили всех, кто видел когда-либо привидение или человека, напоминающего это привидение,— и таким образом добрались до станции.

В конторе дежурного агента тот же человек во френче сразу узнал в описываемом привидении англичанина, которого обокрали на станции.

— Где вы раньше-то были? Он только сегодня уехал!

- Что ж вы его...
- А я почему знал, что он привидение! Головы!
- Делать нечего — все пути вели в город. Секретарь исполкома сказал Кузьме:
- Можешь ты узнать *его*, если встретишь?
- Как живой стоит!
- Ну, так поедем вместе...

## 9. Товарищ Плотников

Высокий, серый, наполовину из стекла построенный дом. Между вторым и третьим этажом — следы бывших когда-то здесь золотых букв — можно легко прочесть название фирмы:

т/д «Бр. Вахрушины»

Небольшая, красная с серпом и молотом вывеска указывает на новое наименование того же самого предприятия, и можно еще добавить — на самой двери черная дощечка содержит третье наименование, но опять-таки того же самого предприятия.

В кабинете, сохранившем от прежних владельцев небывалых размеров бюро, кожаные кресла, ковер, — за этим небывалой величины бюро сидит директор предприятия, или, вернее, объединения предприятий, родственных бывшему торговому дому «Бр. Вахрушины», — товарищ Плотников.

На нем серый потертый пиджак с лоснящимися локтями, вид у него серьезный и строгий: только внимательный наблюдатель усмотрит в товарище Плотникове некоторую неуверенность — в движениях, в манере сидеть: как будто бы он не дома; ему непривычен и этот кабинет, и это бюро, и эти ковры.

Когда товарищ Плотников говорит — неуверенность исчезает, но в голосе, в углах губ заметна полудобродушная, полуироническая улыбка.

— К вам иностранцы, — докладывает секретарь.

Товарищ Плотников встает. Походка у него с развалцем, ноги чуть-чуть искривлены: так ходят бывшие кавалеристы. На губах у него та же улыбка — кажется, он подойдет к посетителю, хлопнет посетителя по плечу и отпустит увесистую кавалерийскую шутку.

— Просите...

Услужливо раскрытая дверь впускает двух представителей великой Британской — это заметно с первого взгляда, что именно Британской, — империи и их переводчика.

— Мистер Бридж, — говорит высокий иностранец, подавая руку товарищу Плотникову.

— Мистер Темпл,— говорит низенький иностранец, тоже подавая руку товарищу Плотникову.

— Очень приятно,— отвечает товарищ Плотников и вглядывается в физиономии иностранцев: губы его чуть-чуть улыбаются.

Мистер Бридж одет в широкий клетчатый сюртук и такие же панталоны; на голове у него широкополая шляпа.

Мистер Темпл имеет точно такой же сюртук и точно такую же шляпу.

И когда мистер Бридж садится в кресло по правую руку товарища Плотникова — мистер Темпл садится в кресло, но уже по левую руку товарища Плотникова. И когда мистер Бридж кладет правую ногу на левую — мистер Темпл кладет левую ногу на правую, и оба дымят огромными трубками.

— Вы говорите по-русски?

— Нет,— отвечал мистер Бридж,— но у нас есть переводчик — он понимает нас с полуслова.

Переводчик повторяет фразу мистера Бриджа и добавляет:

— Даже когда мистеры ничего не говорят, я их вполне понимаю...

— Yes!— подтверждает мистер Бридж.

— Yes!— подтверждает мистер Темпл.

Товарищ Плотников чуть заметно улыбается.

Читатель мог догадаться, кто были эти столь высоко поставившие себя иностранцы: в мистере Бридже легко узнать Василия Вахрушина, в мистере Темпле — Якова Семеновича Бройде, в переводчике — Гендельмана.

Для Василия не представляло особенного удовольствия завести деловые связи с фирмой, в коей он долгое время был наполовину хозяином. Нахлобучив как можно ниже свою шляпу, он пробрался, не поднимая лица, мимо многочисленных барышень и счетоводов, заполнявших контору объединения. Разве не могли сохраниться служащие, хорошо знавшие его, Василия, в лицо? И сам директор?.. Почему он улыбается — от Василия не была скрыта эта легкая и чуть заметная полуулыбка. Отчего он так внимательно вглядывается? Василию хотелось прекратить как можно скорее этот опасный визит.

Товарищ Плотников заговорил:

— Вышли из борьбы... Растрепанное хозяйство...

Где Василий мог слышать этот голос? И так недавно. Вчера?..

— Но иностранный капитал... Конечно, соблюдая законы республики...

Да, конечно, только вчера... Кафе «Ша нуар»... Узнал или не узнал?

— Четырнадцатый госзавод... Недалеко от Москвы...

Переводчик повторил речь товарища Плотникова.

— Yes!— говорит мистер Бридж.

— Yes!— говорит мистер Темпл.

Мистер Бридж с этими словами перекладывает левую ногу на правую — мистер Темпл перекладывает правую ногу на левую — и оба дымят огромными трубками.

— У нас выработаны общие условия... Если вы согласны...

Мистер Бридж возражал. Мистер Бридж настаивал на изменении в пользу «Джемс Уайт». «Джемс Уайт» известны всему миру. Даже приятно вести дела с такой фирмой, как «Джемс Уайт». Они ведут дела триста лет. Сто двадцать лет они торговали с Россией. Россия хорошо знает «Джемс Уайт», и «Джемс Уайт» хорошо знает Россию.

Товарищ Плотников тоже знает о фирме «Джемс Уайт» и надеется восстановить старые связи. Мистер Бридж выражает надежду, что будет именно так, как хочет товарищ Плотников, но для этого необходимы некоторые уступки. Товарищ Плотников заявляет, что все льготы, предоставляемые законом иностранному капиталу, будут немедленно распространены на фирму «Джемс Уайт».

— All right!— говорит мистер Бридж.

— All right!— говорит мистер Темпл.

Оба приподнимаются. Мистер Бридж выражает надежду, что завтра же будет готов проект соглашения, и завтра же он сможет осмотреть завод.

— Time is money!— говорит мистер Бридж и улыбается товарищу Плотникову.

Товарищ Плотников вполне согласен с этой, делающей честь английскому народу, поговоркой, и тоже улыбается мистеру Бриджу.

— Good bye!— говорит мистер Бридж.

— Good bye!— говорит мистер Темпл.

И подают руку товарищу Плотникову. Мистер Бридж нахлобучивает широкополую шляпу. Мистер Темпл сияет, переводчик тоже сияет. Они спускаются с лестницы.

И в этот момент вверх по лестнице взбирается человек. Он еле идет, перебрасывая через ступеньку свою, по-видимому, искусственную ногу. У него черные волосы, черная растрепанная борода, один глаз неестественно блестит, впиваясь в мистера Бриджа, другой глаз не менее неестественно неподвижен.

Мистер Бридж глубже уходит в шляпу и быстро спускается с лестницы. Он не видит: белый, словно вывернутый наизнанку глаз смотрит внимательно вслед ему, мистеру Бриджу.

Автомобиль. Вот уж они далеко от стеклянного дома. Мистер Темпл доволен. Переводчик тоже доволен. Мистера Бриджа тревожит вывернутый наизнанку глаз.

— Мне можно уехать? Я вышлю вам подлинные полномочия... Я сам пайщик «Джемс Уайт»...

— Погодите, погодите,— удерживают его.— Такое хорошее начало.

— Но я заметил. Я могу ошибиться, но...

— Пустяки, вас никто не узнает... Завтра — и конец. Мы вас отпустим...

Человек с вывернутым глазом поднимается по лестнице, входит в кабинет товарища Плотникова. Товарищ Плотников любезен с этим человеком.

— Вы получите работу... Мы расширяем дело... Я вас отлично знаю...

Человек с вывернутым глазом интересуется гражданами, которые только что вышли от товарища Плотникова.

— Это англичане,— отвечает товарищ Плотников и улыбается.

— Англичане? Но один меня очень интересует...

— Мистер Бридж?— догадался Плотников.

По описанию действительно: мистер Бридж.

— Но мне в равной степени подозрительна и вся компания!

## 10. Атаман Скиба

Из многочисленных забытых нами героев мы оставили одного в весьма неприличном для него положении: мы говорим об Иване. Мы оставили его убегающим во все лопатки от столь нестрашных врагов, как Ефрем и Нефед — сторожа шокоровского сада — и притом он бежал, напуганный каким-то несуществующим привидением, и вдобавок бросил на произвол судьбы со-вращенного им на это дело товарища.

— Чертовщина! Старому дураку простительно — а мне? Привидение! Да я голову даю — у этого привидения можно было нащупать кости...

Иван сжимал кулаки, представляя столь приятное занятие, как нащупывание костей у привидения.

— Только как он попал туда?

Иван шел по дороге на станцию. Уже медленный поднимался рассвет, над болотом и лесом стоял белый полупрозрачный туман, зеленело небо и веяло тонким холодком. Вот уже недалеко семафор, протянувший вверх единственную руку. Гроыхает поезд.

— Опоздал...

Следующий через пять часов. Идти на вокзал? Но Иван не любил чаще, чем надо, встречаться с некоторыми лицами, которые по долгу службы обязаны присутствовать на вокзалах. Он предпочел отдохнуть в стогу, спокойно проспал все эти пять часов, и только перед приходом поезда явился на станцию.

Он уже взял билет, он уже вышел на платформу — как за-

метил одинокую фигуру, спокойно прогуливающуюся по этой платформе.

— Он. Несомненно, он...

Что-то не уловимое словами подтверждало странное сходство этой прогуливающейся по платформе фигуры с той фигурой, что только на миг мелькнула в подземелье.

— Вот так штука!

Если бы Иван мог знать, какая кутерьма поднялась в Шокорове из-за этого привидения, он, может быть, не побоялся бы и подойти к нему. Но где он еще мог встречать этого человека?

Где? Да, чемодан... Иван вспомнил — но это профессиональная тайна. И чтобы странный незнакомец не узнал по каким-либо признакам его, Ивана, обычной профессии — Иван не решился подойти ближе и удовлетворился только подробным осмотром костюма: клетчатый широкий сюртук, такие же брюки. Впрочем, описание это нам так знакомо...

На вокзале Иван не видал, куда исчез незнакомец, — он спешил в Кривой переулочек в дом Петра Степановича Вахрушина.

— Плохие дела, хозяин...

Старик был взволнован.

— Плохие? Ты был там? Ты сделал все, как я говорил? Ну?

— Ну и ничего, — угрюмо отвечал Иван, — раньше нашего догадались...

— Раньше нашего! Ты обманываешь, подлец! Я тебе как сыну доверил... А ты!

— Бог видит, не виноват, Петр Степаныч...

Старик внимательно посмотрел в глаза Ивану.

«Да. Меня не так-то легко провести, — пожалуй, он и не виноват».

Потом вслух:

— Не отпирайся! Куда ты пойдешь с такими вещами! Ты и десятой доли не выручишь! А я... Ты знаешь, что я тебе обещал...

Иван все это великолепно понимал. Он и не думал обманывать. Торопливо рассказывал все — о Кузьме, о привидении, о бегстве. Старик слушал и покачивал головой.

— Кто ж это мог быть? Василий? Василий не может знать... Никого тогда не было в Шокорове... Дмитрий? Но он далеко... Николай? Вернее всего, — но что известно о Николае? Он, наверно, убит...

Старик и забыл, что надо отпустить Ивана. В дверь постучали.

— Кто там?

Минута нерешительности — стук еще громче. Старик посмотрел на Ивана. Иван на старика. Старик открыл дверь и, не давая ни слова сказать пришедшему:

— Are you, Mr. Bridge!



Василий понял, что ему надо выдавать себя за англичанина. Но Иван — Иван, увидев Василия, застыл на месте и долго пялил на него удивленные узкие глаза. Наконец, выйдя из столбняка, он оттянул старика за рукав и прошептал:

— Он... Этот самый...

— Потом... Придешь после,— тихо прошептал старик.— Иди...

— Ушел? Я тебе деньги принес, дядя...

Старика удивило: что-то новое в тоне Василия. Нет прежней заносчивости. Может быть, он виноват? Чувствует это и скрывает?

Василий небрежно отсчитывал деньги. Старик подхватывал их на лету и прятал.

— Ты думал, я обману!.. Нет, Василий Вахрушин не обманет...

Откуда у него деньги? Конечно, он был там... Выпытать? Может быть, он сам сознается?

— Садитесь, Василий, поговорим...

Молчание.

— Ты, может быть, хочешь спросить о чем, дядя?

Опять в тоне Василия чуждая нотка. Он как бы одряхлел за этот день. Усталый тон.

Старик вытер вспотевший лоб.

— Да... Скажи мне по правде — ты был в Шокорове?

— Я? В Шокорове? Зачем? Как тебе могла прийти в голову такая мысль? Не был, не буду, и завтра же я уеду... Совсем...

Конечно, он говорит правду. Да и как он мог успеть? Так кто же тогда? Кто?

— Завтра уедешь? Я не спрашиваю тебя ни о чем. Ты только скажи мне — Николай жив?

— Где твой брат, Каин? Да, это, может быть, пятно на моей совести. Тебе интересно знать? Мы были в одном полку — ты помнишь, я уехал на юг — там нашел Николая. Армия отступала. Мы не знали, что делать. Я прихожу к Николаю накануне. Он решил остаться в городе и явиться с повинной — всем обещали прощение.

«Я не знаю, где настоящая Россия,— говорил он.— Но только не здесь. Мне все больше и больше начинает казаться, что настоящая Россия там — и мы убежали от неё... Да, не только убежали — мы предали... Большевики? Но я ведь хорошенько не знаю, что такое большевики... Мы видели их только в сражении...»

Так было, дядя... Я, может быть, тоже остался бы в городе, хотя мне это было не по нутру. Но вдруг приказ от полковника:

«Защищать порт до последнего момента и — за границу!»

Нам обещают пароход...

Николай ожил при мысли о загранице. Лондон! Быть может,

там отец. Если нет — мы устроимся там хотя бы в качестве клерков. Ведь мы оба хорошо говорим по-английски!

— Пойдем!

Мы пошли. Конечно, нас обманули. Мы стояли до последней минуты. Последний свисток последнего парохода — и мы брошены на произвол судьбы. Мы лицом к лицу с врагом, который нас не пощадит!

— Прорвемся,— сказал я. Мы поодиночке пробирались через неприятельские посты. И вот нескольких наших, в том числе Николая, остановили.

Я спрятался. Видел: Николай на коленях — я не мог слышать, что он говорил, может быть, просил о пощаде — чернобородый солдат упер винтовку прямо в грудь Николая.

Я отвернулся. Выстрел. И не обернулся даже в ту сторону — я заботился только о себе. Благополучно избег неприятеля. Встретил своих...

Василий на минуту умолк. Задумался.

— И вот еще что,— добавил он,— я вернулся опять в этот город... Как? Я не могу сказать — может быть, после... Я искал его по всем лазаретам — не ранен ли? И не нашел...

Старик молчал.

— Ну, я пойду. Прощай!

Василий подошел к двери, но в нерешительности остановился. Потом вернулся, подошел к старику:

— Прощай!

В голосе чувствовался некоторый надрыв.

Старик проводил Василия на лестницу и незаметно перекрестил на прощанье.

Василий шел быстро, наклонив голову, и мог не заметить: на Кривом переулке у самого дома Вахрушина двое: один высокий в гимнастерке и с револьвером, другой — худенький мужичок с рыжей клинообразной бородкой.

— Он,— прошептал мужичок. И оба пошли за Василием.

Он не мог знать, что эти люди проводили его до дверей гостиницы и спросили швейцара:

— Кто это?

— Англичанин... Сейчас посмотрю...

Потом молодой ушел, а старик остался у подъезда.

Всего этого не мог видеть Василий. И если он видел что,— то один только вывернутый наизнанку глаз: вот он выплывает из переулка, вот он смотрит с автомобиля... Весь мир смотрит на него, Василия, этим белым вывернутым наизнанку глазом...

— Бежать... Скорее бежать... Черт с ним, с этим гражданином Бройде! Деньги? Сколько лет Василий Вахрушин прожил

без денег! И вот шутовской наряд — не хочу! Где мои опорки? Где моя рваная шинель?

Двое вооруженных не постучавшись вошли в его номер. Василий не мог или не успел — но не сказал ни слова. Он не спросил, в чем его обвиняют, он не сказал, что он как английский подданный пользуется нормальными человеческими правами... Он шел покорно и безвольно, как осужденный.

Его провели длинным коридором в темную комнату, внимательно осматривали там, сличали с фотографией, задавали вопросы. Он молчал.

Секретарь шоковоровского волисполкома и Кузьма — это они арестовали Василия — дожидались внизу. Через час вышел к ним один из ответственных работников и, пожалв тому и другою руку, сказал:

— Поздравляю вас, товарищи! Это — атаман Скиба.

## 11. Испытания мистера Бриджа

Давно бы пора нам вернуться к оставленному безо всякого с нашей стороны внимания, но тем не менее этого внимания достойному представителю почтеннейшей фирмы «Джемс Уайт Компани лимитед», мистеру Роберту Бриджу.

Знал ли он, что права его так бессовестно нарушены, что даже имя его, составляющее во всех цивилизованных странах бесспорнейшую собственность индивида, было так необдуманно присвоено каким-то проходимцем?

Что мог знать об этом мистер Бридж? Он не знал ничего, когда поезд проносил его снова мимо немногочисленных теперь станций и полустанков, мимо полей и лесов, которые мистер Бридж уже не считал достойными внимания; он ничего не подозревал, когда пыльными, тряскими улицами вез его случайный извозчик по восточной столице к дому с британским львом на дверях, ничего не знал, когда услужливый клерк предложил ему высказаться о цели визита.

Мистер Бридж объяснил услужливому клерку свое несчастье. Услужливый клерк сказал:

— Эта варварская Россия! В нашем отечестве принято осторожно подрезать карман, чтобы не побеспокоить джентльмена...

— О, это варвары,— согласился мистер Бридж.— Они даже не знают, что настоящий джентльмен не перевозит ценности в чемодане... Но мой портфель. Там были бумаги...

Мистер Бридж не знает, что надо делать в этих случаях? Мистер Бридж может положиться на клерка — и клерк сделает все, что только возможно для своего соотечественника, попавшего в эту варварскую страну. Он даст мистеру Бриджу перо и чернила, чтобы мистер Бридж написал заявление. Мистер Бридж может дать срочную телеграмму «Компани лимитед», не

выходя из-под британского льва. Мистер Бридж затем может быть спокоен.

— Вы не имеете знакомых, мистер Бридж? Я могу вам порекомендовать... Гостиница? Я могу вам порекомендовать гостиницу... Вам понадобится переводчик?

Мистер Бридж шел пешком: это приятнее, чем позволить растряссти все кости на этих варварских дорогах. Тем более что мистер Бридж мог видеть: освобожденные от заборов сады, недостроенные дома, освобожденные от лесов, и даже подвалы этих домов, затопленные мутно-зеленой водой, и гнилые бревна, плавающие в этих подвалах. Черные торчащие из окон трубы, закопченные стены, тротуары с ободраным асфальтом...

Мистер Бридж мог также увидеть: кое-где закопченные стены покрываются свежей, пахнущей известью краской, заклеенные было афишами стекла протерты кое-где и получили свою первоначальную прозрачность. Неуверенные торговцы раскладывают за этими стеклами скудные запасы товара. Все это, несомненно, должно интересовать мистера Бриджа.

Вот посредине улицы идет какая-то группа: почему по мостовой? Разве им запрещено ходить по тротуару? И это также должно заинтересовать мистера Бриджа. Он всматривается в эту группу: меж двумя вооруженными идет человек. На нем — широкий клетчатый сюртук и такие же панталоны. Широкополая шляпа...

— Это привидение, мистер Бридж! Привидение!

Опущенная голова. Упрямо выдавшийся подбородок...

— Привидение!

Но разве мистер Бридж знает что-либо о привидениях? Мистер Бридж быстро идет вперед. Вот гостиница. Мистер Бридж заходит в контору.

Недоуменные, вскинутые на мистера Бриджа глаза. Недоуменные вопросы.

— Вы не видели никогда англичанина? Вы не знаете английского языка?

Мистер Бридж вынимает самоучитель. Он показывает одну русскую фразу. Другую. Он не понимает этих вопросов. Разве смешно, что он, мистер Бридж, не говорит по-русски? Он возмущается, наконец! Он пожимает плечами, смотрит на эти недоуменные подозрительно улыбающиеся физиономии и производит на своем родном языке непонятное этим людям ругательство.

Мальчик бежит проводить мистера Бриджа в отведенный ему номер. Слабо освещенный коридор...

— Мистер Бридж! — раздается в темноте.

Мистер Бридж пожимает плечами. На него, с распростерты-

ми объятиями идет небольшой человек с явно выраженным семитическим типом лица.

— Мистер Бридж!

И вдруг раскрывает глаза и, взглядевшись в мистера Бриджа, изумленно разводит руками. Мистер Бридж строго глядит на маленького человечка и проходит мимо, не удостоив его ответом.

Человек этот не кто иной, как известный нам Яков Семенович Бройде.

— И что же это такое?— думал он, прогуливаясь по коридору гостиницы.— Сказал прийти и до сих пор нет!

Дверь номера, где остановился Василий, полуоткрыта. Никого нет. И потом этот странный двойник...

— Как похож! И подумать только, что так похож...

Яков Семенович спустился в контору.

— Мистер Бридж? Мистер Черт, вы хотите сказать! Одного забрали, даже денег не уплатил — а тут другой! Вы уж не третий ли будете?

Яков Семенович нашел, что расспросы излишни. Яков Семенович быстро — даже нельзя предположить, что возможна такая быстрота,— собрался в дорогу.

На перроне прогуливается одетый по-дорожному Гендельман.

— И вы уезжаете?

— Извиняюсь,— сказал Гендельман,— но мне приходится ехать, если заболела сестра.

— Такой удивительный случай, когда у меня заболели две сестры!— ответил гражданин Бройде.

Но мистер Бридж? Что чувствовал в это время почтенный представитель не менее почтенной фирмы «Джемс Уайт Компани лимитед»? Не чувствовал ли он себя как человек, опоздавший на какое-то людное и бурное собрание? Повышенные голоса, нетерпеливые выкрики, поднимаются и опускаются руки, одних принимают почему-то восторгом, других, даже не сказавших ни слова, встречают насмешками. О чем идет спор? Только механические голоса, только механические движения: может быть, так показалось мистеру Бриджу?

Но мы ничего не можем знать о мыслях мистера Бриджа, ибо мистер Бридж не умел и думать по-русски. Достоверно известно одно:

Мистер Бридж долго не оставался в гостинице, а, приведя в порядок свой костюм, приступил к делам, не теряя ни одной минуты.

Он опять заходил в здание с британским львом, где ждал его переводчик, потом оба остановились у здания, построенного наполовину из стекла.

Переводчик прочел:

— Т/д «Братья Вахрушины»...

— No!— ответил мистер Бридж и пожал плечами.

Тогда переводчик сообщил ему оба новых названия того же самого предприятия.

— All right!— и оба поднялись по лестнице.

Может быть, мистер Бридж заметил, может быть, нет, что они обогнали человека, который взбирался, перекидывая со ступеньки на ступеньку искусственную ногу, и что человек этот остановил на мистере Бридже невидящий, словно вывернутый наизнанку глаз. Может быть, он заметил, что служащие учреждения недоуменно посматривали на него и что секретарь, не спросив даже имени, доложил директору:

— Мистер Бридж!— и что директор протянул ему руку, как знакомому, и тотчас предложил проект сдачи компании «Джемс Уайт» четырнадцатого госзавода.

Но этого уже нельзя было не заметить! Мистер Бридж приходит к господину директору в первый раз.

— Разве вы не были у нас вчера?— спрашивает директор, и губы его полуиронически улыбаются.

Мистер Бридж через переводчика выражает свое удивление. Господина директора ввели в заблуждение относительно личности Роберта Бриджа — настоящий Роберт Бридж имеет честь разговаривать с господином директором в качестве представителя «Джемс Уайт Компани лимитед».

Переводчик имел честь указать, что мистер Бридж мог сделаться жертвой аферистов, ибо как иностранец он не может знать русских обычаев, а в старой Англии не принято делать чужое имя своим достоянием.

Товарищ Плотников выразил сожаление мистери Бриджу. Мистер Бридж предложил приступить к обсуждению дел.

— Вас просят,— доложил секретарь товарищу Плотникову.

— Не видите — занят!— ответил товарищ Плотников, но вышел за дверь.

— Виноват,— сказал он мистери Бриджу,— подождите минуточку!

Мистер Бридж спокойно ждал. Мистер Бридж перечитывал проект и отмечал те места, с которыми не мог согласиться.

Товарищ Плотников вернулся в кабинет и с той же добродушной улыбкой.

— Придется побеспокоить вас, мистер Бридж... Только на пять минут...

Мистер Бридж встал. Двое вооруженных — по-видимому, русские полисмены — встали: один по правую, другой по левую руку мистера Бриджа.

— Вы арестованы!

Мистер Бридж ничего не сказал, так как он не говорил по-русски.

## 12. Очная ставка

Мистер Бридж поместился в автомобиле. Не обращая внимания на своих вооруженных спутников, мистер Бридж закурил огромную трубку и равнодушно посматривал по сторонам. Отчего волноваться представителю «Джемс Уайт Компани», если личность и честь его находятся под защитой британского флага.

Мистера Бриджа провели темным коридором и, втолкнув в полутемную комнату, указали скамейку и вышли. Часовой стоял у дверей.

Мистер Бридж равнодушно обвел взглядом полутемную комнату и мог заметить, что рядом — на один фут от него — лежит его, мистера Бриджа, чемодан. Мистер Бридж с недоумением увидел, что рядом с его, мистера Бриджа, чемоданом сидит незнакомец, в точно таком же, как у мистера Бриджа, костюме, с бритым скуластым лицом и выдавшимся вперед подбородком. Незнакомец интересуется, по-видимому, личностью мистера Бриджа. Незнакомец, может быть, чересчур внимательно смотрит на мистера Бриджа.

Глаза их встретились. На лице незнакомца — удивление, страх, нечто вроде радости от неожиданной встречи.

— Николай! — шепчет он. Одними губами.

— Т-с-с-с!

Кто сказал это «тсс»? Мистер Бридж? Или, может быть, мыши прошелестели бумагой? Часовой обернулся. Внимательно посмотрел на одного арестанта. Потом на другого. Один опустил голову. На каменном лице мистера Бриджа по-прежнему: равнодушные и, может быть, скука.

Мистеру Бриджу нет дела до того, что совершается в этой сумасшедшей стране!

Белый, вывернутый наизнанку глаз бросил взгляд из-за двери на мистера Бриджа. Такой же взгляд бросил он на двойника мистера Бриджа.

— Да, я мог ошибиться... Они чертовски похожи!

Вежливый агент сказал мистеру Бриджу:

— Вы свободны.

Мистер Бридж не торопился. Он равнодушно одел свою шляпу и пошел за провожатым. У подъезда ожидал автомобиль.

— Приношу извинения, — сказал товарищ Плотников, — только десять минут... Можете рассказать в Англии. Никакого беспокойства честному человеку...

— All right! — сказал мистер Бридж, широко улыбаясь шутке товарища Плотникова.

Переговоры продолжались, как будто не было этого короткого отсутствия. Переводчик ожидал в кабинете.

— Я рассчитываю встретить вас завтра. Мы поедем осматривать четырнадцатый госзавод.

Мистер Бридж торопится. Мистер Бридж не хочет посетить театр — он очень устал, мистер Бридж. Он хочет только отдохнуть. Мистеру Бриджу не нужен переводчик. Может быть, мистер Бридж болен?

— Здесь так легко заразиться, мистер Бридж! И притом странной болезнью. Может быть, и вас постигла эта болезнь? Скосившиеся окна домов, подмигивающие фонари, вывернутые наизнанку глаза, подглядывающие из-за двери люди, узнающие вас и не узнающие через минуту, странные двойники, похитители вашего имени!

Сумасшествие, мистер Бридж! Сумасшествие!

Это болезнь, которую не вылечат доктора туманного Альбиона...

— Ты можешь ехать домой,— сказал секретарь волисполкома Кузьме.— Нет денег? Я тебе дам!

Он был полон понятной в его положении гордостью: выследить такого преступника! Ведь это поважнее, чем какие-то искатели клада и привидения! Смешно рассказывать такую чепуху здесь, в столице! Что скажут товарищи? Нет, он искал атамана Скибу и нашел его.

— Ты помалкивай там, в деревне!— строго сказал он Кузьме.— Скажешь в совете: приедет и сам объяснит.

Кузьма отправился на вокзал. Среди очередей он нашел Ивана.

— Кузьма! Как ты сюда?

— Заарестовали! А вот *того* мы словили,— поспешил он похвастаться, несмотря на предупреждение начальства.

— Словили?

— Дела-то! Только ты помалкивай, Ванька!

— Ну ладно, рассказывай, рассказывай...

В Шокорове, куда Кузьма добрался только к вечеру, разговоры о привидении и о кладах прекратились: в парке было спокойно, в старом доме никто не ходил, и бабы уверяли, что «господа» уж уехали, и как на подтверждение этого факта указывали на непостижимое и внезапное исчезновение Ариадны.

Но отъезд Ариадны не мог дать повода к особенно продолжительным разговорам: кто же мешал ей куда-либо поехать, и никто не помешает ей опять вернуться к своему брошенному на произвол судьбы хозяйству.

Но замечательно не это — замечательно то, что всякий интерес к подобному рода разговорам как-то вдруг пропал, и пропал настолько, что Кузьму никто и не расспрашивал ни о чем, а его хвостовских уверений, что они-де с Митькой в городе самого черта поймали, никто не слушал, так что Кузьма даже напился пьяным с горя и чуть-чуть опять не попал в холодную.



Таинственное «говорят» исчезло, в силу своих непонятных нам законов, так же быстро, как быстро оно и появилось.

Больших трудов стоило Ивану добраться до смысла того рассказа, которым угостил его Кузьма, но, сопоставив с этим рассказом ряд фактов, ранее ему известных, Иван сообразил, что арестовано именно то лицо, которое он видел у старика Вахрушина. Что это за человек? Не сговорился ли с ним старик прежде, чем с Иваном, и не поделили ли они меж собой клад, часть которого должна была достаться Ивану за оказанное содействие?

Но старику ничего еще не было известно. Он как дважды два доказал, что Василий никакого отношения к поискам клада иметь не мог, арест же произвел на старика тяжелое впечатление.

— Нельзя ли как выручить?

— А мне что?— грубо ответил Иван. Ему нечего было больше делить с Петром Вахрушиным.— А что, он не родственник вам?..

Старику любознательность не понравилась.

— А тебе что?

На этом их разговоры были закончены. Старик нашел возможность обойтись без помощи Ивана.

— У меня есть... Коммунист. Служил в нашей фирме незадолго до национализации. Как его? Плотников... Да, Плотников...

Утром на следующий день стены дома на Кривом переулке были свидетелями давно не виданного зрелища: хозяин этого дома собирался в непривычное для него место, но притом такое, куда нельзя было явиться в обыкновенном костюме, говорящем о той нищете, в какую впал бывший владелец одной из крупнейших торговых фирм. Начисто выбритый, в новом, уцелевшем до сих пор костюме, гордый старик привычно взбирался по лестнице того дома, куда ходил ежедневно когда-то, и так же, как раньше, не ответил на низкие поклоны оставшегося от старого времени швейцара, так же привычно, подняв голову, не глядя ни на кого, но видя всех, проходил он мимо барышень, стучащих машинками, мимо углубленных в книги счетоводов.

— Вахрушин... Вахрушин...— прошелестело по зале. Все подняли головы, рассматривая старика. Было на памяти: его отказ от подчинения распоряжениям комиссара, его грубые ответы — что, собственно, и послужило причиной его полнейшего обнищания. Другие умели приспособиться, другие живут не хуже прежнего.

— Зачем он пришел?

Товарищ Плотников неуверенно привстал, подал старику руку.

— Ваш племянник? Вот как!— удивился товарищ Плотников.— А вы знали, что он присвоил себе...

— Нет, нет, лучше не хлопочите... Я вам могу посодействовать в устройстве свидания, но не советую хлопотать. Вам может быть хуже... Позвольте — нельзя ли получить от вас маленькую справочку... Компания «Джемс Уайт»...

Старик уходит. Опять любопытные взгляды... опять шепот... Но кто это идет навстречу? Василий? Он... Но как же тогда?... Нет, это не Василий...

Николай!

Старика с ног до головы оглядели равнодушные невидящие глаза.

— Вы ошибаетесь,— ответили ему по-английски.

Это мистер Бридж, представитель фирмы «Джемс Уайт Компани лимитед».

### 13. Вместо эпилога

— Сейчас едем,— сказал товарищ Плотников, неуклюже поворачивая голову в сторону мистера Бриджа.

Товарищ Плотников натягивал кожаные перчатки и кожаную тужурку.

— Я за шофера,— объяснил он.— Мне самому любопытно посмотреть...

Взвесил на руке револьвер и спрятал в карман.

— Привычка, не могу иначе... Идемте, мистер...

— ...Бридж,— напомнил переводчик.

— ... мистер Бридж... Не могу запомнить,— и добродушно улыбнулся.

На улице ждал новый блестящий «бенц». Товарищ Плотников сел у руля. «Бенц» бесшумно пошел по мягкому асфальту. Мистер Бридж плотно прижался к подушкам, и быстро сменялись перед ним сплошные ряды наполовину пустых магазинов сплошными рядами невысоких деревянных домов, редкими затем трехконными домиками, деревянными постройками неизвестного назначения, закопченными трубами фабричных корпусов, стоящих в стороне от дороги.

Скрестившиеся железные пути, мосты над водой и над путями. Буграстые пустыри, овраги, зеленеющие огороды. Бабы в пестрых платках, мужики, плетущиеся за плугом. Ребятишки подбрасывают камни под колеса авто.

— Цыц, паршивые!

Проселок, мягкая пыль. Колокольня. Река с крутыми изъезженными берегами. Болота. Легкий кустарник. Лес.

Внезапный спуск — и за ним: мох, осока, черные сосновые стволы. Серые сухие облака. Безотрадное карканье галок.

«Бенц» остановился. Товарищ Плотников встал, хлопнул рукавицей о рукавицу, осмотрелся.

— А мы не заблудились?

Но никто лучше его не мог знать дороги.

Опять зашуршали шины по песку. Направо, налево, впереди — пустырь без конца, черные сосны, березы и сухая трава. Почерневшие остатки строений, а дальше — опять пустырь. Безотрадное карканье галок и низко нависшие сухие облака.

Губы товарища Плотникова кривились чуть заметной усмешкой. «Бенц» свернул с дороги и пролетел в пустырь. Затормозил на неубранном хворосте и остановился.

Товарищ Плотников повернул к мистеру Бриджу широкое улыбающееся лицо и сказал:

— Украли!

Потом успокоительно и бодро:

— Н-ничего!

Мистер Бридж молчал, и ни один мускул не дрогнул на его хорошо тренированном лице.

И снова пошли: поля, перелески, луговины, ребятишки и бабы, и плетущиеся за плугом мужики. Чем-то знакомым пахло на мистера Бриджа: колокольня. Церковь с белой оградой, кладбище. Крыша барского дома.

Мистер Бридж мог увидеть: распоясанный босой мужик стоит посреди дороги, любуясь автомобилем. Кто может ехать в автомобиле? Губы привычно шепчут:

— Комиссары... Небось по налогу...

Но вот глаза его раскрываются страхом, он шепчет:

— Свят, свят, свят...

И пятится, растопырив руки.

Видел ли его мистер Бридж? Вряд ли. «Бенц» так быстро промчался мимо деревни.

— Может быть, неправильный адрес?— сказал управдел.— Все может случиться...

— Кто ликвидировал завод?— спрашивает товарищ Плотников, не обращая внимания на слова управдела, и на его губах нет добродушной улыбки.

— Я посмотрю... Бройде... Яков Семенович Бройде...

Вечером в квартиру Якова Семеновича звонили. Звонили настойчиво, властно. На звонок вышла полная декоративная дама и через цепочку спросила:

— Бройде? И я не знаю никакого Бройде...

В купе вагона международного общества из России в Англию едет представитель торгового дома «Джемс Уайт Компани лимитед» мистер Роберт Бридж.

На нем тот же широкий клетчатый сюртук, та же шляпа, так же курит он набитую необыкновенной крепости кепстенем трубку. Вот он снимает шляпу...

Но разве это мистер Бридж? Что случилось с почтеннейшим представителем почтеннейшей фирмы? Нет, это не мистер Бридж. Вот он провел рукой по вспотевшему лбу. Вяло опущенные губы. Подозрительный, бегающий взгляд.

Сумасшествие, мистер Бридж, сумасшествие...

Стук в купе. Плечи мистера Бриджа вздрагивают. Голова уходит в плечи. Мистер Бридж крадется к двери и полуоткрывает ее:

— Ариадна, это ты?— говорит он на чистом русском языке.— Я думал, ты не придешь...

Станция проходит за станцией. Вот серый полусгнивший помост. Доска с указательным перстом и надписью:

*Кипяток...*

Сонный носильщик. Молодой человек идет по путям с чемоданом...

Мистер Бридж закрывает окно и задергивает занавеску.



# Поручик Журавлев

Повесть с лирическими отступлениями



## Начало

Летом тысяча девятьсот двадцать первого года в одной из южных газет довелось мне прочесть сообщение о смерти поручика Журавлева, и с той поры неоднократно пытался я описать историю его жизни, от ранних лет юности до безвременной гибели, и только повседневные заботы отвлекали меня от выполнения этой задачи.

Однажды совсем было взялся я за перо и уже вывел на листе заголовок, как неожиданный стук в дверь (а читателю известно, что ни в повестях, ни в романах не стучат в дверь без какого-либо, со стороны автора, тайного умысла)— неожиданный стук в дверь заставил меня оторваться от работы.

Как и следовало ожидать, в комнату вошел незнакомый господин, вежливо поклонился и не менее вежливо сказал:

— Кажется, я помешал вам?

Я был, как полагается, в недоумении, но врожденная деликатность не позволила мне спросить о причинах его неожиданного вторжения — вместо этого я сказал:

— Садитесь, пожалуйста!

Как сейчас вижу: сидим мы вдвоем — я у стола, он неподалеку от меня, и передо мною лежит лист бумаги с надписью: *поручик Журавлев*.

Так просидели мы ровно пятнадцать минут. Потом он заглянул в рукопись и сказал:

— Вы, по-видимому, близко знали поручика?

— Да, очень...

Тогда незнакомец быстро проговорил:

— Я тоже... Знаете, мне иногда кажется, что Журавлев и я — одно и то же лицо...

Я почувствовал легкий озноб, но, не выдав волнения, взглянул в лицо незнакомцу. Несомненно, я принял бы его за покойного поручика, если бы сам я...

Но об этом после. Незнакомец, как и полагается подобным, чересчур уж вводным, персонажам, тотчас исчез, но несомненное наличие несчастного поручика в живых расстраивало все мои планы.

И вот только теперь, через год, не без некоторой, впрочем, боязни — я начинаю:

### ПОРУЧИК ЖУРАВЛЕВ

#### Повесть

Самое трудное в повести это — начало. Где то событие, от которого ведет счет своим дням поручик Журавлев?

Разве это рождение? И если так, то родился он совсем недав-

но, и когда впервые увидел он мир, было ему, может быть, двадцать пять человеческих лет. А может быть, это было двумя годами раньше, в сырой осенний вечер, когда впервые открыла перед ним жизнь неизведанность своих вольных, своих просторных дорог и сказала: «выбирай!»

Это было в полночь. Год, месяц, число? Не знаю. Но это было как раз в полночь, и ветер, надрываясь, плясал за окном, а в комнате была лампа с зеленым абажуром.

И все-таки это не начало, ибо скрыто начало от человека и не имеет конца скорбная повесть его.

И поэтому

## первая глава

нашей повести начнется с того момента, когда стал Журавлев офицером, и даже больше, когда он стал поручиком и никто не называл его иначе, как именно *поручик Журавлев*.

Поручик Журавлев появился на свет в мае месяце. В старых повестях описывают обыкновенно радость как самого новорожденного, так и его родных и знакомых, описывают тосты, речи и закуски — но сей необычный день был отмечен разве что бутылкой плохого пива и притом на вокзале, в ожидании поезда, — да и это не совсем так, ибо подобным же образом отмечались иные, менее важные дни как в жизни самого Журавлева, так и в жизни иных, менее важных для нашей, конечно, повести, людей.

Выпив бутылку вышеупомянутого пива, поручик занялся рассматриванием левого своего сапога с тем глубокомысленным видом, какого требует это занятие; и было на что посмотреть, так как сапог был действительно великолепный!

Еще в бытность Журавлева юнкером был он сшит у лучшего из питерских сапожников, и с ним вместе сшит был другой точно такой же сапог, и сшиты были оба сапога на славу.

Здесь, чтобы не забыть, отмечу, что в семнадцатом году, когда снял Журавлев шашку и шпоры и подарил и то и другое за ненадобностью солдату своей роты, младшему унтер-офицеру Иванову, избранному тогда же, взамен Журавлева, ротным командиром, — и в то время сапоги еще оставались у него и служили верой и правдой некоторое, хотя и недолгое, время.

Мы слишком презрительно относились до сих пор к вещам, но, тем не менее, ничего нет на свете, что бы тесно так не было привязано к человеку!

Лучший друг донесет на тебя в чека, обвиняя в спекуляции сахарином, жена убежит с молодцом в кожаной тужурке, мать умрет, оставив тебя сиротой на пустом и холодном свете, — и только твои сшитые у хорошего сапожни-



ка сапоги живут до тех пор, пока сам ты не выбросишь их в мусорную яму!

И даже больше: они могут в трудную минуту, когда все друзья и знакомые забудут имя твое и отчество, некоторое время кормить тебя, так как любой старьевщик, привесив товар на руке, отсыплет за них столько бумажных рублей, сколько они в данный момент, по добротности, заслуживают.

Последнее и произошло как раз с сапогами поручика Журавлева. Оставшись без средств и без дела, когда отставили его от должности сторожа одного из петербургских домов, вынес поручик на базар эти свои сапоги.

Двести рублей по тем временам — деньги немалые — можно было на двести рублей безбедно прожить и неделю и две, только поручик поступил иначе: простояв сколько надо в очереди за пропуском и еще столько же — за билетом, покинул он негостеприимные стены уже начинавшего пустеть Петербурга.

Дорога! Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове «дорога»! Так сказал Гоголь, и не моему скромному перу сравниться с пером великого поэта! Разве смогу я достойно изобразить и битком набитую платформу, и схватки у дверей и площадок, и те тюки и мешки, которыми завалили нашего героя!

Чего тут не было! И кровать, и перина, и железом кованный сундук, и мешки с разным тряпьем, и швейная машина, и даже ты, медный широкоскулый самовар, — словом, все то, что не вместились из пожитков безработного в законную его десятипудовую норму. И разве смогу я достойно подсчитать, сколько было народу в этом вагоне! И уже ничто несравнимо с теми стоянками, во время которых выглядывал безработный в окно и говорил:

— Никак опять разъезд!

Но это не был разъезд, так как на двухколейном пути разъездов не полагается!

А эти люди в винтовках и револьверах, что на каждой станции влезали в вагон, и горе несчастного безработного, что на каждой станции развязывал и связывал вновь бесчисленные свои тюки и мешки, дабы, подвергшись тщательному осмотру, потеряли они в весе ровно столько, на сколько уменьшался груз, наваленный на Журавлева.

Я уже не говорю о том, что приходилось означенному безработному на каждой станции снимать сапоги, ибо и в сапогах провозили тогда спекуляцию, тем более, что у поручика сапог не было, а был один лишь документ, да и тот за дорогу порядочно поистрепался.

И вот, когда, может быть, в сотый раз выглянул безработный в окно и сказал, может быть, в сотый раз:

— Никак опять разезд!—

оказалось, что почти пятьсот верст отделяют Журавлева от Петербурга, и увидел он себя на пустой забытой платформе близ того места, где провел он лучшие, как говорится, дни своей жизни.

Но тут кончается первая глава нашей повести и начинается

## вторая глава

Когда-то немецкий писатель Гете прислал нашему соотечественнику Пушкину собственное свое перо. Я полагаю, что при тогдашнем состоянии техники перо это вряд ли было лучше тех перьев, которыми пишут в канцелярии \*\*-ского совета!

Но помощник Журавлева по части переписки бумаг, несмотря на это, так мазал и выводил такие каракули, какие и сам упомянутый Гете вряд ли мог разобрать, ссылаясь на то, что перо, мол, плохое. В таких случаях поручик, с возмущением заявив, что перо отличное, давал каждый раз новое, предварительно убедившись в совершенной его доброкачественности —

нет, и это перо опять никуда не годилось!

Пришлось прибегнуть к начальству — но председатель исполкома и слушать не захотел.

— Ты,— он всем говорил ты,— с него много не требуй, как он совсем малограмотный!

Оказался этот конторщик родным сыном самого председателя.

Стал тогда поручик сам переписывать бумаги, предоставив помощнику своему подметанье полов, разноску пакетов и точный, между делом, статистический учет ворон, которых развелось тогда видимо-невидимо, так что вопрос о продовольственном снабжении этой, в буквальном смысле слова, *оравы* обсуждался, и очень горячо, каждый вечер на их вороньих митингах.

И действительно — с продовольствием обстояло из рук вон плохо. Посланный в Воронихинскую волость отряд был обезоружен мужиками, а потом отправлен обратно с позором, и что хуже — без хлеба. На дальнейших событиях факт этот отразился весьма прискорбно, но об этом мне, как биографу Журавлева, можно и промолчать.

Надо, впрочем, заметить, что теперь Журавлева никто не называл поручиком, и от бывшего когда-то блестящего мундира остались у него гимнастерка и шинель, которые мечтал он заменить партикулярным платьем, но этим мечтам не суждено было в скорости сбыться, как не суждено сбываться и всем мечтам, коим подвержены люди одного с Журавлевым возраста.

О, мечты, мечты! Иной мнит себя в этих мечтах государственным мужем, под сению власти которого благоденствуют народы, а кончает тем, что, будучи где-нибудь в захолустном горо-

дишке назначен на пост комиссара здравоохранения, издает приказ о вывозе всех нечистот и штрафует на сто рублей собственника месяца два тому национализированного владения, владения, действительно засиженного мухами и людьми до полного несоответствия правилам гигиены.

Иной мнит себя полководцем, покоряющим мир, а кончает тем, что в рваной шинели сквозь леса и кусты пробирается в незнакомый ему город, чтобы там, не без помощи дельных людей переменяв имя и звание, занять пост смотрителя склада или каптенармуса, а потом, продав пары две казенных сапог, заливать самогонкой разбитую жизнь где-нибудь в подпольном шинке в компании воров и дезертиров.

Мечты, мечты — если сбывается вы, то немножко не так, как рисуется это юному воображению!

Этим я не хочу сказать, что поручик Журавлев был замешан в Воронихинском восстании. Только случайностью можно объяснить, что после разгрома совета восставшими мужиками один Журавлев уцелел на прежней должности, оставаясь, правда, чисто техническим работником, на обязанности которого лежала переписка потребных для новых правителей бумаг. И даже больше — он не принял ни малейшего участия в довольно-таки слабом сопротивлении, которое оказала местная красноармейская команда, перешедшая было на сторону повстанцев. И хотя весьма тщательное расследование тоже не установило никаких следов участия поручика в этом деле — тем не менее был он уволен со службы.

Производивший следствие комиссар только спросил его:

— Вы бывший офицер?

— Да.

— Поручик?

— Да.

И в тот же день уволил Журавлева, даже без уплаты законного в то время месячного вознаграждения.

Дальнейшая жизнь поручика связана была с получением этого вознаграждения, о котором хлопотал он по всем инстанциям, поднимая по всем инстанциям крик и грозя при случае декретами. Конечно, он добился своего, но полученных денег хватило разве на то, чтобы, съездив в местность, расположенную неподалеку от хутора Михайловского, привезти оттуда десять фунтов сахара и затем, продав эти десять фунтов, съездить еще раз и привезти уже пятнадцать.

О службе приходилось бы жалеть только ввиду утраты известного общественного положения, но у поручика запасено было немалое количество бланков с круглой советской печатью, которые доставляли ему потребное для каждого случая общественное положение, вплоть до положения начальника красноармей-

ской команды, везущего продовольствие для вверенной ему части.

Кто же не знает чудодейственной силы бумажки с советской печатью? Владелец ее обладает так и не найденным в древности камнем, обращающим всякое зло в несомненное благополучие, бумажки, при помощи которой тесный вагон превращается в купе вагона особого назначения, строго преследуемая спекуляция — в советский груз, а самый обыкновенный человек — в делегата.

О, для такого особенного человека существуют особенные поезда, и особенные номера, и особенные столовые, словом, все то, что только нужно этому особенному человеку!

И даже больше — можно с этой бумажкой, выехав верст за семьсот от родного города, где уже уличили тебя в спекуляции, и приехав в местность, где никакая собака не знает еще, что есть ты *тот самый* поручик Журавлев, занять пост комиссара по военным делам и уже не в уездном, а в губернском масштабе, и в тот момент, когда начинается

### третья глава

быть уже комендантом этого города.

Я не буду останавливаться на деятельности поручика как коменданта, скажу только, что его необыкновенная энергия позволила эвакуировать продовольственный склад и разное военное имущество и эта же необыкновенная энергия не позволила ему сесть в последний эшелон, как писали потом в белых газетах, «нагруженный комиссарами и их комиссарским имуществом».

Журавлев остался на перроне, занятый разбором какого-то очень важного дела, а когда освободился, то ни поезда, ни даже свободного паровоза на станции не осталось, а в город уже входили казаки.

Здесь уместно со стороны читателя спросить: кто же такой этот ваш Журавлев — коммунист? контрреволюционер? Но на этот вопрос не будем давать ответа, не желая ни в чем упреждать развертывающихся событий.

А события в те времена развертывались с поразительной быстротой, так что самому бойкому фельетонисту нельзя было за этими событиями угнаться, тем более медленному биографу поручика Журавлева, с такой быстротой, что сегодняшний коммунист и революционер завтра становился сотрудником контрразведки, а послезавтра, завершив в непродолжительное время весь свой жизненный круг, находил вечное успокоение где-нибудь на опушке леса. И опять, я говорю это вовсе не с целью чем-либо опорочить избранного мною героя, тем более что мнение некоторых о виновности поручика в аресте и расстреле восемнадцати коммунистов, оставшихся в городе для подполь-

ной работы, основывается исключительно на непроверенных слухах.

И если бы можно было верить всем этим слухам, то оказалось бы, что какой-то арестованный белыми комиссар неожиданно был выпущен из тюрьмы и получил какое-то, правда, очень скромное назначение, в каком-то, правда, не особенно скромном, учреждении и что этот незначительный факт стоит в связи с громким процессом «восемнадцати», так трагически кончившимся.

Я не буду отрицать, что был такой комиссар, — только какое до него дело поручику Журавлеву? Тем не менее был Журавлев арестован на другой же день по прибытии большевиков, и только счастливая случайность сохранила ему жизнь. Одни говорят, что он просто бежал из чека, другие — что он был освобожден благодаря заступничеству «красного генерала» Иванова и отправлен на фронт, — только все это не более как легенды.

Никакого «красного генерала» Иванова не было и быть не могло, а был батальонный командир Иванов, тот самый младший унтер-офицер Иванов, которому перешли от поручика шашка и шпоры, и вовсе не в том городе, где был Журавлев комендантом, а в другом, где жил и работал в совнархозе мещанин города Ряжска Попов, — и вот в этом, четвертом по счету городе встретил младший унтер-офицер Иванов мещанина Попова, служившего в совнархозе как специалист по мыловаренному делу, и, встретив, узнал в этом специалисте бывшего своего ротного командира поручика Журавлева.

Читатель, ты, который с самого начала следишь за развертыванием нашей повести, скажи мне, что должен почувствовать ты, кроме сознания необычайной тесноты земного шара, встретив на улице младшего унтер-офицера Иванова?

Было их, Ивановых, — не счесть, что морского песку было их, Ивановых, ты не знал ни имен их, ни лиц, но все они знали имя твое, и лицо, и даже голос, уважаемый мой читатель!

И пусть не сделал ты означенному Иванову никакого зла, кроме как подарил, за ненадобностью, шашку свою и шпоры — все равно он навеки запомнит тебя и, встретив тебя где-нибудь в четвертом по счету городе, когда ты — мещанин Попов — идешь в совнархоз как специалист по мыловаренному делу, неминуемо узнает в тебе бывшего поручика Журавлева.

Тогда призовут тебя в соответствующее учреждение и спросят:

— Вы бывший офицер?

— Да.

— Поручик?

— Да.

И отправят в тот же день на фронт, и то лишь благодаря заступничеству батальонного командира Иванова!

Все это я говорю к тому, что судьба поручика, как нельзя больше, соответствовала указанным предположениям вплоть до неупомянутой выше, но тем не менее подразумеваемой теплушки одного издвигающихся против Деникина эшелонов.

Теплушка! Знаете ли вы, что такое теплушка? И если вы не лежали вниз животом на украденных в пути досках, служивших одновременно и столом, и сиденьем, и кроватью, если из этих же самых досок не разводили огня, за неимением печки, прямо на полу вагона и если вы не бегали потом на каждой остановке за куском годного щита или за поленом, которые надо было стащить у станционного сторожа с опасностью для жизни этого самого, конечно, сторожа, и если, наконец, со страхом и трепетом не открывали вы, что ваше собственное белье служит прибежищем для целого лагеря популярнейших насекомых,— если вы не знаете всего этого, вы, читатель, не знаете, что такое теплушка!

И, не зная, что такое теплушка, вы не сможете вообразить вагона третьего класса, тем более что поручик Журавлев ехал с фронта в командировку на две недели даже не в третьем, а во втором классе, и притом с мягкими диванами!

И после этого неудивительно, что двухнедельный срок давным-давно прошел, а поручик в полк не возвращался, а потом и при всем желании не мог вернуться, ибо военное счастье, как и судьба человека, переменчиво.

Отхлынула красная волна и оставила нашего героя в пятом по счету пункте его кратковременных остановок на произвол новой, теперь уже белой, волны. Так морская волна, унося легкие щепки, оставляет тяжелые камни на берегу, и лежат эти камни до новой волны, чтобы та, только омыв их, снова и снова оставила на том же самом месте.

#### четвертая глава

застает поручика в тот момент, когда он, оправившись от болезни, проходит по улице и видит приказ о немедленной, под угрозой расстрела, явке всех офицеров, явке, от которой только болезнь или, пожалуй, скоропостижная смерть может избавить человека. Но этот приказ вызвал в душе мещанина города Ряжска Попова довольно-таки злорадное чувство.

Где ты, младший унтер-офицер Иванов? Твоя судьба зло подшутила над тобой, Иванов! Вместо ордена Красного Знамени заслужил ты глубокую рану на левом плече — подарок золотопогонного белогвардейца! Не под музыку при речах хоронили тебя, стало, может быть, тело твое добычей собак, и белеют где-нибудь до сих пор твои кости...

Спи с миром, честный борец за освобождение трудящихся!

Или, может быть, ты еще жив и где-нибудь под Орлом защищаешь Москву — все равно не пройти тебе городом, заклеенным сплошь плакатами «единой и неделимой», и, встретив на улице мещанина Попова, не признать тебе в нем бывшего своего ротного командира поручика Журавлева!

Да, действительно, был такой — Журавлев, и, может быть, должен был Журавлев явиться под угрозой расстрела — что до того мещанину Попову? Он приехал из Рязьска навестить больного, при смерти, дядю, заболел и, не имея возможности выехать в Рязьск, живет на окраине города, и в рваной шинели он продает арбузы и кричит по-московски:

— Эй, бузэ, бузэ!..

и кому на всем свете есть дело до продавца арбузов Попова?

— Эй, бузэ, бузэ!..— кричит он, и кому придет в голову странная мысль, что он подлежит регистрации как бывший офицер и поручик!

— Эй, бузэ, бузэ! Пожалуйста, господин, самые сладкие!

Останавливается проходящий офицер, смотрит во все глаза на продавца арбузов Попова:

— Журавлев!

— Извините...

— А не помнишь, как в юнкерском?

Мещанин Попов ничего не помнит. Он продает великолепный товар.

— Так не возьмете, господин поручик?..

— Брось, Журавлев, заходи ко мне — чего ты боишься!

И в эту же ночь, в непроглядную южную ночь, когда сквозь закрытые ставни не доносятся стоны и крики ограбленной бандитами жертвы, в эту ночь, глубоко задумавшись над судьбою своей, сидел поручик, и вся вспоминалась ему недолгая жизнь...

Жизнь! Как неумны твои шутки, как плоски отпускаемые тобою остроты — что есть поручик Журавлев в существе своем, и какая судьба ожидала его на других поприщах? Может быть, сейчас где-нибудь являл бы он правосудие, надев судейскую цепь, может быть, где-нибудь в уездном городке отмечал бы он исходящие дни своей жизни —

но вот безо всякой вины он наряжен в блестящий мундир, приросший не к телу — к душе, и стоит снять его на минуту — как снова и снова мелькают три звездочки на серебряных погонах! И, видно, напрасно зашил он документы под подкладку старой шинели и напрасно присвоил себе имя Попова, когда он опять офицер и опять состоит на службе и притом в штабе полковника Баранова!

Поручик Журавлев хлопочет о сапогах и шинелях, поручик

Журавлев получает продукты, поручик Журавлев спрашивает полковника Баранова:

— А когда же нам пришлют людей?

И полковник Баранов отвечает:

— Люди — дело последнее!

О, как говорится, люди, люди! Это вы переполняете вокзалы, поезда, теплушки, вагоны третьего и даже вагоны второго класса, это вы с севера на юг и с юга на север перевозите мешки и заразу, это вы подставляете грудь под пули и идете на смерть за свое, за чужое ли дело, это вы продаете казенное обмундирование, это вы, наконец, уничтожаете хлеб, так что ни в одном полку добровольческой армии нет теперь хлеба, кроме как в штабе полковника Баранова!

И есть еще в штабе полковника Баранова сапоги и белье и иное никем не проданное имущество, потому что там нет вас; о, как говорится, люди, люди!

Но этим я вовсе не хочу сказать, что поручик Журавлев совместно с полковником Барановым, продавая получаемое имущество, проводят ночи и дни в доме артиста за зеленым столом или в ином каком доме, но уже без особого наименования, разъезжают в автомобилях красного и белого креста и в автомобилях общего пользования, в сопровождении дам и тоже общего пользования, и сыпят деньгами направо-налево, заливая шампанским тоску неудавшейся жизни.

Все это клевета и клевета злостная!

Всюду настагает нас клевета. Ты приехал из Рязска навещать больного, при смерти, дядю и остался, жертва гражданской войны, поджидать, когда откроется путь к вожделенному городу Рязску, а про тебя говорят, что ты был сподвижником знаменитого полковника Баранова, что ты до последней минуты защищался от красных и сдался в плен только где-то на границе с Румынией, что три раза пытались записать имя твое и чин и три раза не записали, и что сумел ты уйти на прогулку и с прогулки не возвратиться!

Вот что говорят про тебя! И еще, может быть, говорят, что ты служил в контрразведке, что ты — белогвардеец, дезертир, бывший поручик,—

когда ты, мой любезный читатель, скромный народный учитель и отрастил себе бороду, так что тебя и узнать нельзя, ты учишь ребят в деревенской школе и обедаешь с мужиками, переходя из избы в избу, наравне с пастухом, с тою лишь разницей, что пастух заходит с правой избы, когда ты начинаешь с левой, и что стараются пастуху положить лучший кусок мяса и сала, а тебе норовят налить щей пустых, без мяса и без сала!

Но и вы, деревенские пустые щи, и ты, скромная доля народного учителя,— что значите вы по сравнению с родиной!



Родина! Как назову я то полное грусти и радости замирание сердца, когда бородатый, постаревший на двадцать лет и уже не только без сапог, но и без шинели, украденной где-то в пути вместе с зашитыми под подкладку документами, когда ты, потеряв в скитаниях своих не только шинель, но уже навсегда имя свое и честь,— вновь прикоснешься к ее любимой, пахнущей молоком и навозом груди!

Что значит с мандатом и без мандата, с пропуском и без пропуска, с посадками, пересадками и высадками, на пароходе, в теплушке, в вагоне третьего и даже в вагоне второго класса, подвергаясь тысяче тысяч опасностей, добраться до тебя, посмотреть на твои ржаные поля сквозь щелку вагона, спрятавшись в угол, и ехать дальше и дальше, мимо и мимо, чтоб никто из твоих земляков во время краткой стоянки не признал в тебе бывшего поручика Журавлева!

### пятая глава

Когда-то любили еженедельные наши журналы опрашивать и артистов, и борцов, и эмира бухарского, и тебя, двуногий человек, показывающий в цирке это свое уродство,— о том, какой день считают они самым счастливым.

И если бы был гражданин Попов эмиром бухарским или борцом, или тобой, замечательный двуногий человек, он бы ответил:

— Тот день, когда я получил прозодежду!

Какими словами после стольких исписанных мною страниц опишу я костюм и пальто, сшитые в мастерской номер два и потому называемые английскими? Какими словами опишу я вас, носящих в совокупности именование прозодежды!

Прозодежда! Стоит из-за тебя послужить почти год в качестве спеца — педагога, кондитера, статистика и мыловара, стоит из-за тебя с совещания бежать на заседание, написать сотни докладов — об электрификации ли народного образования, о наилучших ли формах и карточках для поднятия производительности рабочих кондитерского дела!

Весь этот труд можно поднять для тебя, чтобы затем, с удостоверением от наркомпроса, домкома, совнархоза и главхозупра, придя в соцобез, получить ордер, по ордеру талон, по талону купон, по купону квитанцию, по квитанции номер, а по номеру — тебя, прозодежда!

И в сырой осенний вечер, возвращаясь с тяжелым пайком за спиной, не вспомнить рваной полувоенной одежды мешочника, проехавшего сотни верст с мешком муки за плечами, красноармейца с польского фронта из пинских болот, дезертира, спустившего где-то шинель, и бывшего, наконец, поручика Журавлева!

Гражданин Попов, имеющий учетную карточку и трудовую

книжку, только одной прозодежды не хватало тебе — и вот она есть!

Ты приходишь домой, закипает чай на старых докладах и брошюрах, зажигается лампа с теплым зеленым абажуром — можно сидеть и мечтать, и заснуть в этих мечтах, и увидеть во сне, как он, гражданин Попов, при шпорах и шашке, идет на ученье и тычет пальцем в него младший унтер-офицер Иванов:

— Я тебя знаю!

— Эй, бузэ, бузэ!..— отвечает Попов.— Эй, бузэ, бузэ!— и не может бежать и не может стоять под осенним, сырым, пронизывающим ветром —

и только проснувшись, вспомнить, что нет и нигде нет поручика Журавлева!

Ты думаешь, это он идет по Тверской, растопырив свои галифе, под руку с дамой самого неопределенного наклона?

— Нет, это батальонный командир Иванов — не тот Иванов, что погиб под Орлом, а другой Иванов,— восстанавливает традиции славного некогда полка.

Смело подойди к нему и спроси:

не знает ли он поручика Журавлева?

Проходит еще и еще мимо тебя, гражданин Попов

— сторонись!—

все  
глядят на тебя, но среди тысячи глаз нет и пары враждебных: никто не следит за тобой, никто не бежит в переулок и на пятый этаж, куда прибегаешь ты, еле переводя дух от испуга, чтобы только через полчаса, успокоившись, варить фасоль и советский кофе.

А после всего этого как приятно узнать, что тебя вовсе нет на свете! Вот что прочел гражданин Попов в одной из южных газет летом тысяча девятьсот двадцать первого года:

#### ДЕЛО БЫВШЕГО ПОРУЧИКА ЖУРАВЛЕВА

Вчера в ревтрибунале разбиралось громкое дело шайки бандитов, терроризировавших население в течение шести месяцев, ограбивших, между прочим, артельщика финотдела Ефимова, убивших семью в 11 человек на хуторе Давыдовка и т.д.

Интересно отметить, что главой шайки является бывший поручик Журавлев, почему-то отрекшийся на суде от этого звания, с несомненностью установленной по документам, найденным под подкладкой его шинели.

Б. поручик Журавлев был одно время сподвижником знаменитого полковника Баранова и после разгрома белых банд организовал шайку.

Журавлев и его трое главных сподвижников приговорены к высшей мере наказания.

И дальше — курсивом:

*Приговор приведен в исполнение.*

Пожалел ли гражданин Попов, советский спец Попов, имеющий учетную карточку и трудовую книжку, пожалел ли он о гибели несчастного поручика?

Или, может быть, как и все, не без некоторого злорадства прочел:

*Приведен в исполнение!*

И капли жалости или сочувствия не оказалось в душе при известии о гибели человека, может быть, много обещавшего выполнить в жизни и брошенного на произвол разбушевавшейся стихии!

Жизнь! Как ты темна и слепа! С закрытыми глазами рождается человек, и слепой бродит он по твоим, жизнь, темным дорогам, и слепой отходит он в землю, кто бы он ни был — честный ли гражданин, совработник и спец, и начальник милиции, и сотрудник чека, фальшивомонетчик и вор, белогвардеец и дезертир, и бывший, наконец, поручик Журавлев!

И тогда не все ли равно, какая земля засыплет его уже безымянное тело, поставая над телом этим крест или мавзолей, или только травой зарастет безвестная могила — все равно навсегда прекращаются всякие счеты живущих на свете людей с мертвым поручиком Журавлевым.

КОНЕЦ

Я уже поставил слово *конец*, полагая, что повесть моя, как и жизнь Журавлева, окончена, как тот же самый неожиданный стук в дверь, использованный, кстати, всеми романистами, заставил меня встать и открыть таинственному незнакомцу.

На этот раз он пришел с вполне определенной целью. Тщательно перечитав мою рукопись, — а рукопись эта была много объемистой предлагаемой теперь читателю, — он сказал:

— А я бы написал это несколько иначе!

И если вы, читатель, посетуете, что я, обещав вам повесть с лирическими отступлениями, часто даю только эти лирические отступления, то могу в оправдание свое сказать, что самая повесть вычеркнута незнакомцем.

Правда — я мог бы закончить ее так, как хочу, но и тут встает тот же самый вопрос:

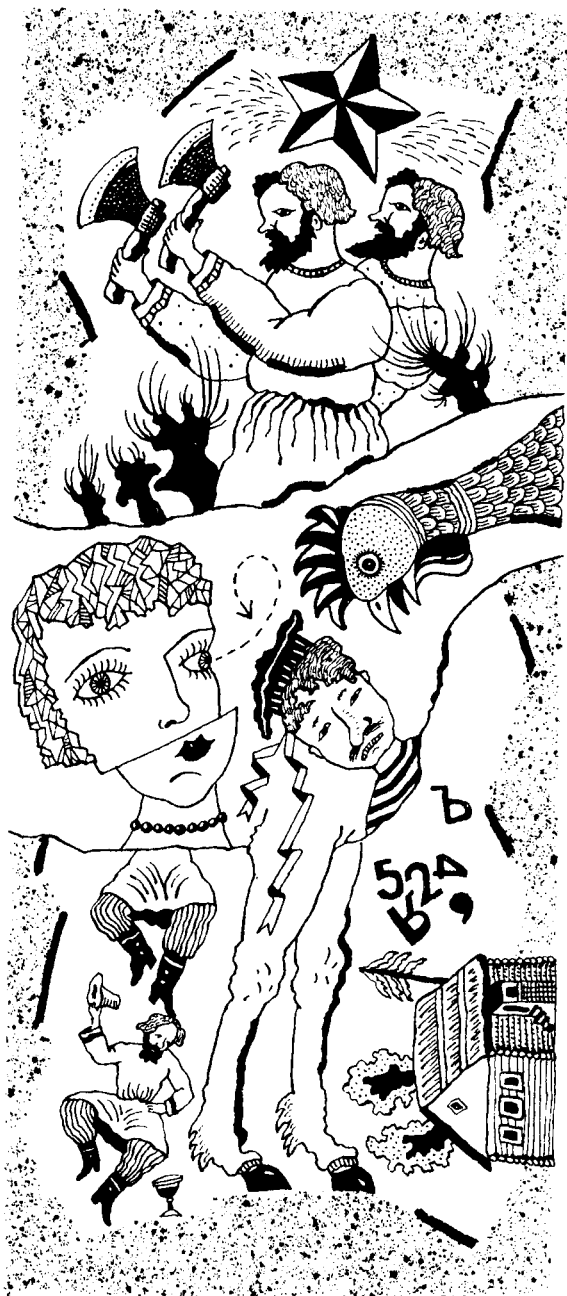
где, собственно, кончается повесть о днях поручика Журавлева? И кончается ли она смертью? Не будет ли он и дальше влачить скорбное свое существование?

Я кончил. Опять закрываю глаза. Вот опять — сырая осенняя ночь, и книга, и лампа с зеленым абажуром.

И лежат передо мною все пути, что раскинула жизнь, и идет по этим путям младший унтер-офицер Иванов, и видит меня, и говорит:

— Я тебя *знаю!*

## Рассказы



Рассказы



# МОРОЗНЫЕ ДНИ

## 1

Зима затянулась на март. Несмотря на длинные, по-весеннему, дни, скрипел снег, инеем пушились деревья. В теплый кабинет управдела одного из необычайно звучащих учреждений товарища Лисицина вошел замзав и, пропустив вперед что-то белое, хрустящее и легкое, сказал:

— Вот ваша новая машинистка.

Управдел прикоснулся к мерзлой руке барышни.

— Очень рад.

От нее пахло январским воздухом и тонкими морозными духами.

— Как вас... Ваше имя?

— Марья Ивановна,— ответила барышня, опуская глаза. И, подняв глаза, добавила:

— Но вы можете называть меня Марусей.

Товарищ Лисицин заметил, что у нее голубые, словно подернутые легким инеем, фарфоровые глаза и раскрасневшиеся под морозом щеки.

— Виноват... Так не полагается...

От барышни пахнуло холодом. Остро заныли зубы.

— Как вам угодно,— ответила она, опустив глаза. И опять потянуло холодом, и зубы заныли еще сильнее.

Товарищ Лисицин взялся за работу, но час от часу становилось все холоднее и холоднее. Пальцы заоченели.

— Вы не озябли?— спросил он.

— Благодарю вас. Мне тепло,— ответила барышня.

«Срочно... Просьба немедленно рассмотреть...»— писал управдел, но пальцы отказывались работать. Они покраснели и не разгибались. Он подошел к печке, согрел пальцы, но по спине время от времени пробегал легкий озноб.

— Не простудился ли?

Лисицин вышел в коридор. Там было тепло по-прежнему. В кабинете же стало еще холоднее. Дуло от окна.

Замзав зашел за докладом.

— Да, у вас холодно,— удивился он и позвал швейцара.

— Степан. Надо замазать окно. Почему это до сих пор не сделано?

— Кажись, всю зиму тепло было...

Степан деловито прощупал замазку.

— Ума не приложу...

— Позовите стекольщика,— распорядился замзав.

Товарищу Лисицину становилось все холоднее и холоднее. Сославшись на нездоровье, он ушел двумя часами раньше. Барышня осталась в его кабинете.

Через полчаса в кабинет заглянул замзав и сказал барышне:

— Вы не озябли? Пройдите ко мне.

А в четыре часа, уходя, говорил Степану:

— Послушайте, что у вас с окном? Отчаянно дует.

Степан, подавая шубу:

— Не извольте беспокоиться.

Машинистка в белой шапочке и легком летнем пальто вышла вместе с замзавом.

— Как вы легко одеты, — удивился он.

— Благодарю вас... Мне тепло.

## 2

Лисицин ходил по кабинету и не мог успокоиться. Окна наново замазаны, но дует по-прежнему, а пожалуй — еще сильнее. Ему казалось, что дует из того угла, где сидит новая машинистка.

— Это от нее такой мороз. Надо отослать ее куда-нибудь.

— Марья Ивановна, вы будете работать в общей канцелярии.

Марья Ивановна быстро собрала работу и перешла в соседнюю комнату. Стало немного теплее, но вместе с тем Лисицин почувствовал легкую утрату и пустоту.

Барышню посадили к окну. Она быстро стучала клавишами машинки, изредка поднимая глаза и оглядывая комнату.

В комнате были: седенький старичок с красным носом, непринужденный молодой человек в галифе и две барышни — входящая и исходящая.

Прошло полчаса. Входящая барышня перестала писать и сказала подруге:

— Холодно.

Старичок пошел за шубой. Но ничто не спасало от легкого пронизывающего сквозняка, и всем казалось, что тянет от окна, к которому посадили новую машинистку.

Непринужденный молодой человек подошел к окну, попробовал: не дует ли, и, низко наклонившись к плечу Марьи Ивановны, спросил ее:

— Вы не озябли?

Марья Ивановна подняла глаза:

— Нет.

Молодой человек заметил: под его дыханием волосы новой машинистки седеют от инея. Он сделал большие глаза и таинственно приподнял палец. Потом все — и старичок и обе барышни — долго шептались, искоса поглядывая на новую машинистку.



Молодой человек вызвался рассказать замзаву. Канцелярия не может работать, и если будет так продолжаться...

— Наша новая машинистка,— начал он.

— Что?— перебил замзав.— С такими вещами — к управделу.

Товарищ Лисицин, задумавшись, сидел за столом. Всю ночь ему снились голубые, словно подернутые инеем, фарфоровые глаза и раскрасневшиеся от мороза щеки. Он просыпался, кутался в одеяло — и опять засыпал, и опять видел фарфоровые глаза, но холод, пронизывающий тело, уже не казался неприятным. Утром он торопился на службу. Он уверял себя, что остался завал со вчерашнего дня, но на самом деле ему снова хотелось увидеть те же фарфоровые глаза, которые всю ночь не давали ему покоя, и дышать свежим морозным, пахнущим морожеными яблоками, январским воздухом. За ночь он стал нечувствителен к холоду и шел по улице, распахнув шубу.

Но в кабинете барышни не оказалось.

— Да, я отослал ее в канцелярию...

Хотелось опять позвать ее в кабинет — но он не решался. Изредка только открывал дверь и дышал приятным морозным воздухом соседней комнаты.

Вошел молодой человек.

— Новая машинистка. Понимаете... Мы замерзаем...

— Как вам не стыдно,— ответил Лисицин,— если вам холодно, можете растопить камин.

Молодой человек вернулся в общую канцелярию и сказал:

— Марья Ивановна, перейдите к управделу.

Лисицин и удивился, и обрадовался, когда снова увидел ее в своем кабинете.

В канцелярии растопили камин и по очереди подходили греть руки.

— Чем это объяснить?

— Я думаю,— сказал молодой человек,— что здесь...

Все прислушались.

— ...что здесь мы имеем дело с необъяснимым явлением...

— Да, да, тут не без нечистой силы,— сказал старичок.

— Фи, какая отсталость,— сказали барышни в локонах.

Они собирались записаться в комсомол и поддерживали репутацию перед молодым человеком в галифе.

— Но ведь явление необычное-с.

— Очень просто,— сказала исходящая барышня,— за две недели вперед и фьюить.

И при этом посмотрела на молодого человека. Молодой человек будто не слышал.

— Конечно, сократить,— сказала исходящая барышня и при

этом подумала: она такая интересная,— и посмотрела на молодого человека. Тот опять промолчал.

— Может быть, у нее семья,— сказал Степан,— надо все-таки пожалеть.

— Да и человек ли она?— надумал старичок и сам испугался. Хотел перекреститься, еще больше испугался и, глядя на барышень, потер переносицу.

— А я вот что скажу,— начал молодой человек, и все опять прислушались.

— Надо обратиться к *самому*.

### 3

Лисицин вышел вместе с Марьей Ивановной.

— Нам с вами по пути.

Она опустила глаза. На волосах легкий иней.

— В летнем пальто,— подумал управдел,— тут промерзнешь так, что поневоле от тебя сквозняком тянуть будет.

И, взяв Марью Ивановну под руку, старался согреть ее. Но вместо того чувствовал, как с каждой минутой холод пробирается сквозь его шубу и леденит, леденит острой сверлящей болью.

Весь день он не мог найти себе места. Бродил по улицам — и голубое небо напоминало ему фарфоровые глаза новой машинистки, покрытые инеем деревья — ее поседевшие от мороза волосы.

Ночью снились опять: белый мех, фарфоровые глаза и ледяное рукопожатие.

В десять утра он был в кабинете и с нетерпением ждал. Почувствовав легкий озноб, он улыбнулся, долго держал ее руку в своей, и по мере того, как ее прикосновение леденило кровь, в душу проникала острая и большая радость.

В общей канцелярии необычайно оживление. Никто не принимался за работу. Барышни вертелись около двери в кабинете товарища Лисицина и держали градусник.

— Опускается. Опускается,— кричали они и радостно фыркали. Старичок застыл с раскрытым от изумления ртом, а молодой человек спокойно сидел за столом и производил какие-то вычисления, то и дело справляясь по таблице логарифмов.

К концу служебного дня приехал *сам*. Переговорив с молодым человеком, он вошел к управделу.

— Как здесь холодно,— с удивлением воскликнул он.

— Холодно?— Лисицин не замечал холода: наоборот, он чувствовал во всем теле необычайное горение.

— Вы больны. У вас повышенная температура,— разъяснил *сам* и, посмотрев на термометр, сказал:— Мы ре-

шили устроить здесь холодильник... Я уже докладывал.

Молодой человек протянул бумаги.

— Смета составлена... Понижение за два часа... Громадная экономия.

Сам обратился к Марье Ивановне:

— Поздравляю... Семнадцатый разряд и только на два часа...

Если желаете — комната.

Она опустила глаза и ничего не ответила. Лисицин молчал. Он смотрел на *самого*, на Марью Ивановну, на барышню в локнах и ничего не понимал.

— Что же особенного, — говорил сам, — если она, как вы говорите, — он посмотрел на старичка, — снегурочка, то тем более ей место в холодильнике коммунхоза.

Молодой человек провожал *самого* до двери.

— Так можно надеяться? — шепотом спросил он.

— Конечно, конечно, на место Лисицина.

Барышни в локнах сначала посмотрели на молодого человека с восхищением, потом друг на друга с ненавистью, и обе подумали одна про другую:

— Рожа. И она смеет...

И обе были похожи друг на друга до неразличимости.

Когда голоса удалились, Лисицин подошел к Марье Ивановне.

— Маруся.

Та смотрела на него, улыбалась — хрустящая, легкая. От ее дыхания разливалось кругом невероятное холодное тепло, а волосы и платье покрывались мелкой серебряной пылью.

— Я не отдам. Не отдам, — шептал Лисицин.

Она поцеловала его губы. В ее поцелуе — вкус мороженых яблок, губы обжигали, прилипали и отрывались только с кровью.

День ушел. Крупные хрустящие звезды повисли в синем окне.

Утром в учреждении с необычайно звучащим названием была суматоха. Лисицин найден в своем кабинете с явными признаками смерти от замерзания. На окровавленных губах можно заметить счастливую улыбку.

Марья Ивановна не пришла в этот день и не приходила в следующие.

А на улице настала весна, и падали с крыш первые крупные капли.

**ПОКОСНАЯ ТЯЖБА**  
ЭПОПЕЯ В 4 ЧАСТЯХ  
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

**Пролог**

Когда, и уже окончательно, стало известно, что границы покосов останутся в этом году прежними, между деревнями Козлихой и Лепетихой на Дурундеевской пустоши — пустошь эта некогда принадлежала помещику, господину Дурундееву —

ну, так вот —

на Дурундеевской пустоши неожиданно пропала граница.

Дело было так:

Козлихинские мужики Фома Большой (изба от прогона направо) и Фома Меньшой (изба от прогона налево), выбранные козлихинским обществом в покосную той же деревни Козлихи комиссию, за неделю до Иванова дня пошли посмотреть, хороши ли на Дурундеевской пустоши травы.

Трава, надо сказать, выросла куда выше колен, а уж густота, густота — что те сеянка!

Ну так вот, посмотрели они на траву и сказали:

— Хороша!

Потом пощупали, помяли в руках, опять сказали:

— Хороша!

Посмотрели на солнце, закурили едкой самосадки, прошли по траве шагов пять, еще раз сказали:

— Хороша!

и направились было в Козлиху, как...

Вот как было дело:

Лепетихинский мужик Ефим Ковалев, брат Егора, который — это Егор-то — изобрел такой аппарат, что самогон выходил не хуже, а даже лучше николаевской, такой самогон, что заборовский дьякон, а ныне секретарь лутошанского нарсуда, никакого другого не пьет, а пьет только этот и притом, когда пьет, обязательно каждый раз провозглашает:

*усладительно!*

ну, так вот,

этот самый — не дьякон, и не Егор, а Ефим Ковалев, проходя за неделю до Иванова дня мимо Дурундеевской пустоши, решил посмотреть, хороши ли на Дурундеевской пустоши травы. Посмотрел на траву и сказал:

— Хороша! — потом пощупал, помял в руках...

Надо еще сказать, что Дурундеевская пустошь, как отошла она от барина, господина Дурундеева, делилась по равным долям между козлихинским и лепетихинским обществами, и надо еще сказать, что и в прошлом году де-

лилась она по равным долям и что в прошлом году поставили даже границу. И стояла эта граница от кривой березы на сто шагов в сторону лепетихинского леса, и были по правую руку покосы козлихинские, а по левую руку — покосы лепетихинские.

Так.

И вот этот самый Ефим Ковалев вдруг заметил, что на том месте, где стояла летось граница, растет трава. И выросла эта трава куда выше колен — а уж густота, густота — что те сеянка!

Посмотрел Ефим на траву, закурил самосадки, прошел по траве шагов пять, еще раз сказал:

— Хороша!

но границы и след простыл: будто бы не было!

Несомненно одно, что это козлихинские мужики, и в частности, Фома Большой и Фома Меньшой, которых Ефим Ковалев и узнал по штанам, границу просто-напросто украли...

Да. Прошли это они шагов сто, Фома Меньшой и говорит Фоме Большому:

— Будто бы была здесь граница...

Тогда Фома Большой посмотрел, посмотрел да и говорит Фоме Меньшому:

— Будто бы была здесь граница...

А границы и след простыл, будто бы не было!

Несомненно одно, что это лепетихинские мужики, и в частности Ефим Ковалев, которого Фома Большой узнал по рубашке, эту самую границу просто-напросто украли.

И не будь этого прискорбного события, не пришлось бы мне преподнести нетерпеливому читателю подробное повествование, претендующее разве на последовательность изложения тех происшествий, коих вольным и невольным очевидцем мне довелось быть.

## Первая часть

В тот самый час, когда из-за Поповой горы поднялось над Козлихой пышное солнце и зажгло серебром капли росы на покосах Дурундеевской пустоши, в тот самый час, когда золотом зажгло оно крест на заборовской колокольне, а в самом Лутошанске осветило зеленую крышу лутошанского кооператива —

в этот самый час, надо сказать, из-за лепетихинского леса тоже взойшло солнце.

Вышли тогда из деревни Козлихи: Фома Большой, и Фома

Меньшой, и Никита Петров, и Беберя, и сам Коляной, Кольки Беспалого брат, который — это Колька-то — изобрел такой аппарат, что самогон выходил не хуже, а даже лучше николаевской, такой самогон, что заборовский дьякон, а ныне секретарь лутошанского нарсуда, никакого другого не пьет, а пьет только этот и притом, когда пьет, обязательно каждый раз возглашает:

*усладительно!*

Ну, так вот,

вышли тогда из

Лепетихи: Ефим Ковалев, и Егор Ковалев, и дед Сосинатр, и Лександра Лузга, и Яшка Бандит —

вышли они на Ду-

рундеевскую пустошь искать пропавшую границу.

Только границы и след простыл — будто бы не было. А на том месте, где стояла граница, росла трава, и выросла эта трава куда выше колен, а уж густота, густота...

Нет, не так:

Егор Ковалев видел вчера границу на козлихинской вешне — видел, говорю я, Фома Большой границу на лепетихинской вешне, только этих границ никто не признал, а Яшка Бандит похвалился, что у него любая палка сойдет за границу, только бы ее на нужное место поставить.

Так и решили.

Только когда Фома Большой поставил палку на то самое место, где была летось граница, Ефим Ковалев заявил, что Лепетиха будет в обиде. А когда Ефим Ковалев поставил палку и опять на то место, где стояла летось граница, — Фома Меньшой заявил, что Козлиха будет в обиде. Тогда палку поставил Фома Меньшой и опять на том месте, где летось была граница, и тут уж Егор Ковалев...

А тогда загорелся в лутошанском кооперативе сарай, и когда загорелся сарай, побежал сторож Ефрем на колокольню бить в набат. А дверь на колокольню была заперта. Тогда побежал сторож Ефрем к попу, а попа дома не было — поп пошел покосы делить. Тогда побежал Ефрем к дьячку, а дьячок сказал, что ключ у сторожа. Побежал Ефрем к сторожу, а сторож на огороде сидит, огурцы полет. Кричит Ефрем:

— Пожар!

А сторож был глуховатый.

— Ты что говоришь?

Тогда закричал Ефрем еще раз:

— Пожар!

А тот и ухом не ведет...

...и вот, когда Коляной поставил

палку и поставил ее на то самое место, где стояла летось граница, Яшка Бандит заявил, что Лепетиха будет...

Тут закричали:

— Пожар!

И вот побежали тогда козлихинские мужики в Козлиху, и вот побежали тогда лепетихинские мужики в Лепетиху — и я думаю, что читателю не трудно будет догадаться, что ни в Козлихе, ни тем более в Лепетихе никакого пожара не было, а был будто бы пожар в Лутошанске и будто бы кончился, причем сгорел лутошанского кооператива сарай и сгорел дотла, а теперь и в Лутошанске никакого пожара не было.

И решили по всем этим соображениям козлихинские мужики вернуться на Дурундеевскую пустошь, и решили лепетихинские мужики...

Вот в чем дело:

вспомнили тут про кривую березу: от кривой березы на сто шагов — вот и граница. Но как ни искали кривую березу, найти не могли — еще зимой спилили ее на дрова и рядом с кривой спилили еще десяток прямых на дрова. Только от этой березы остался пенек, и остался пенек в три вершка, потому что была кривая береза трех вершков при комле.

Трехвершковый пенек нашел Егор Ковалев, трехвершковый пенек нашел и Фома Большой, только никак нельзя было сказать, который пенек остался от кривой березы.

Побежал за Феклой бобылкой — Фекла бобылка косила в прошлом году как раз на границе. Фекла пришла, посмотрела —

— Нись,— говорит,— тут, а нись — там... Будто бы этот кустик оставался налево — нись направо. Да еще, разбойники, у меня сажень целую окосили!

А какой пенек остался от кривой березы, она не сказала и ушла. Тогда стали считать шаги — козлихинские от своего, лепетихинские от своего пенька, сто шагов в сторону лепетихинского же леса. Первым пошел Фома Большой, отсчитал к лепетихинскому лесу сто шагов: вот и граница!

Тогда сказал ему Ефим Ковалев:

— Ты бы еще на ходули встал!

И пошел Ефим Ковалев от своего пенька в сторону лепетихинского леса, отсчитал сто шагов: вот и граница!

И сказал тут Фома Меньшой:

— Ты бы на одном месте топтался!

И пошел тогда Фома Меньшой...

А в это самое время пришел кладовщик лутошанского кооператива Сергей Петров в совет и сделал заявление: и сгорел, согласно заявления, сарай, и сгорело в этом сарае

сто пудов сахару и сто кусков ситца. Пошли, посмотрели и увидели, что сарай действительно сгорел и от сарая по-длинно ничего не осталось и сгорел также сахар, и сгорел даже ситец, так как ни сахару, ни даже ситцу на том месте, где стоял лутошанского кооператива сарай, не оказалось...

И пошел тогда сам Коляной от своего пенька к лепетихинскому лесу, отсчитал Коляной к лепетихинскому лесу сто шагов: вот и граница.

Тогда сказал ему Яшка Бандит...

Тут закричали:

— Из Лутошанска за самогоном пришли-и-и!

Так и осталось на Дурундеевской пустоши две границы: одну поставили козлихинские мужики, а другую поставили лепетихинские мужики, и было между этими границами Фомы Меньшого сто шагов.

## Вторая часть

В канцелярии лутошанского земотдела на стене висели часы, и, когда часы эти показывали ровно три,— в первый раз ударил гром над лутошанским земотделом, и такой грянул гром, что козлихинский мужик, Фома Большой, выходявший в тот час из Козлихи, что лепетихинский мужик, Ефим Ковалев, выходявший в тот час из Лепетихи —

надо сказать, что шли они оба в лутошанский земотдел просить земотдел о выяснении места, где стояла в прошлом году граница —

ну, так вот,

оба они перекрестились:

— Добежать бы до дождика!

И тогда сказал заборовский дьякон, а ныне секретарь нар-суда:

— Дело нечистое!

И сказал народный судья Петушков заборовскому дьякону:

— Дело нечистое!

Говорили они о лутошанском кооперативе.

Так было дело:

шел председатель правления Федот Каблуков вечером, в десять часов, мимо лабаза и видел: стоит у лабаза человек в белой рубахе, без шапки — постоял, постоял...

тогда шел Федот Каблуков за газетой, потому что получались газеты вечером в десять часов —



потом шел он назад и видел:

зашел за лабаз человек в белой рубахе, без шапки, постоял, постоял... и ушел председатель правления, а на другой день...

— Дело нечистое!

Это сказал заборовский дьякон — а когда народный судья Петушков повторил:

— Дело нечистое,

— в это самое время во второй раз ударил гром и опять над лутошанским земотделом, и такой гром, что козлихинский мужик Фома Большой, входивший в тот час в Лутошанск из кривого прогона, что лепетихинский мужик Ефим Ковалев...

Да.

Так вот в это самое время посмотрел секретарь нарсуда на часы и сказал:

— Пора и обедать!

И как только он это сказал, прибежал в земотдел из Козлихи Фома Большой, прибежал в земотдел из Лепетихи Ефим Ковалев, и тогда же в третий раз ударил гром и уже над лутошанским кооперативом.

Председатель правления сгреб бумаги и спрятал бумаги в ящик, посмотрел на часы — а часы в это время показывали четыре — и сказал:

— Пора и обедать!

И только тогда пошел в Лутошанске дождь, и только тогда послан был земотделом в Козлиху Кузька Хромой, а ныне Кузьма Самуилов, послан был он, — говорю я, — в Лепетиху в качестве члена установить между означенными деревнями границу, что проходит по Дурундеевской пустоши на земле бывшего барина, господина Дурундеева.

С вечера вышел Кузьма Хромой, а ныне Кузьма Самуилов, в Козлиху и еще не дошел до Козлихи, как остановил его лепетихинский мужик Егор Ковалев и сказал:

— Ночуешь у нас — мы всегда с уважением!

А делал Егор такой самогон, не хуже, а пожалуй, и лучше николаевской, такой самогон, что забор...

Вот как было дело:

видел Фома Меньшой, как шел Кузька Хромой, а ныне Кузьма Самуилов в Егоркин сарай, надо думать, что шел он в Егоркин сарай ночевать, и когда шел, то, размахивая правой рукой, говорил:

— Я зна-а-аю... — Я — как член!

Тогда запряг лошадь Фома Меньшой и подъехал к сараю, был еще с ним Коляной, Колькин брат, который — это Колька-то — варил такой самогон, что забо...

Ну так вот:

видел Ефим Ковалев, как шел Кузька Хромой, а ныне Кузьма Самуилов, и шел он в Колькин сарай, надо думать, шел он в Колькин сарай ночевать, и когда шел, то, размахивая правой рукой, говорил:

— Я зна-а-аю... Я как член...

Вот тогда-то и запряг лошадь Ефим Ковалев и подъехал к сараю, и был с ним еще Александра Лузга и Егор, который, это Егор-то, варил такой самогон...

Да. На чем же я кончил?

Ну, вот — когда, значит, пошел в Лутошанске дождь — а было это в четыре часа, вышел из лутошанского кооператива Федот Каблуков и, выйдя, заметил, что идет в Лутошанске дождь. Тогда он, пройдя шагов сто...

И вышел в это время из нарсуда заборовский дьякон и, выйдя, тоже заметил, что идет в Лутошанске дождь, — а было это в четыре часа — и, пройдя шагов сто,

— а дождь теперь лил как из ведра —

встали они оба под крышу лабаза лутошанского кооператива.

А накануне Иванова дня покосные комиссии деревень Козлихи и Лепетиhi, совместно с членом лутошанского земотдела Кузьмой Самуиловым, рассматривали вопрос о границе между названными деревнями, что проходит по Дурундевской пустоши на земле бывшей помещика Дурундеева, и, рассмотрев означенный вопрос, постановили считать, что, согласно приказа губземотдела, идет эта граница вдоль лепетихинского леса от кривой березы на сто шагов, что и подтверждается граждан означенных деревень свидетельскими показаниями.

Подлинный подписали: покосной комиссии члены: Фома Большой и Фома Меньшой, Ефим Ковалев и Егор Ковалев и член лутошанского земотдела Кузьма Самуилов.

Да.

Ну, так вот — встали это они под крышу — а в это время подбежал к лабазу человек в белой рубахе, без шапки, и забежал за лабаз. И увидел председатель правления Федот Каблуков человека без шапки в белой рубахе и сказал:

— Я его знаю — это Фома Большой!

Тогда увидал секретарь нарсуда человека в белой рубахе без шапки и тоже сказал:

— А я его знаю: это Ефим Ковалев!

И пока они так говорили — шел дождь, и, пока шел дождь, стояли они под крышей лутошанского кооператива, а когда дождь перестал — пошли они домой, и в это же время пошли домой деревни Козлихи мужик — Фома Большой и деревни Лепетиhi мужик — Ефим Ковалев,

## Третья часть

Были в Иванов день, в Лутошанске Яшка Бандит и сам Коляной, и были они у Марьи вдовы, и ушли будто бы за полночь, а что ушли они за полночь, видно из того, что Сергей Петров, кладовщик, еще спал и они его разбудили, потому что, когда полагалось ему вставать, его и дома не было, по-видимому, он куда-то ушел и ушел, надо думать, в Лепетиху, потому что Яшку Бандита видели потом в Лепетихе.

Вот как было дело:

после Иванова дня вышел из деревни Козлихи козлихинский мужик, Фома Большой, и вышел он на Дурундеевскую пустошь — было это в шесть утра, — и в шесть утра вышли из деревни Лепетихи два брата Ковалевых: Ефим и Егор —

ну так вот

вышел это Фома на Дурундеевскую пустошь и начал косить у самой границы на сто шагов от того места, где летось стояла кривая береза —

и вышли тогда на Дурундеевскую пустошь Ковалевы, Ефим и Егор, и видят — косит Фома Большой и косит у самой границы...

...Бросил Фома Большой косу и убежал в Козлиху, потому что лепетихинских было больше. И стали тогда косить лепетихинские — Ефим и Егор, и тоже у самой границы в ста шагах от того места, где стояла кривая береза. И как только начали они косить, пришли из Козлихи Фома Большой, и Фома Меньшой, и Никита Петров, и Беберя и видят: косят лепетихинские у самой границы...

...бросили лепетихинские косы и убежали, потому что козлихинских было больше.

Стали тогда косить козлихинские и опять у самой границы. И как только начали они косить, пришли из деревни Лепетихи Ефим и Егор Ковалевы, и дед Сосипатр, и Лександра Лузга, и еще четверо, а кто — не упомяну, и видят, что косят козлихинские у самой границы...

...бросили козлихинские косы и убежали, потому что лепетихинских было больше. И вышли тогда из Козлихи...

Нет, не так:

прибежал тогда в лутошанскую милицию — лутошанского кооператива кладовщик, Сергей Пет-

ров, и сказал, что на Дурундеевской пустоши между деревнями Козлихой и Лепетихой начинается драка и что дерутся козлихинские мужики с лепетихинскими мужиками из-за покоса, дерутся ножами и даже бросают ручные гранаты.

И верно:

в это самое время вышли на Дурундеевскую пустошь козлихинские мужики всей деревней и вышли на Дурундеевскую пустошь лепетихинские мужики всей деревней и начали драться, потому что силы у них были равные.

И верно:

бросил Коляной в лепетихинских ручную гранату, и граната упала рядом с Лександрой Лузгой и не разорвалась. И бросил тогда Яшка Бандит в козлихинских ручную гранату, и упала эта граната рядом с Беберей и тоже не разорвалась. Тогда взяли они косы...

Тут-то и пришла из Лутошанска милиция и увидела: лежит на Дурундеевской пустоши Яшка Бандит и не может идти, и голова у Яшки проломлена.

Так.

А надо сказать, что когда пришла на Дурундеевскую пустошь милиция, то, кроме Яшки Бандита, никого там и не было, потому что ушли козлихинские мужики в Козлиху и лепетихинские тоже ушли, и ушли, надо думать, в Лепетиху.

И пришли в лутошанскую милицию лутошанские милиционеры и сказали, что драки на Дурундеевской пустоши не было и только одному проломили голову, а варят в Козлихе самогон, варит Колька Беспалый, Коляного брат, и что этот самогон они забрали и привезли к начальнику милиции, самогон, отобранный от лепетихинского гражданина Егора Ковалева, на предмет привлечения означенного Кольки к суду как самогонщика. И был тогда самогон запечатан сургучной печатью и доставлен в нарсуд...

Опять забегаю вперед. Дело было собственно так: вечером того же дня шел мимо милиции Кузька Хромой, а ныне Кузьма Самуилов, член лутошанского земотдела, и, когда он вошел в милицию, сидели у начальника милиции заборовский дьякон, а ныне секретарь нарсуда, и еще двое, и будто бы заборовский дьякон сказал:

— Дело нечистое!

А говорили они о лутошанском кооперативе.

В это время как раз случилась в кооперативе кража; пришел в лабаз председатель правления Каблуков и еще два члена правления, и сверяли наличность, причем Сергея Петрова, кладовщика, в наличности не оказалось — был в это время Сергей у Марьи вдовы и был

там Коляной, а Яшке Бандиту в драке проломили голову, так что Яшки там не было.

Ну вот,

и оказалась на складе лутошанского кооператива недостача в товарах — пропало будто бы сахару сто пудов и ситцу сто кусков, о чем и составлен протокол на предмет привлечения к делу.

А утром на другой день в народный суд доставлен был самогон в стеклянных бутылках, за сургучной печатью, и был в это время там — в нарсуде — секретарь нарсуда и был там еще козлихинский мужик Фома Большой и лепетихинский мужик Ефим Ковалев и говорили, что по данному делу они ровно ничего не знают, в чем выставляли свидетелей: деревни Козлихи граждан — Фому Меньшого, да Никиту Петрова, да Коляного, да Беберю, и деревни Лепетихи граждан — Егора Ковалева, Яшку Бандита, Сосипатра да Лександру Лузгу...

#### Четвертая часть

В пятницу после Ильина дня в Лутошанске, над лутошанским народным судом, высоко стояло солнце, когда вышел народный суд в полном составе и занял свои места. И тогда заборовский дьякон...

Да что это я?

— Никакого дьякона в Заборовье нет, а если и есть, то совсем не гражданин Миролюбов, а кто-то другой, — гражданин Миролюбов есть секретарь нарсуда, а вовсе не дьякон. Правда, был когда-то в Заборовье дьякон и был он будто бы тоже Миролюбов, но этот Миролюбов не был никогда секретарем нарсуда, а был диаконом заборовского во имя Успения пресвятой богородицы храма, и если читает он иногда апостола, то не в Заборовье совсем, а в Лутошанске —

ну так вот

сел гражданин Миролюбов за стол и сели за стол — народный судья Петушков и по правую руку судьи заседатель Игнатий Попов, а по левую руку судьи — заседатель Еким Федосеев. Сели это все они за стол...

Но я не буду утомлять читателя подробным описанием того, как председатель суда, судья Петушков, произнес:

— «Приводятся к присяге заседатели»

и как действительно заседатели приведены были к присяге, и не буду утомлять подробным же описанием того, как председатель суда, судья Петушков, произнес:

— «Слушается уголовное дело о краже из лутошанского кооператива!»—

тем более что действительно видел гражданин Федот Каблуков — проходя вечером в десять часов (а вечером в десять часов получались в Лутошанске газеты) мимо лабаза, видел он, как прошел мимо того же лабаза человек в белой рубашке, без шапки, и зашел за лабаз — постоял, постоял — и ушел, и действительно шел в Лутошанске дождь и лил дождь как из ведра, когда вышел гражданин Каблуков из кооператива,— а что шел дождь, может подтвердить гражданин Миролюбов — и признал тогда Каблуков, в человеке без шапки и в белой рубашке, Фому Большого —

и признал тогда гражданин Миролюбов, в человеке без шапки и в белой рубашке, Ефима Ковалева, и что, когда кончился дождь...

Нет, не так —

и что действительно на складе лутошанского кооператива ста пудов сахару и ста кусков ситцу в наличности не оказалось и не оказалось в наличности кладовщика Сергея Петрова —

и поэтому

прямо перейдем к свидетельским показаниям:

Свидетель Сергей Петров показал, что был он в это время у Марьи вдовы и что был там Коляной, а Яшки Бандита не было, потому, что Яшке Бандиту в драке проломили голову. И свидетель Яшка Бандит подтвердил, что ему действительно проломили голову, на что свидетель же Коляной возразил, что это не он, Коляной, проломил Яшке голову, а что это сам Яшка нажрался самогону.

И тогда свидетель Егор Ковалев заявил, что самогону он не варил, и не продавал, и не пил, и не видал даже этого самогона отроду, а если варит в Козлихе самогон Колька, Коляного брат, то об этом ему ничего неизвестно — и свидетель Николай Беспалов, он же Колька, подтвердил, что действительно он, Колька, самогона никогда не варил и не продавал, а что варит в Лепетихе самогон Егор Ковалев, то об этом ему тоже ничего неизвестно...

Но это уже другое дело: о самогоне.

Начальник лутошанской милиции показал, что сидели они в помещении милиции и пришел туда Кузька Хромой, а теперь Кузьма Самуилов, и что в это самое время гражданин Миролюбов действительно произнес:

— Дело нечистое...

А говорили они о лутошанском кооперативе.

Да. Ну так вот, доставлен был самогон в стеклянной посуде,

за сургучной печатью, доставлен был самогон в лутошанский народный суд, и принес судья Петушков эту посуду за сургучной печатью...

Тогда Егор Ковалев заявил, что этого, за сургучной печатью, самогона, он, Николай, не видал, а что если был отобран от него, Егора, самогон, то он, Николай, не отрицается, потому, что самогон этот за сургучной печатью, не самогон вовсе, а вода:

— Они, — говорит, — у меня из кадки всю воду вычерпали!

Вскрыли тогда печать, посмотрели — попробовал судья Петушков самогону за сургучной печатью, попробовал заседатель Попов самогону за сургучной печатью — и сказал судья Петушков, и сказал заседатель Попов; оба сказали:

— Вода!

Но это уже другое дело — о самогоне.

Ну так вот —

сели они за стол и председатель суда произнес:

— «Слушается уголовное дело о краже из лутошанского кооператива!»

И тогда Ефим Ковалев показал, что будто бы проходил он мимо Дурундеевской пустоши и зашел посмотреть, хороши ли на Дурундеевской пустоши травы. А трава, надо сказать, выросла куда выше колен, а уж густота, густота —

— что те сеянка!

Посмотрел он тогда на траву и сказал:

— Хороша!

Только границы и след простыл — будто бы не было!

И верно —

свидетель Никита Петров подтвердил, что на Дурундеевской пустоши действительно пропала граница и что, когда поставил обвиняемый Фома Большой палку и поставил ее на то место, где прежде стояла граница, будто бы Ефим Ковалев заявил, что Лепетиха будет в обиде...

А в это самое время загорелся в лутошанском кооперативе сарай, и когда загорелся сарай, побежал сторож Ефрем на колокольню бить в набат. А дверь на колокольню...

Нет, не так —

тут-то и закричали:

— Пожар.

Только ни в Козлихе, ни тем более в Лепетихе, по словам свидетеля Сосипатра, никакого пожара не было, а был будто бы пожар в Лутошанске, и сторел будто бы лутошанского кооператива сарай, и тогда пришел он, свидетель, Сергей Петров, в совет и сделал заявление...

И увидели, что сарай действительно сторел, и от сарая,

подлинно, ничего не осталось, и сгорел также сахар, и сгорел даже ситец, так как ни сахару, ни тем более ситцу на том месте, где стоял лутошанского кооператива сарай, не оказалось.

На этом дело о краже из лутошанского кооператива и кончилось.

## Эпилог

Но я опять забегаю вперед.

Так было дело:

когда в Лутошанске склонялось тяжелое солнце и склонялось оно за крышу лутошанского кооператива, в это самое время председатель суда, судья Петушков, произнес:

— Суд удаляется на совещание!

И встал судья Петушков со своего места, и встал заседатель Попов, и заседатель Еким Федосеев тоже встал, и встал тоже со своего места —

и действительно —

все они удалились на совещание.

Вынул тогда Фома Большой из мешка, вынул, говорю я, Ефим Ковалев из мешка, вынули оба по краюхе, и оба сказали:

— Время позднее!

И сказал тогда Фома Меньшой Егору, а дед Сосипатр Никите Петрову —

и сказал, говорю я, Беберя Лександре Лузге:

— Время позднее. Никак уж коровы идут?

И действительно — гнал лутошанский пастух лутошанское стадо, гнал из кривого прогона, и шло это стадо от кривого прогона мимо лабаза, и мимо земотдела, и мимо лутошанского нарсуда. И впереди стада шла черная корова, и у черной коровы на лбу было белое пятно, а позади стада шла белая корова, и у белой коровы на лбу было черное пятно. Да.

Ну так вот,

когда белая корова проходила мимо окон лутошанского нарсуда, в это самое время вышел судья Петушков и с ним вместе вышел Игнатий Попов, и вышел Еким Федосеев,

вышли они, сели за стол, и сказал судья Петушков:

«...дело по обвинению граждан деревни Козлихи — Фомы Большого и деревни Лепетихи — Ефима Ковалева в краже из лутошанского кооператива, за недоказанностью обвинения, прекратить...»

И услышал Фома Большой — прекратить, и услышал Ефим



Ковалев:

прекратить!  
и оба вздохнули.

— Оно, конечно, тово, погорячились!

И сказал Фома Меньшой, и сказал Егор Ковалев, и сказал, говорю я, Беберя Лександре Лузге:

— Погорячились!

А говорили они о покосах на Дурундеевской пустоши.

И когда за крышу лабаза опустилось тяжелое солнце и длинные тени сгустились на улицах Лутошанска, и сгустились такие же тени в Козлихе, и даже в Лепетихе сгустились длинные тени, и только золотом горел крест на заборовской колокольне,

в это самое время

из Лутошанска по криковому прогону шли мужики — надо думать, что шли там: Фома Большой и Фома Меньшой, Ефим и Егор Ковалевы, и Никита Петров, и Беберя, и Лександра Лузга, и дед Сосипатр, и шли они вместе, только издали мне никак нельзя было разобрать, кто из них шел в Козлиху, а кто в Лепетиху.

## МЕРТВОЕ ТЕЛО

### 1

Когда в Вышнегорске и над самым городом Вышнегорском занялась заря — проснулся на Плешкиной слободе псаломщик Игнат, и проснулся портной Филимон на Прогонной, а в деревне Лисьи Хвосты, в расстоянии версты от Вышнегорска, проснулся без определенных занятий гражданин Чижиков.

И, проснувшись, каждый из них заметил, что пора вставать.

Первым встал псаломщик Игнат — он же делопроизводитель исполкома — и, выглянув в окно, увидал, что идет по дороге пегая лошадь, запряженная телегой, и лежит будто бы в этой телеге человек — только лица того человека никак нельзя разобрать. Необычайное сие зрелище не произвело на псаломщика Игната никакого впечатления, и, одевшись, пошел он в волысполком.

Вторым поднялся портной Филимон, и, выйдя на улицу безо всякой определенной цели, заметил, что идет по дороге пегая лошадь с телегой и в телеге будто бы нет никого. И подумал тогда Филимон, что лошадь найдет дорогу одна, — и вернулся домой доканчивать обещанный на-

чальнику вышнегорской милиции, Мишке Сычу, френч, за которым Мишка Сыч еще вчера присылал, а сегодня и сам обещал зайти.

А что касается без определенных занятий гражданина Чижикова, который, кстати сказать, прежде служил на железной дороге, — ну, так видел означенный Чижиков, выходя из деревни Лисьи Хвосты, что забралась пегая лошадь в чьи-то овсы и овсы эти порядочно потравила.

Вывел гражданин Чижиков лошадь эту опять на дорогу, а сам пошел в Вышнегорск по какому-то срочному делу, касающемуся не столько Филимона, сколько начальника вышнегорской милиции, Мишки Сыча.

Вот и все.

Только в Вышнегорске в тот день не было иных разговоров, кроме как о найденном на дороге от Плешкиной слободы к Прогонной улице мертвом теле.

Первым заметил мертвое тело псаломщик Игнат; когда шел псаломщик Игнат в исполком, и увидел: лежит у дороги человек и будто бы спит. Подошел Игнат к тому человеку, ткнул того человека ногой, и он не пошевелился.

— Ишь ты, — подумал Игнат и, встретив без определенных занятий гражданина Чижикова, сказал, что лежит на дороге мертвое тело и не шевелится.

Подошел тогда к мертвому телу гражданин Чижиков, пнул мертвое тело ногой, — и оно действительно не пошевелилось.

— Ишь ты, — сказал тогда Чижиков и, встретив Мишку Сыча, — а шел Мишка Сыч к Филимону — и сказал гражданин Чижиков Мишке Сычу, что лежит на дороге мертвое тело и не шевелится.

Подошел Мишка Сыч к мертвому телу, пнул это тело ногой, и оно в третий раз не пошевелилось!

— Ишь ты, — сказал Мишка Сыч и пошел к Филимону, примерил только что сшитый френч и нашел, что шит оный френч хорошо, и потом уже по дороге в милицию, встретив милиционера, послал означенного милиционера охранять найденное при дороге мертвое тело.

Пошел милиционер к мертвому телу и увидел: идет по дороге человек, будто бы пьяный, и шатается. Тогда решил милиционер, что мертвое тело все равно никуда не убежит, и, забрав пьяного, отвел его в арестное при вышнегорской милиции помещение, а потом уже отправился дальше.

В это же время шел гражданин Чижиков на станцию и, проходя мимо дома бывшего купца Ворошилова, заметил на дверях этого дома записку — а надо сказать, что помещался в доме бывшем купца Ворошилова клуб и в этом

клубе на сегодняшний вечер назначен был диспут на тему «существует ли Бог» — так вот, когда гражданин Чижи-ков прочитал эту записку, весь Вышнегорск говорил о страшной находке.

Говорили тогда в Вышнегорске...

Да мало ли что говорят в Вышнегорске! Всю неделю говорили, что обнаружены будто бы на железной дороге хищения, и довели стоимость этих хищений до трех миллиардов, а вот задержанный Мишкой Сычом по подозрению в краже портной Филимон к этой именно краже оказался непричастным!

И когда начальник милиции Мишка Сыч, составив бумагу о нашествии мертвого тела, пошел в деревню Лисьи Хвосты, а псаломщик Игнат сидел в волисполкоме — было двенадцать часов — и в двенадцать часов посланный Мишкой Сычом милиционер, подойдя к тому месту, где должно было, согласно полученной им инструкции, находиться мертвое тело,

— ни мертвого, ни живого тела не обнаружил!

А вечером из арестного при вышнегорской милиции помещения освобожден был задержанный, вероятно, по ошибке лыковский волпродинспектор товарищ МигаЙ.

## 2

Сидел псаломщик Игнат в исполкоме. Пришел к нему председатель защекинского сельсовета Гаврило Терентьев и рассказал ему нижеследующее.

Был в Ильин день в Защекине праздник, и сидел он, Терентьев, в избе, когда пришел к нему деревни Лосново мужик Степан Парамонов и сказал, что требуют у него, Терентьева, как председателя сельсовета, подводу. Тогда вышел он, Терентьев, как председатель сельсовета, на улицу, и сидел на телеге гражданин и требовал подводу, на что он, Терентьев, как председатель сельсовета, сказал, что подводы по случаю праздника нет. И тогда означенный гражданин, оказавшийся лыковским волпродинспектором Мигаем, нанес ему, Терентьеву, оскорбление в личность, так что он, Терентьев, как председатель сельсовета, чуть с ног не слетел, и потому просит принять меры с такими гражданами.

Означенное заявление послано было к райуполномоченному Птичкину для отзыва в трехдневный срок.

А в это время говорили в Вышнегорске...

Да мало ли что говорят в Вышнегорске бабка Фетинья с теткой Аксиньей, встретившись на Большой улице почти что у самой церкви!

— Светопреставление, — говорит бабка Фетинья...

— Не иначе как воскресение из мертвых, — отвечает тет-

ка Аксинья,— и расходятся по домам, увидев издали Мишку Сыча, возвращающегося из деревни Лисьи Хвосты.

А был Мишка Сыч в деревне Лисьи Хвосты вот по какому делу.

Утром деревни Лисьи Хвосты мужик Микита Седой, проходя мимо поля, заметил потраву: вошла в его, Микиты Седого, овсы пегаая лошадь и овсы эти порядочно потравила. И загнал Микита Седой лошадь эту в хлев, а той же деревни мужик Илья Худой заявил, что штраф с этой лошади причитается и ему, Илье Худому...

И вот тогда Мишка Сыч рассудил до разбора дела задержать эту лошадь при вышнегорской милиции, и приехал на лошади в Вышнегорск, и только когда приехал — узнал о пропаже мертвого тела.

— Я этого так не оставлю!— сказал Мишка Сыч и вызвал следователя для разыскания мертвого тела, неизвестно кому принадлежащего.

Шел со службы псаломщик Игнат и, проходя мимо дома бывшего Ворошилова, прочел на дверях этого дома записку, выражавшую явное сомнение в бытии Бога. И тогда псаломщик Игнат, как человек в бытии Бога не сомневающийся, приготовился к диспуту, выпив бутылку самогона у местного самогонщика Бутягина.

А вечером в восемь часов действительно состоялся диспут.

Был на диспуте весь Вышнегорск, но, несмотря на жаркие споры, большинством сорока голосов против тридцати постановлено было, что Бога не существует.

И тогда взял, по мотивам голосования, слово самогонщик Бутягин и заявил, что для решения такой важности, как бытие Божие, вопроса необходимо, по крайней мере, большинство двух третей голосов, а псаломщик Игнат при сем, бия себя персты в грудь, сказал, что в этой, псаломщика Игната, груди Бог доподлинно существует. Без определенных занятий гражданин Чижиков на это возразил, что как он теперь безработный и в партию не записан, то нет ему во всем этом, о бытии Бога, вопросе никакой корысти.

Был, я говорю, на этом диспуте весь Вышнегорск, и, когда диспут кончился, говорили, расходясь по домам, о том, о чем весь этот день только и разговору было в Вышнегорске,

а именно:

что у начальника вышнегорской милиции Мишки Сыча появился откуда-то новый френч, какого у него, Мишки, прежде не было и быть не могло.

Пришел в Вышнегорск лосновский мужик Степан Парамонов и искал по всему Вышнегорску, а равно и по деревне Лисьи Хвосты, пропавшую у него пегую лошадь, и сказали ему, что задержана эта лошадь при вышнегорской милиции. И пошел Степан Парамонов к начальнику милиции и требовал лошадь, только Мишка Сыч лошади не дал, как не имеющему никаких на эту пегую лошадь доказательств. И пошел Степан Парамонов в Лыково к волпродинспектору Мигаю за доказательством...

Это было утром, а ночью видел милиционер, охранявший то место, где лежало вчера мертвое тело, как мелькнула в сторону деревни Лисьи Хвосты от Вышнегорска какая-то тень,— и через десять минут в том же месте появилась другая тень и проехала будто бы эта тень на лошади в сторону той же деревни. По-видимому, бродячая эта тень являлась душою того мертвого тела, которое пропало неизвестно куда, и бродила она по ночам, отыскивая принадлежавшее ей тело...

И утром же Мишка Сыч получил со станции протокол об ограблении вагонов, присланных с мануфактурой на имя профсоюза «Игла», и ушел на станцию производить по этому делу дознание.

А в Вышнегорске тогда говорили...

Впрочем, вот о чем говорили в Вышнегорске.

Вчерашнее постановление об отмене существования Бога повергло священника отца Миловидова в совершенное уныние, и он, совместно с псаломщиком Игнатом, придя к местному самогонщику Бутягину, потребовал самогону. Когда же Бутягин возразил, что, дескать, «вы, батюшка, у меня весь самогон выпили»,— отец Миловидов с применением револьвера закричал:

— Говори, такой-сякой, есть Бог или нет!

И было существование Божие с очевидностью утверждено устами вышнегорского самогонщика Бутягина.

В этот же день и тоже утром получил райуполномоченный Птичкин заявление гражданина Терентьева с жалобой на оскорбление его, Терентьева, как председателя сельсовета, в личность, при помощи физического удара со стороны лыковского волпродинспектора Мигая, и, вызвав самого Мигая из Лыкова, снял с него показание.

Дело волпродинспектора Мигая, по его, Мигая, показанию, заключалось в следующем:

ЛЫКОВСКОГО ВОЛПРОДИНСПЕКТОРА МИГАЯ

необыкновенное

ПО ЛЫКОВСКОЙ ВОЛОСТИ

путешествие

*Эта история о том, что никогда человек не знает, с кем его сталкивает судьба, и учит в действиях соблюдать возможную осмотрительность.*

Ехал волпродинспектор Мигай со станции Разгуляево в Лыково по сбору масло-яичного налога, и был в Разгуляево по случаю престольного дня праздник, и попал он из Разгуляева в деревню Васику, где тоже был праздник. Дал ему председатель деревни Васику подводу, и довезла его эта подвода до деревни Лосново, а в деревне Лосново был праздник. И дали в Лоснове подводу, и довезла эта подвода до деревни Защекино, а в деревне Защекино был опять-таки праздник...

И тогда подходит пьяная физиономия и еще возница, который и заявляет, что дальше не повезем. На это товарищ Мигай ответил, что обязаны его довезти до Лыкова, и послал тогда возница товарища Мигая к такой матери, а к какой — товарищ Мигай не знает. И подскочила какая-то старуха и еще мужики, и физиономия спросила ваш мандат, а мужики кричали:

— Ему надо масла — дадим ему и масла!

И еще подступала какая-то личность, и товарищ Мигай схватил эту личность за руку и крикнул:

— Ты руку держи покороче!

И когда обернулся — видит — лезет пьяная физиономия с такой же закуской, и возница бросил вожжи и сказал: «пожжай сам!» И физиономия подступала с кулаками, а мужики кричали: «будем его топить!» Тогда товарищ Мигай не выдержал и смазал гражданину в отмашку, так что тот с ног слетел, схватил за руку и сказал:

— Вы арестованы!

По дороге подходит какая-то пьяная личность:

— За что вы арестовали лесного сторожа?

— А вы кто такой?

— Я — ревизор лесничества, и вы должны его отпустить, как мужики весь лес разворуют...

Товарищ Мигай на это ответил:

— А я думаю, что вы не ревизор лесничества, а пьяный.

Тот принимает вид серьезный.

— Вы меня не поили, и потому не укоряйте.

— Ну так покажите ваш мандат, и я буду разговаривать с официальным лицом.

Тот пошарил по карманам.

— Нету с собой.

— Ну, я вижу, что ты фальшивый ревизор, и я тебя тоже арестую.

Пошли дальше. Тот прошел пять шагов и опять начинает *шабырить*:

— За что вы меня арестовали? За то, что я ранен на польском фронте?

— Об этом мне ничего не известно, а за то, что ты фальшивый ревизор. Кто тебе будет арестованный?

— Брат...

— Ну так ты арестован, как незаконно пытавшийся освободить своего брата...

Тот вынимает бумагу. Товарищ Мигай посмотрел бумагу и, увидев, что действительно означенная личность есть демобилизованный красноармеец и ранен на польском фронте, за номером 1273, сказал:

— Иди домой, нам таких демобилизованных не нужно.

И пошел дальше в исполком.

— Вот, — говорит, — человек на меня покушался избить, как пьяный...

Тогда секретарь исполкома говорит:

— Это вовсе не пьяный, а председатель сельсовета!

И, видя свою ошибку, отпустил товарищ Мигай и этого гражданина, как арестованного по недоразумению.

Все вышеизложенное могло бы показаться читателю странным и нимало не отвечающим истинному положению дел, если бы читатель не был осведомлен о таком имевшем место в городе Вышнегорске случае.

Был задержан желдорхраной один гражданин, незаконно торговавший самогонкой, и спросили того гражданина:

— Где покупал?

Повел тогда гражданин желохрану в милицию и, войдя в милицию, сказал:

— Здесь покупал.

А когда спросили, кто же ему означенный самогон продал, он показал на Мишку Сыча — в то время, когда каждому известно, что Мишка Сыч отнюдь не самогонщик, а начальник вышнегорской милиции!

*Вот какие могут случаться ошибки и единственно только по причине человеческой неосмотрительности, почему и рекомендуется при встрече спрашивать у каждого мандат.*

Но происшествие это нисколько не обескуражило нашего героя. Будь на его месте другой, — и пусть у этого другого будет семь револьверов за поясом, и то он неминуемо бы растерялся, но не таков товарищ Мигай, иначе он не был бы героем нашей поэ-

мы: товарищ Мигай на эти, секретаря исполкома, слова только ответил:

— Если он председатель совета, то пусть он даст мне подводу.

И тогда председатель сельсовета возразил, что подводы по случаю праздника нет и что он, Мигай, может подождать и до завтра, «а ты,— говорит,— ответишь, как оскорбил должностное лицо».

И тут стояла чья-то пегая лошадь, и товарищ Мигай сказал:

— Коли ты не даешь подводу,— я сам возьму!

Сел на эту лошадь, стегнул ее, что есть силы, и пришел на другой день в Лыково пешком из Вышнегорска.

Выслушав эти объяснения, райуполномоченный Птичкин написал бумагу, что факт нанесения волпродинспектором товарищем Мигаем физического удара председателю защекинского сельсовета Терентьеву вполне установлен, но что, по его мнению, нанесение означенного удара обусловлено тем, что товарищ Мигай долгое время находился инспектором означенной волости и его все знают, почему и надлежит ему, Мигаю, как честному и преданному работнику, сделать выговор, с предупреждением отдачи под суд.

И вся переписка отослана была в Лыково на предмет дальнейшего расследования.

И тогда же приехал следователь и установил, что пропавшее мертвое тело принадлежит никому другому, кроме как лыковскому волпродинспектору Мигаю, который и был препровожден в арестное при вышнегорской милиции помещение.

#### 4

Утром прибыло дело о волпродинспекторе Миге в Лыково, и допрошены были защекинские мужики, а также лосновский мужик Степан Парамонов, и выяснилось, что прибыл Мигай в Защекино из Разгуляева, где был праздник, и вез его лосновский мужик Степан Парамонов на пегой лошади, которая и нужна ему, Парамонову, по хозяйству. А что товарища Мигая знает вся волость, от этого никто не отрекался — их грех.

Убийства же никто не совершал, разве что в Разгуляеве зарезали двоих, да и те двое остались живы, и куда могло деться мертвое тело, им ничего не известно.

И все это дело вернулось в вышнегорский исполком и поступило к псаломщику Игнату, как делопроизводителю.

Но все это было уже утром,— а ночью приходил начальник милиции Мишка Сыч в арестное помещение, и, ударив товарища Мигая, как подследственного, по уху, сказал ему:



— Ты убил!

На что Мигай ничего не смог ответить. Тогда повел его Мишка Сыч и велел показать, куда спрятано мертвое тело. И водил его Мигай три часа, и привел в чьи-то овсы, и лежало в этих овсах действительно мертвое тело, неизвестно кому принадлежащее.

И был приставлен к тому телу караул из одного милиционера. И на рассвете видел милиционер, как направлялась к деревне Лисьи Хвосты чья-то тень, и от испуга заснул. А, проснувшись, заметил, что сидит рядом с ним псаломщик Игнат и уверяет, что Бог все-таки есть, а мертвое тело пропало неизвестно куда...

И был тогда же составлен протокол на священника отца Миловидова в вымогательстве с применением оружия к местному самогонщику Бутягину и распространении ложных слухов о воскресении мертвых. И утром же был арестован псаломщик Игнат, только сразу отпущен, как делопроизводитель волисполкома, но только псаломщик Игнат, как делопроизводитель исполкома, был обижен и сказал Мишке Сычу:

— Я тебе докажу, что Бог существует!

И немедленно, по требованию волисполкома, освобожден был подследственный Мигай, как принятый по ошибке начальника милиции за мертвое тело, и отправлен в больницу по причине боли в спине от ударов тупым орудием.

В это время говорили в Вышнегорске — да и не только в Вышнегорске, но и в деревне Лисьи Хвосты, что бродит по ночам от Вышнегорска к Лисьим Хвостам бесплотная чья-то тень и мнет эта тень деревни Лисьи Хвосты мужиков Ильи Худого и Микиты Седого овсы, так что эти овсы могут сгнить по причине дождливого лета.

И сели ночью в засаду Илья Худой и Микита Седой — и сидели они в полверсте друг от друга: и увидел сначала Илья Худой, как мелькнула означенная тень, и погнался за нею, но не догнал. И тогда же увидел Микита Седой другую тень, и сидела эта тень на телеге и погоняла лошадь, масти которой нельзя было разобрать. И шла эта лошадь прямо по овсам, в сторону деревни.

Тогда Микита сказал:

— Стой!

И оказалась та тень тенью без определенных занятий гражданина Чижикова, и везла эта тень со станции Вышнегорск мануфактуру.

И был тогда арестован портной Филимон, да и сам начальник вышнегорской милиции Мишка Сыч не отрекался, что сшил ему Филимон новый френч, какого у него, Мишки Сыча, прежде не было и быть не могло, по причине полной необеспе-

ченности, как он ни в чем не виноват, только что в применении насилия к волпродинспектору Мигаю.

Говорили тогда в Вышнегорске...

Ну, да об этом говорили не только в Вышнегорске — и в Лыкове, и в Разгуляеве, и даже в Защекине не было других разговоров, как о раскрытии шайки, производящей хищения из вагонов на станции Вышнегорск, и что будто бы во главе этой шайки находится не известно кому принадлежащее мертвое тело.

И когда на следующий день занялась в Вышнегорске заря, проснулся на Плешкиной слободе псаломщик Игнат, он же делопроизводитель волисполкома, и увидел псаломщик Игнат, выглянув утром в окно, что идет по дороге пегая лошадь, запряженная телегой, и сидит в этой телеге лосновский мужик Степан Парамонов.

## КРОКОДИЛ

ТРИ ДНЯ

ИЗ ЖИЗНИ КРАСНОГО ПРИЩЕПОВСКА

### Первый день

Председатель Прищеповского совета, которого из уважения к высокому его званию назовем мы и впредь будем называть Степаном Аристарховичем, придя в Совет ровно в десять часов по новому времени, увидел на столе своем газету с отчеркнутой красным карандашом заметкой следующего содержания:

*Из Прищеповска сообщают, что в реке Щеповке появился крокодил ростом около двух аршин. Крокодил наводит ужас на местное население.*

Не поверив глазам своим, взял Степан Аристархович очки, прочел еще раз вышеприведенную заметку, несколько минут оставался в глубоком раздумье, а потом, преодолев вполне в его положении понятное недоверие к представителям саботирующей интеллигенции, обратился за разъяснением к секретарю.

Секретарь со смехом заявил, что крокодилы вообще в России не водятся, а если бы и водились, то подобный экземпляр вряд ли смог бы в реке Щеповке повернуться, и при этом сослался на данные буржуазной науки, что одно могло бы опорочить правильность его рассуждений. Степан Аристархович, наоборот, совершенно справедливо по-

лагал, что тут без врагов советской власти дело не обошлось, что скрывается в этом сообщении намек или предостережение, а то и сигнал, к контрреволюционному, что ли, выступлению, и, одновременно вспомнив, что доверять никому нельзя, а в особенности всякого рода секретарям, благонадежность коих и вообще сомнительна, решил самолично за это дело взяться.

Многие видели затем, как уважаемый председатель прицеповского Совета не шел, а прямо-таки бежал по главной, прежде Дворянской, а ныне Советской улице, оглядываясь по обыкновению назад, и озираясь по обыкновению по сторонам, и придерживая одной рукой портфель, а другой — револьвер.

Тем же часом взорам прицеповских граждан предстало еще более замечательное явление: все видели, как по той же улице прошел субъект, одетый в матросскую форму. Шел он, размахивая руками, и громко распевал привезенную, очевидно из Питера, песенку о том, как ходила по улице какая-то «крокодила» и что из этого вышло. Особенность его исполнения заключалась в том, что, заканчивая каждый куплет, он на полминуты останавливался, выделывал такой жест, словно вылавливал что в воздухе, и, выловив, сочно преподносил каждый раз новое, но всегда одинаково малопечатное слово к удовольствию прицеповских мальчишек, следовавших за этим странным феноменом на довольно-таки почтительном расстоянии.

Но вернемся к Степану Аристарховичу. Он, как и следовало ожидать, направился в Учека, дабы лично ознакомить сие учреждение со столь необычным в практике прицеповского Совета делом. Но дело это, к его удивлению, новостью для Учека отнюдь не явилось: заслушав Степана Аристарховича, Учека возразило, что в некоторых случаях несвоевременное оглашение сведений, касающихся преступлений государственной важности, может повредить делу пролетариата, и Степан Аристархович ушел нельзя сказать чтобы особенно успокоенным. Да и действительно события только что начинали развертываться.

Не успел он уйти из Учека, как вбежала в то же учреждение баба и по обычаю этого сорта людей безо всякого предупреждения заголосила:

— Разбойники окаянные, ироды проклятые. Нет на вас креста совести.

Такое обращение понравиться уездной Чека не могло. На просьбу говорить толком, скрепленную довольно-таки выразительной угрозой, баба начала божиться, что молоко у нее свежес, только что подоила, а он подлец... и далее следовали те же отборные эпитеты. Попытка узнать, кто же ее,

собственно, обидел, привела к тому, что баба понесла форменную ахинею:

— Все, говорит, он, *крокодил* энтот.

Стремление же точнее установить личность крокодила окончилось полной неудачей — баба чистосердечно заявила:

— Все они разбойники и большевики, и нет на них никакой управы.

Разговаривать с человеком до такой степени бессознательным, конечно, не стоило, и бабе пришлось уйти из Учека восвояси.

Но и этим дело не окончилось. Не прошло и пяти минут, как стало известно, что какой-то субъект, судя по форме, матрос, войдя в помещение советской столовой, потребовал пива и на объяснение буфетчика, что употребление спиртных напитков запрещено по всей территории республики, ответил довольно-таки неприличной руганью. На вежливую просьбу не выражаться он удвоил количество не подлежащих печатанию слов, а когда была сделана попытка насильно вывести его из столовой, он пригрозил взорвать столовую и для очевидности присоединил к этой угрозе бомбу. На упоминание об Учека он к первой бомбе незамедлительно присоединил вторую. Чем бы могла окончиться подобная демонстрация разрывных снарядов, трудно и предположить, но, к счастью, матрос неожиданно для всех свалился на пол и подняться, несмотря на все старания, уже не смог, что и позволило связать его и доставить в живом, хотя и бессознательном виде, в Учека.

Становилось для всех очевидным, что заметка о крокодиле имеет свои основания: оставалось только расследовать факт, и к следствию было приступлено в тот же день и час, ибо самое дело было из ряда вон выходящим.

Начали с опроса лиц, живущих на берегу реки, совершенно справедливо полагая, что означенным лицам должно быть более всего известно о крокодиле, и с этой целью двумя красноармейцами был приведен в Учека один из старейших рыбаков города Прищеповска. Сначала старик отнекивался, заявляя, что ни о каких крокодилах он и слыхом не слыхал, что живет он в Прищеповске вот уже сорок лет и все его знают и что телку зарезал вовсе не он, а его двоюродный брат, да и то месяца три тому, когда и запрета не было.

Но стоило на его немножко прикрикнуть, как оказалось, что в реке действительно не все ладно, что рыба вот уже неделю не идет, а недавно поставил он жерлицу на щуку, и оказалась съеденной вся затравка и даже кусок жерлицы явно отгрызен. На вопрос, не думает ли он, что виною тому какая-нибудь особенно большая рыба, ему пришлось сознаться, что это возможно. На вопрос же, не думает ли он, что эта рыба и

есть крокодил, он снова начал божиться, что с мошенниками дружбы не водит, а что касается крокодила, то волен в том один только Бог.

Следующим свидетелям вопрос был поставлен прямо: не видели ли они в реке Щеповке крокодила — и ввиду такой откровенности дело пошло на лад. Все в один голос заявили, что оно и есть. Многие видели своими глазами, как огромный предмет ухнул в воду и по воде пошли такие круги, что, будь здесь лодка, ее, конечно бы, перевернуло. Это и был крокодил — хотя некоторые тут же возражали, что это мог быть и не крокодил.

В дальнейшем выяснилось, что крокодила видели на улицах Прищеповска, одетым в матросскую форму, будто бы шел он и распевал это самое, а потом исчез — вероятно, ухнул в реку. Другие возражали, указывая довольно-таки справедливо, что матрос как-никак человек, да и слова такие загибал, каких крокодилу, казалось бы, и взять неоткуда. Откуда прищеповские обыватели были так осведомлены о быте и нравах крокодилов, неизвестно, но тождество крокодила с матросом на этом основании было тотчас же отвергнуто.

Здесь один из допрашиваемых заикнулся, что если матрос и не крокодил, то из «евоной шайки», — тут-то его и зацепили: расскажи, что знаешь о шайке. Оказалось, что шайка разбойников появилась неподалеку от Белебеева и что будто один из разбойников украл у белебеевского попа штаны, причем весьма нахально заявил, что поп почти баба и без штанов ходит. О других действиях белебеевских разбойников известно ничего не было, но языки уже развязались и остановиться не могли. Отчасти к слову, отчасти для того, чтобы выгородить себя из непонятной, но не обещающей ничего доброго истории, рассказали о том, кто спекулирует в городе мукой или сахаром, кто в не особенно лестных выражениях отзывался когда о советской власти вообще и о прищеповском Совете в частности, и к слову было сообщено, что учителя местной прогимназии устраивают заговор, с каковой целью собираются они у бывшего прапорщика Сосункова под видом какого-то общества — «знаем мы эти общества» — и что на собраниях этих бывают представители местной буржуазии; последние тут же были перечислены поименно.

Рассказали еще множество очень интересных вещей, которые, к сожалению, к нашему рассказу никакого отношения не имеют. Важно одно: следствие несомненно выяснило, что в реке Щеповке действительно появился крокодил, что событие это находится в связи с появлением матроса, и что крокодил и матрос напущены белебеевскими разбойниками, и что разбойники эти причастны к заговору местной буржуазии и саботирующей

интеллигенции. В таком смысле и был представлен доклад, рассмотрев который прищеповский Совет постановил: крокодила из реки изъять, разбойников уничтожить, а во избежание могущих быть осложнений от буржуазии и интеллигенции взять заложников.

Несмотря на то, что заседание Совета происходило поздно ночью и самый факт экстренного его созыва тщательно скрывался, прищеповские обыватели все-таки толклись у Совета, желая узнать, что там такое происходит. При этом передавались слухи, что в Питере будто бы восстание и что Советам вообще и прищеповскому в частности — крышка.

Последнее так ободрило местных контрреволюционеров, что они перед самым Советом запели «Боже, царя храни». Стоявший у Совета часовой не мог стерпеть подобной наглости и, погнавшись за ними, — одного, а именно Петьку, трактирщикова сына и отъявленного спекулянта, поймал и водворил в Учека.

## Второй день

Утро застало Прищеповск в волнении и оживлении невероятном. В разных местах города производились обыски и аресты: арестованы были — двое учителей, одна учительница, человек двадцать местных буржуев и сам прапорщик Сосунков. Кроме небольших запасов продовольствия, у арестованных ничего обнаружено не было — да и не в том дело. Дело в том — как писала потом газета «Красный Прищеповск» —

*что тюрьма переполнилась таким ассортиментом арестантов, каких не видела она с самого своего существования: сели те, кто числился когда-то попечителем тюрьмы, кто освящал здание, служил молебны и кто ни во сне, ни наяву не думал о подобной «чести».*

Одновременно приняты были меры и к исполнению первых двух постановлений Совета: послан был отряд для обследования реки на предмет изъятия крокодила, буде таковой в ней обнаружится, а другой отряд послан был в Белебеево на предмет поимки тамошних разбойников. Степан Аристархович решил заодно обследовать и железную дорогу, но тут дело не обошлось без явного саботажа: дорожный мастер наотрез отказался дать требуемую Советом дрезину, ссылаясь на какие-то там распоряжения какого-то там своего начальства. Дрезина все-таки была взята, а старому саботажнику предоставлено право составить о сем случае протокол, если уж без этого он не мог обойтись.

Взбурдилось и местное население: весть о появлении кро-

кодила быстро разнеслась по городу, и с утра народ высыпал на набережную, желая своими глазами посмотреть на это невиданное до сих пор в городе Прищеповске чудо. Передавали, что крокодил успел-таки изрядно поработать, что, конечно, не без его участия была уведена у одной бабы корова — понятно, надо же и крокодилу чем-нибудь кормиться. Некоторые видели крокодила своими глазами и не особенно одобрительно отзывались о его наружности. Утверждали также, что крокодил давно в Учека и посажен туда за попытку съесть общественную столовую, но и это не соответствовало действительности; крокодил успел улизнуть из Учека и уплыл, вероятно, в реку. Шутники — при всяких, даже трагических обстоятельствах свойственно иным людям шутить — нарочно вбегали в реку, чтобы с криками «крокодил» вернуться обратно на берег. Но шутки не встречали сочувствия: настроение было тревожное и даже несколько торжественное.

В два часа экспедиция, присланная прищеповским Советом, вернулась; надо сказать, вернулась ни с чем: в реке крокодила не оказалось. Белебеевские мужики тоже о крокодиле ничего не слышали, когда же им объяснили, что крокодил — это рыба величиною около двух аршин, они сразу сообразили, что такой рыбы в реке и быть не могло, иначе «наши молодцы» поймали бы ее непременно и была бы она съедена всем обществом. Существования в белебеевских лесах шайки разбойников мужики не отрицали — «с городу виднее», но слышать о ней ничего не слышали и склонялись больше к тому, что разбойники есть, но, по-видимому, смирные. Обратились к попу, который по слухам пострадал от разбойников, — попа дома не было, но попадья сразу вспомнила, что виновник всего старостин Ванька, которого она при всем народе и честила разбойником. За Ванькой был установлен строгий надзор.

Сообщения отряда настолько успокоили Степана Аристарховича, что он дал в газету телеграмму, в которой довольно-таки ядовито отозвался об осведомленности корреспондента, поместившего крокодила в такую реку, где и щуке тесно.

Мы и забыли сказать, что еще до возвращения отряда был расстрелян уже известный читателю матрос. От ханжи ли, от болезни ли матрос еле держался на ногах — по городу он еще кое-как брел, но когда его привели в лес, он идти отказался. С большими усилиями красноармейцы прислонили его к дереву и дали залп. Залп был неуверенный и неровный, и красноармейцы, даже не посмотрев на расстрелянного, поспешили вернуться в город.

Вернемся к нашему рассказу: если Совет и его глава успокоились, то население Прищеповска успокоиться не пожела-

ло — едва только версия о том, что никакого крокодила не существует, стала очевидной, в умах прищеповских обывателей крокодил превратился в полную и неоспоримую реальность.

Стало очевидным, что и ловили его больше для виду, потому что Совет успел как-то стакнуться с крокодилом, — а на самом деле сидит теперь крокодил у Степана Аристарховича и пьет чай. Ходили нарочно смотреть — и действительно — сидит кто-то у Степана Аристарховича и пьет, подлинно, чай. Баба, у которой пропала корова, сразу сообразила, что и корова у этого ирода, чтоб ему ни дна ни покрывки. Оказалось: во дворе у Степана Аристарховича действительно мычала корова.

После таких очевидных доказательств, что крокодил с совдепцами заодно, злые языки стали, уже не стесняясь, судить и рядить о действиях Совета и его председателя, вспоминая все, конечно, неизбежные ошибки и все часто необходимые крайние меры. Говорили, что у жены председателя появилась откуда-то шуба с каким-то особенным (не крокодильею ли меха) воротником, вспомнили, как были съедены пленарным заседанием двадцать шесть реквизированных у заезжего спекулянта поросят, вспомнили еще, как Совет, постановив уничтожить отобранный у кого-то спирт, *собственными средствами* выполнил это постановление так хорошо, что абсолютное большинство выползло из помещения на четвереньках.

Да и в кассе оказалась недостача. А отчего застрелен матрос? Не хотят ли на него свалить эту недостачу?

Таково было настроение обитателей города Прищеповска.

*В то время, ссылаюсь опять на газету, когда ответственные работники были заняты строительством пролетарского государства, враги рассыпались по городу и ядом злостной клеветы, морем провокации залили мозги обывателя, сбитого с толку массой впечатлений и слухов.*

Да и не одни слухи. Прищеповская революция получила удар в спину со стороны железнодорожников. Об известном же читателю случае с дрезиной донесено было куда следует — и в результате телеграфное предписание прищеповскому Совету не вмешиваться в дела транспорта. Так центр не считается с местными условиями.

Получив такой козырь в руки, железнодорожники не замедлили открыть враждебные действия. Вечером устроено было собрание, на которое, и это уже вполне незаконно, приглашено было и гражданское население. На собрании произносились явно контрреволюционные речи, и даже Степану Аристарховичу



не дали сказать ни одного слова и чуть не вытолкали из собрания.

Постановлено было избрать комиссию для расследования будто бы происходивших в Совете злоупотреблений. Среди публики находились и некоторые из прищеповских купцов, которые тут же вели агитацию за свободу торговли, уверяя простых обывателей, что будь их власть — хлеб дороже двадцати не стоил бы.

Контрреволюция подняла голову и выявила свою классовую природу. Надо было действовать, и действовать решительно. Степан Аристархович на свой страх и риск сообщил в губернский центр о начавшемся контрреволюционном движении, прося немедленной помощи, так как на свои силы он не рассчитывал.

И он оказался прав.

Но, чтобы не забегать вперед, отметим еще один или, лучше сказать, два факта: во-первых, Степан Аристархович видел крокодила собственными глазами — крокодил будто бы стоял у столба и щелкал, будто бы от холода, зубами. И во-вторых, в городе появился расстрелянный однажды матрос. Прошел он по городу тем же путем, что и в первый раз, но уже не пел и не ругался, а стонал и вздыхал, жалуясь на простреленную будто бы руку. Подойдя к красноармейской казарме, он робко постучал в окно: окно открыли и слышали явственный шепот: «Пустите, товарищи, ночевать...» Конечно, его, как покойника, не пустили, но появление мертвеца чрезвычайно взволновало прищеповцев. < ... >\* Несмотря на позднее время, устроили они собрание и на собрании этом, присоединяясь к решению железнодорожников, постановили произвести ревизию совдепа и, во избежание могущих быть неожиданностей, председателя совдепа арестовать.

Тщетно пытались ответственные работники отговорить красноармейцев от этого могущего стать роковым шагом; они твердо стояли на своем. Степан Аристархович поднят был преждевременно с постели и помещен под стражу в собственном своем кабинете. Вопреки ожиданиям, при обыске у председателя Совета ничего не нашли, что еще и лишний раз подтвердило неосновательность наветов буржуазии на ответственных представителей советской власти, твердо стоящих на страже завоеваний революции.

Само собой разумеется, что и экспедиция в Белебеево не прошла бесследно. Сначала догадливые мужики пытались разыскать ту удивительную рыбу, за которой приезжали из города комиссары, но рыба эта была уже, по-видимому, кем-то поймана. Тогда мысль направилась в дру-

---

\*Пропуск в рукописи.— *Ред.*

гую сторону: не нашедшие рыбу комиссары захотят хлеба — за хлебом они и пожалуют в Белебеево не сегодня-завтра и отберут все до последнего зерна, как это и было в соседней волости.

Но почему тогда они на этот раз о хлебе ничего не говорили? По-видимому, их было мало, вот они и спрашивали о разбойниках, чтобы с ними сговориться и вместе нагрянуть на Белебеево.

Хлеб было решено не отдавать, и начали потихоньку вооружаться. В газете «Красный Прищеповск» по этому поводу напечатано:

*В связи с начинающимся контрреволюционным движением, когда известные лица и классы, еще не добытые составшим пролетариатом, стали заметно шевелиться, в один тон с ними заскрипели и смазные сапоги прищеповских кулаков.*

### Третий день

Арест Степана Аристарховича не успокоил, а скорее усилил всеобщее брожение умов. Никто в Прищеповске не поверил, что у председателя совдепа ничего не нашли: говорили о пудах обнаруженного будто бы сахару, о кипах припрятанной мануфактуры. Показывали даже кость, найденную неподалеку от дома Степана Аристарховича: несомненно, что кость эта принадлежала съеденной вчера, совместно с крокодилом, корове, тем более что оказалась она частью ее коровьего черепа.

Были довольно-таки смутные слухи, что будто бы движутся из Белебеева мужики, вооруженные вилами и топорами, грозя и самый совдеп стереть с лица земли, но двигались они медленно, да и куда было им торопиться.

А в Совете кипела работа. Спешно писались повестки по волости с требованием прислать представителей для производства ревизии. На подпись эти повестки были даны тому же Степану Аристарховичу, и он их, не задумываясь, подписал. Да и вообще неудобства того, что председатель находится под арестом, заставили дать ему некоторую свободу, и он снова приступил к исполнению своих обязанностей, тем более что надвигающаяся в виде белебеевских мужиков гроза требовала большей сплоченности и взаимного доверия между ответственными представителями советской власти.

А в городе между тем нарушался самый элементарный порядок. У Совета стояла толпа, требовавшая ни более ни менее, как выдачи самого крокодила, а небезызвестный

уже матрос ходил по городу и даже заговаривал с отдельными гражданами, будто бы прося у них хлеба и будто бы жалуясь на простреленную руку, но на самом деле демонстрируя бессилие советской власти. И было о чем волноваться, если даже не помогли и панихиды, отслуженные местным попом за упокой души раба божьего «имя же его ты, Господи, веши»...

Во что бы вылились нараставшие час от часу события, трудно и предположить, если бы не приезд, и внезапный (Степан Аристархович забыл предупредить товарищей), отряда из губернского города не разрядил тревожную атмосферу.

*В двенадцать часов дня brave красноармейцы рассыпались по городу, наводя одним своим видом трепет на контрреволюционный элемент и в то же время восхищая сердца всех искренних сторонников рабоче-крестьянской революции,—*

читаем мы в газете «Красный Прищеповск».

Даже как марксисты отрицая роль личности в истории, мы не сможем отрицать, что личность начальника отряда в истории революционного Прищеповска сыграла не последнюю роль. Можете вы себе представить внушительного воина в кожаной куртке, с двумя револьверами за поясом, офицерской шашкой сбоку, винтовкой, небрежно перекинутой через плечо, опоясанное крест-накрест пулеметной лентой,— и если вы сможете его себе представить, то вы представите и впечатление, произведенное им на возбужденное и будирующее против власти население.

*С этого момента темные силы почувствовали над собой грозную и карающую руку пролетарской диктатуры («Красный Прищеповск»).*

В городе немедленно был водворен революционный порядок. На стенах, на столбах, на заборах появились афиши, объявляющие военное положение. Запрещено было выходить без документа после восьми часов вечера — и хотя в восемь часов, да еще по новому времени, солнце в Прищеповске стоит довольно-таки высоко и приказа впоследствии никто не выполнял, но все ж и он произвел свое отрезвляющее действие.

Приказ сопровождался угрозой предания военно-революционному трибуналу, что и было произведено над трактирщицким сыном Петькой и прапорщиком Сосунковым, как идейными вдохновителями и руководителями мятежа. Петька был несомненный контрреволюционер, но в отношении прапорщика Со-

сункова были и разногласия, но в конце концов было справедливо решено, что хотя он и не принимал в мятеже открытого участия, но как бывший офицер должен был это сделать в силу своих классовых интересов — и оба они были отправлены в губернский центр.

И дальше — на чьем-то огороде был найден в бесчувственном состоянии матрос: на этот раз он был расстрелян уже собственноручно Степаном Аристарховичем во второй, и надо надеяться — в последний раз. Энергией начальника отряда найдена была даже пропавшая у бабы корова, что послужило окончательным доводом неосновательности злостных выпадов против прищеповского Совета и его председателя. Тем самым отпала необходимость в производстве ревизии; по волостям срочно было разослано новое предписание: о необходимости быть наготове ввиду готового с минуты на минуту вспыхнуть кулацкого восстания. Все граждане приглашались дать вооруженной рукой отпор противникам революции.

Оставалось только покончить с белебеевскими разбойниками.

Белебеево находилось в расстоянии не более четырех верст от Прищеповска и потому воззвание было получено там в тот же день и час и не замедлило оказать свое действие. Белебеевцы, еще ранее начавшие вооружаться, выступили в поход и остановились на дороге, ведущей в город, поджидать врага. Прослышавшие же неведомо какими путями о могущем произойти у Белебеева сражении, собрались неподалеку не только мужики, но и бабы, и малые ребята: все они с нетерпением ждали битвы, готовясь каждую минуту перейти на сторону победителя.

Ожидали недолго. Скоро со стороны Прищеповска появился вражеский отряд. Белебеевцы дали залп. Отряд выстроился в боевом порядке.

В газете «Красный Прищеповск» события эти описаны следующим образом:

*Отряд, полный решимости научить мятежных кулаков признавать власть трудового народа, двинулся в направлении на Белебеево. Встреча произошла на опушке леса. Как и следовало ожидать, отряд был встречен залповым огнем, причем у некоторых красноармейцев были прострелены шинели. Тогда кулацкая цепь была обстреляна пулеметным огнем, а для рассеяния находящейся на другой стороне многотысячной толпы открыта была ружейная стрельба в воздух, дабы избежать невинных жертв.*

*Толпа моментально в панике разбежалась, и сразу же дрогнул отряд кулаков, рассеявшись в лесу и по болоту.*

Белебеево было занято таким образом без боя. Немедленно же начальник отряда выпустил воззвание, в котором подробно излагал причины, а также историю белебеевского заговора, руководимого несомненно кулаками, с целью вернуть власть помещикам и капиталистам, и содержались призывы к повиновению своей собственной власти.

Но всякая охота к восстаниям была отбита у белебеевских контрреволюционеров. Рассеявшиеся в лесу и по болоту кулаки вернулись в село раньше, чем отряд, боявшийся засады, вошел в Белебеево, и, вероятно, сознав свою ошибку, первыми исполнили [просьбу] о сдаче оружия. Некоторые из них все же были арестованы и [переданы] в губернский центр, в том числе известный читателю [разбойник] Ванька.

*Подавив кулацкий мятеж и восстановив советскую власть в Белебееве, отряд с развернутыми красными знаменами вернулся в Прищеповск, честно и доблестно выполнив свой святой долг защиты угнетенных («Красный Прищеповск»).*

Так полной победой правого дела окончилась эта трагическая эпопея, грозившая одно время гибелью всем завоеваниям революции. Но о крокодиле, несмотря на наступившее вслед за отъездом отряда успокоение, говорили еще долгое время. Правда, он ни на улицах города, ни в реке более не появлялся, но были смутные слухи, что до сих пор переплывает он из города в город, совершая всюду свое темное дело, и добрался, говорят, до столицы, но все эти разговоры велись теперь с некоторой онаксой и сопровождалась самыми неопределенными жестами в направлении на Учека.

## Несколько слов об авторе

Эта книга Михаила Козырева — первая, выходящая после полувекового забвения автора официальной литературой. Вошедшие в нее произведения принадлежат не нашему времени.

Михаил Яковлевич Козырев родился 15 октября 1892 года в городе Лихославле Тверской губернии. Среднее образование получил в реальном училище в Твери, затем окончил Петроградский политехнический институт по экономическому отделению. Сочинять стихи начал в детстве, а с 1909 года — печатать, сперва в газетах, потом и в петроградских журналах «Современник» и «Современный мир». Окончательно перешел на прозу, — напишет о себе Козырев позже, — с 1921 года, когда был написан рассказ «Крокодил. Три дня из жизни Красного Прищеповска», не подлежащий пока оглашению в печати...

До «оглашения» так и прошло семьдесят лет, и нелегко представить себе, как увидел Михаил Козырев уже тогда все, что с нами потом было. Полную утрату энтузиазма и тупую казенщину во всех уголках жизни. «Корреспондентов» в штатском и их многочисленных, по принуждению или добровольных, помощников. Всепроникающую брехню как сущность бытия.

В двадцатых годах Козырев был хорошо известен читающей публике. Он стал одним из популярнейших авторов журнала «Крокодил»; книги его выпускало кооперативное издательство писателей «Никитинские субботники», в котором участвовали Андрей Белый, Исаак Бабель, Борис Пастернак, Михаил Булгаков, Александр Неверов, Сигизмунд Кржижановский, Михаил Пришвин, Леонид Леонов. Да и в других редакциях рукописи Михаила Козырева не залеживались.

Но после шабашей, учиненных Союзом советских писателей над «замятинщиной» и «пильняковщиной», печатать Козырева, разумеется, перестали. Не герой и не самоубийца, он старался и не напоминать о себе, перебиваясь литературной поденщиной. Однако достали, хоть и не сразу, и его: был арестован в сорок первом и погиб в сорок втором в саратовской тюрьме.

Повесть Михаила Козырева «Мистер Бридж» воспроизведена в этой книге по изданию артели писателей «Круг», М.— Л., 1925; «Поручик Журавлев» и рассказы «Морозные дни», «Покосная тяжба» и «Мертвое тело» — по книге рассказов Козырева, выпущенной издательством «Никитинские субботники», М., 1927. Повесть «Ленинград», законченная в 1925 году, впервые напечатана (с послесловием В.Г.Перельмутера) в нашем альманахе «ЗАВТРА», выпуск второй, 1991. «Пятое путешествие Лемюзля Гулливера» (предоставлено К.С.Юрьевым) было подготовлено автором к печати в 1936 году; печатается, как и рассказ «Крокодил», впервые.

Наверное, притягательность фантастической сатиры Козырева не в тонкости

наблюдений и даже не в остроте гротеска. Она, скорее всего, в отсутствии наперед заданной «идеи» в его сочинениях. Все, что было потом, что стало в наше время,— оно уже было тогда. И Михаил Козырев не старался предсказывать. Он «сочинял правду»— перелагал на печатное слово то, что слышал и видел вокруг себя.

Почти как едущий на верблюде и поющий про окружающую среду.

*ТЕКСТ*

---

## Содержание

ЛЕНИНГРАД. Сатирическая повесть / 3

ПЯТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЕМЮЭЛЯ ГУЛЛИВЕРА  
КАПИТАНА ВОЗДУШНОГО КОРАБЛЯ,  
В ЮБЕРАЛЛИЮ,  
ЛУЧШУЮ ИЗ СТРАН МИРА,  
НАЗЫВАЕМУЮ ТАКЖЕ  
СТРАНОЙ ЛИЦЕМЕРИЯ И ЛЖИ / 99

МИСТЕР БРИДЖ. Повесть / 201

ПОРУЧИК ЖУРАВЛЕВ. Повесть с лирическими  
отступлениями / 243

РАССКАЗЫ / 259

Морозные дни / 261

Покосная тяжба / 266

Мертвое тело / 279

Крокодил. Три дня  
из жизни Красного Прищеповска / 288

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ / 300

---



---

**Козырев Михаил.**

К Пятое путешествие Гулливера и другие повести и рассказы. М. «Текст» — «Риф». 1991. — 303 с.

Эта книга продолжает серию «Волшебный фонарь» — фантастика, приключения, сказка. Приключения героев Михаила Козырева — от свифтовского Гулливера до мистического Крокодила — необычны. Это одновременно и фантастика, и острая социальная сатира — причудливое, гротескное изображение нашей жизни, какой представлял ее себе автор, сочинявший в двадцатые и тридцатые годы. Многие его произведения выходят сейчас в свет впервые.

4702010201 027  
К \_\_\_\_\_ без объявл.  
91

**ISBN 5-859590-026-2**

---

---

*Михаил Козырев*

**ПЯТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА  
И  
ДРУГИЕ  
ПОВЕСТИ  
И  
РАССКАЗЫ**

Редактор М. Б. Черненко  
Художественный редактор В. С. Любаров  
Технический редактор Л. Е. Синенко  
Корректоры Т. В. Калинина, Н. М. Пущина



---

Сдано в набор 13.03.91. Подписано в печать 9.8.91.  
Формат 60×88<sup>1/16</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура  
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,62.  
Усл. кр.-отт. 19,60. Уч.-изд. л. 19,82  
Тираж 50 000 экз. Заказ № 4253.

**Издательство «Текст»  
125190 Москва А-190, а/я 89**

**Редакционно-издательская фирма «РИФ»  
всесоюзного центра кино и телевидения  
для детей и юношества  
101000 Москва, Чистопрудный бульвар, 12 а**

Отпечатано в 12 ЦТ





... В реке Щеповке появился крокодил ростом около двух аршин. Крокодил, сказано было в газете «Красный Прищеповск», наводит ужас на местное население.

Председатель Прищеповского совета Степан Аристархович совершенно справедливо полагал, что тут без врагов советской власти дело не обошлось, что скрывается в этом сообщении намек или предостережение, а то и сигнал к контрреволюционному выступлению. Он направился в Учека...

Читая сегодня Михаила Козырева, вы будете поражаться его пророческой сатире, а то и подозревать мистификацию. Вам будет казаться, что это сочинено вчера, кем-то из диссидентов шестидесятых или семидесятых. Однако же Козырев — не Аксенов и не Войнович. Литературные его дебюты — стихи, отмеченные критиком «как образец явной бессмыслицы», пришлись на 1909—1914 годы...